

Москва

8

1963

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
СЕДЬМОЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН, *главный редактор*, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ, *заместители главного редактора*, А. Н. ВАСИЛЬЕВ (*отдел публицистики*), Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ (*отдел прозы*), Е. Ю. МАЛЬЦЕВ, Л. В. НИКУЛИН, Ю. С. СЕМЕНОВ (*отдел очерка*), С. А. САВЕЛЬЕВ, *ответственный секретарь*, М. А. ШОЛОХОВ.

Художественный редактор
Н. И. БОБКОВА

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-31-65, Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются
Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПЕТРОВКА, 38

Легкие
шаги

О
МЫШАХ
И
ЛЮДЯХ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
в Москве

Высокое
начальство
Отшельник
Атлантики

1963 · 8

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ. Об итогах июньского Пленума ЦК КПСС и очередных задачах идеологической работы, стоящих перед писательскими организациями РСФСР	4
--	---

ПРОЗА

Юлиан Семенов. ПЕТРОВКА, 38. Повесть	7
Джон Стейнбек. О МЫШАХ И ЛЮДЯХ. Повесть. Перевод с английского В. Хинкиса	57
В. Каверин. ЛЕГКИЕ ШАГИ. Фантастический рассказ. Рисунки Б. Шейнеса	113
Сергей Бондарин. БЕЗЕНГИЙСКАЯ СТЕНА. Рассказ	132

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА. Михаил Шур. ВЫСОКОЕ НАЧАЛЬСТВО. Очерк	159
---	-----

СТИХИ

Николай Асеев. ЖИВОЙ	56
Инна Кашежева. «ЧАЙКА»	111
Дмитрий Голубков. РУССКАЯ ПРИРОДА	130
Арсений Семенов. РОБОТ.— РЕБЕНОК УЧИТ ЧЕЛОВЕЧЬЮ РЕЧЬ	197
Андрей Дементьев. СОЛНЦЕ В ДОМЕ.— АИСТ	158

СТРАНИЦЫ МИНУВШЕГО

Виктор Шкловский. ЛЕВ ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ	139
--	-----

СТРАНЫ И ЛЮДИ

Геннадий Фиш. ОТШЕЛЬНИК АТЛАНТИКИ. Рисунки О. Верейского . .	170
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. Трегуб. НАРОДНЫЙ ПОЭТ (К 70-летию со дня рождения Владимира Маяковского)	198
Геннадий Красухин. ФОРМЕ — ЩЕДРАЯ ДАТЬ. Заметки молодого критика	206
Вл. Лидин. КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД	210
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. О. Войтинская. ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА (212).— Лариса Крячко. БЕЛЫЙ ФЛАГ НАД АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ (214).— Д. Тевекелян. «ИНТЕРЕС ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (216).— Галина Колесникова. БОИ НА ДАЛЕКОЙ ИГРЕНЬ-РЕКЕ (217).— ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ? (202, 208) . . .	

МОСКВА УШЕДШАЯ

Евгений Иванов. КРАСНОЕ КРЫЛАТОЕ СЛОВЦО. Иконники	219
---	-----

УС (УЛЫБКА СТОЛИЦЫ)

Ф. Кривин. ЮМОРЕСКИ.— СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ. Лев Миrows. ТРЕТЬЯ ГОЛОВА. М. Злотников. МОЯ ПЕРВАЯ РОЛЬ. Василий Смирнов. РОМАН И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАРМАН. Рисунки В. Гавриша	221
--	-----

На наших вклейках: РАЗЯЩЕЕ СЛОВО ПОЭТА. Стихи Владимира Маяковского в рисунках **Н. Долгорукова**
ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ. Зарисовки **П. Бунина**
МОСКОВСКИЕ ФОТОЭТЮДЫ **А. Узляна** и **Л. Бородулина**



Москва. Площадь Маяковского. Рисунок А. Лаптева

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ

*Об итогах июньского Пленума ЦК КПСС
и очередных задачах идеологической работы,
стоящих перед писательскими организациями РСФСР*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

С чувством высокой творческой взволнованности, с горячей благодарностью писатели Российской Федерации восприняли Постановление июньского Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Прямо вытекающее из Программы партии, утвержденной XXII съездом КПСС, это решение стало выдающимся документом нашего времени. Каждая его мысль — это мысль Ленина! Каждое его слово — это слово Ленина! Каждая выдвинутая им задача — это ленинский курс партии в великом деле воспитания нового человека!

Глубокий, всесторонне охватывающий вопросы коммунистической идеологии доклад секретаря ЦК КПСС товарища Ильичева Л. Ф., яркое, наполненное жизнеутверждающей силой выступление на Пленуме товарища Никиты Сергеевича Хрущева дали в руки писателей Российской Федерации могучее оружие для борьбы против буржуазной идеологии. Поле нашей битвы — сердца людей. Мы призваны зажечь в них огонь любви к человеку, к великим его идеалам — к Миру, Трудю, Свободе, Равенству, Братству и Счастью. Этот Прометеев огонь — на наших красных знаменах. Мы несем его народам всей планеты. И нет той силы, которая смогла бы потушить этот огонь!

Наша литература — литература социалистического реализма, жизненной правды. Ее действительные герои — люди высоких идеалов, красивой души, преобразователи жизни, человекостроители, смелые бойцы, которые никогда не выронят из рук и всегда будут высоко, с честью нести священное знамя Ленина.

Советской литературой сделано очень многое. Лучшие произведения советских писателей широко известны и уважаемы во всем мире. Книги советских писателей помогали людям на всех континентах бороться за правду, помогали и помогают сокрушать зло старого, уходящего мира.

За последнее десятилетие наш народ, Коммунистическая партия Советского Союза добились новых невиданных в истории человечества побед. Тем ответственнее роль советских писателей в настоящее время.

Целинные просторы Алтая и Казахстана, разливы хлопковых плантаций в недавно еще мертвой Голодной степи, железорудные разрезы Курской магнитной аномалии, богатырский Дальний Восток, сказочная Сибирь, где наш народ-титан покоряет величайшие реки мира, передвигает горы! Нефтяные промыслы Башкирии, атомные электростанции, полеты

космических кораблей! Всюду, всюду трудятся, работают, строят жизнь люди нового душевного склада, люди сильных, волевых характеров, целеустремленные и смелые! Гражданский долг литераторов многонациональной России — создать о героях нашего времени и о самом времени произведения, достойные эпохи строительства коммунизма.

К сожалению, в нашей литературной среде оказались и такие, кто в своем творчестве — вольно или невольно — отступил от принципов партийности и народности, окунулся в болото обывательщины и чуждых, просочившихся к нам влияний. Эти обыватели от литературы наклеивали ярлыки «лакировщиков» тем писателям, которые искренне, в ярких художественных образах рассказывали о высокой правде жизни, о героике и романтике борьбы советских людей за коммунизм.

Пленум ЦК КПСС в своем Постановлении и устами Первого секретаря Центрального Комитета Н. С. Хрущева дал справедливую, суровую оценку тем, кто пытался сбить нашу литературу на боковые дорожки, кто рекомендовал вдохновляться запахами помойных ям, кто видел нашу жизнь только с черного хода.

Для советских писателей нет запретных тем! Но для каждого из нас важна жизнеутверждающая позиция. Понимание места литературы в коммунистическом строительстве даст возможность каждому писателю творить честно, всей силой своего таланта помогать партии искоренять пережитки прошлого в сознании людей. Страстное перо публициста, сатирика, прозаика, поэта, драматурга должно со всей беспощадностью разить все то, что мешает строительству коммунизма, портит жизнь людям, попирает коммунистическую мораль. Только заведомые недоброжелатели могут кричать о каком-то запрете на критическую мысль в нашей литературе, о якобы существующей боязни говорить об отрицательных явлениях в жизни.

Наше художественное творчество по самой сути своей — партийное творчество. В нем — живой ленинский дух, горячее сердце, любовь и ненависть!

Секретариат правления Союза писателей РСФСР считает, что вся творческая деятельность литераторов Российской Федерации должна быть проникнута идеями и положениями, сформулированными Н. С. Хрущевым на встречах с творческой интеллигенцией в 1962 и 1963 годах, изложенными в Постановлении июньского Пленума ЦК КПСС.

Все наши книги, пьесы, кинофильмы должны активно помогать воспитанию нового человека — строителя коммунизма! Особое внимание следует обратить на произведения для детей и юношества. Пусть скорее появятся на страницах книг, на сценах и экранах полнокровные образы героев, которые своей нравственной силой, своими достойными подражания поступками на всю жизнь останутся в сердцах и сознании юных читателей, позовут их на трудовые подвиги и творческие дерзания во имя Родины.

Наши книги, пьесы, кинофильмы — на воспитание любви и уважения к труду! Читателю и зрителю — произведения, оберегающие моральную чистоту человека, развивающие высокие эстетические вкусы, прививающие дух коллективизма.

Наши книги, пьесы, кинофильмы — на беспощадную войну с пороками и теневыми сторонами жизни!

Наши книги, пьесы, кинофильмы — в наступление против буржуазной идеологии, в бой за коммунистические отношения между людьми. Мирному сосуществованию идеологий — наше решительное нет!

В идеологическом наступлении все силы должны быть в сомкнутом строю. Секретариат правления Союза писателей РСФСР поддерживает предложения ряда видных деятелей литературы и искусства о создании единого Союза творческих работников. Это поможет устранить между

ними «цеховую» разобщенность, еще больше сблизит литературу и искусство с жизнью народа, позволит соединенными силами решительнее бороться против аполитичности и безыдейности, против западного модернизма и всяких других формалистических течений. В едином союзе мы сможем полнее и с большей творческой отдачей обсуждать и решать самые насущные проблемы, имеющие общее значение для всех жанров литературы и искусства.

Секретариат правления Союза писателей РСФСР считает также весьма важным повседневно связывать творческую работу писателей с их общественной, организационно-пропагандистской деятельностью. Секретариат считает, что большую пользу этому делу могли бы принести создаваемые совместно с другими творческими союзами, партийными, комсомольскими и советскими организациями в краях, областях и автономных республиках Федерации пропагандистские бригады для выступлений на предприятиях, в колхозах, научных учреждениях и учебных заведениях.

На страницах наших журналов, еженедельника «Литературная Россия», в эфире и на голубых экранах должны громче звучать голоса литераторов. Их статьи, очерки, рассказы, стихи и пьесы должны вдохновенно раскрывать величие и богатство души советского человека — строителя нового общества.

Огромные и светлые перспективы открываются в творческой жизни писателей Российской Федерации. Мощным лучом коммунистической идейности озарен путь каждого литератора.

Свою генеральную задачу Союз писателей РСФСР видит в том, чтобы свято охранять высокую человечность советской литературы, отстаивать ее идеологическую чистоту, развивать и умножать ее революционные традиции, повышать ее боевой и жизнеутверждающий пафос, твердо стоять на творческих позициях социалистического реализма.





Юлиан Семенов

ПЕТРОВКА, 38

ПОВЕСТЬ

ИНТРОДУКЦИЯ

— Слышь, Сань, ты не думай, я — умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нету, а пистолет — на боку. Иль сменщик его — тот молодой, Сань, но это ничего, он — молодой да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясись, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, Сань.

— Я и не трясусь.

— Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная, это — спокойный я, не боюсь, уверен я, Сань.

— Помолчи, Прохор.

— Да ты не думай, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-а, Сань. Человек, как петух, помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает, Сань. Я знаю, я сам мертвым был.

— Когда он пойдет?

— Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот, держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь, руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, они отойдут. Под мышки их сунь, они родное тепло почувят и расслабятся. Слабой рукой бить надо, она звереет, когда слабая-то, Сань...

КОПЫТОВ

Милиционер Копытов заступил на дежурство. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую, тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, возясь у плиты.

Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил. Глубоко, со стоном затянулся. В папиросе что-то быстро и сухо затрещало.

«От черти,— подумал Копытов,— сено ложат вместо табаку, будто мы лошади...»

Он еще раз затянулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку — своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а самому только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил сам поговорить с Генкой по душам и увел его из дома. Копытов сел на скамейку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит совсем не то, что следовало бы. На него как-то очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.

«Генке этого не выложишь,— думал Копытов.— Эх, серость наша»...

А потом сказал так:

— Эх, Генк, Генк... Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.

— Догоню.

— Не...

— Догоню, пап, ты лучше не предлагай.

Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».

— Я что сказал? — спросил он. — Или не слышишь?

Генка поднялся и снова уставился в землю.

— Давай до ворот! — сказал Копытов и побежал.

Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понял, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы обогнать отца в минуту. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:

— Вот штука какая... А ты, понимаешь, спорил со мной.

— Я не спорил.

— Упрямый ты.

— Я понарошку курю, пап...

— Она, как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь.

А ведь двадцать две копейки за пачку. Помножь ее на триста — вот тебе и велосипед к празднику купим.

— А почему на триста?

— Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней — год. На двадцать две копейки, если «Беломор» считать.

— В году не триста.

— Ну, округлил я.

— Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.

— Так ты ж и есть подросток.

— Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения — разве эта машина?

— Я тебе переключение сам устрою.

— А сможешь?

— Чего ж не смочь? Конечно, смогу.

Генка вздохнул, а потом улыбнулся:

— Папк, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Тебе мамка тридцать копеек дает и мне на завтрак десять. Я ж «Дукат» все больше курю, а он всего семь копеек.

— Высеку я тебя, Генка,— сказал Копытов,— а то уж больно ты дерзкий.

— Я не буду курить, пап, честное слово.

— Еще мать узнает... Знаешь, что будет?

— Да я и так трясусь.

— Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело...

Копытов сконфуженно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.

— Какое дело? — спросил Генка.

— Да так, к слову...

— Про двести с прицепом, что ль? — засмеявшись, сказал Генка.— Ты все думаешь, что я маленький, а я через три года на завод пойду...

Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать.

— Здравствуйте, Кузьма Семеныч,— ответили дворники в один голос.

— Все спокойно у вас?

— Порядок.

— Лешка из девятой не буянил?

— Притих.

— Мы ему в отделении сказали: еще раз напьемся — выселим из Москвы.

— Не, пока не нажирался...

— Парень хороший. На баяне играет...

— Оно и обидно,— согласились дворники,— на баяне играет, а водку все одно как прощальга жрет.

— Слышь, Афонин,— спросил Копытов,— а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?

— Есть.

— А взрослые?

— Тоже есть.

— А сколько стоит, не знаешь?

— Откуда я знаю,— ответил дворник,— я свое откатал.

— Ну ладно... завтра узнаю.

— Скоро к нам вернетесь?

— А вот участок обойду...

Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы. Копытов подошел поближе и сказал:

— Ребятки, домой пора. Поздно.

Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.

— И чего напились? — спросил Копытов.— Где живете? Пошли, помогу дойти хоть...

Первый поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.

— Или ты больной? — спросил Копытов.

— Б-больной.

Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабушку Фросю. Она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему — отныне и навсегда.

— Пусть шофер включит прожектор, — сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.

Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь расколосась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, — щупленький, старый человек с большими руками крестьянина. Его руки еще словно жили. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.

— Вы еще будете долго работать? — спросил он эксперта.

— Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?

— Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.

Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что кроме самого Копытова никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось.

— Он все смеялся: «велосипед куплю», — сказал один дворник.

— Не говорил он этого, — возразил другой, — он про цену спрашивал. А кому она теперь, эта самая цена, нужна?

— Он тут у вас ни с кем не ссорился?

— Да господи, он же человек мягкий.

— Был, — поправил другой дворник, — был человек...

Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.

— Там больше машин нет?

— Пусто.

Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:

— Проходящая машина была, тормозной след посредине улицы оборван.

— Вы замерили?

— Да. И ширину и длину.

— Позвоните дежурному, пусть сообщит в ОРУД.

— Хорошо...

После этого Росляков начал осторожно осматривать все вокруг. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Однажды, еще в самом начале, комиссар сказал:

— Знаете, у кого надо учиться мудрости? У слепых. Они, пока места, куда надо ступать, не ощупают, ногой не шевельнут.

Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровых слов. Как-то он сказал ему про это. Комиссар ответил:

— Значит так, это слова не мои, а поэта Саади. И вообще, почему вы все так мало стихов читаете?

Росляков сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:

— Тут есть след.

— Сейчас.

Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.

— Товарищ лейтенант,— окликнул его эксперт,— у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.

Последовавшие за этим ночным дежурством семь дней подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей — сразу же после убийства Копытова.

Через неделю, утром, комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:

— Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел — будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание...

ПЕРВЫЕ СУТКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

«8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но когда они вышли, переулочек был пуст».

«12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, д. 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и под угрозой пистолета и ножа потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».

«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и под угрозой оружия потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А. В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И. Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но промахнулся. Преступники скрылись».

Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:

— Таким образом, все эти ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется... Выделяется специальная оперативная группа. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные — свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте его из отпуска.

Кассир Ямщикова все время гладила себя по щекам, как будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и когда она начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.

— Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла...

Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за комму-

нальные услуги. На первой, желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич, улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».

Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.

— Самсонов,— сказал он дежурному.— Да нет же, лучше я по буквам... Семен, Анна, Михаил... Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас будем у себя...

ПАПА С МАМОЙ

Костенко даже не успел подняться к себе — дежурный сказал ему, что комиссар просит немедленно зайти. Костенко вошел в кабинет.

— Знакомьтесь,— сказал комиссар,— это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.

Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.

— Здравствуйте,— сказал Костенко.

— Вот, знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.

Самсонов спросил:

— У вас курить можно?

— Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.

— Благодарю.

— Благодарить будете, когда сын отыщется.

— Я не спал всю ночь.

— Еще бы. Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.

— Уже...

— Ну?

— Там ничего.

— Вы фотографии его принесли? — спросил комиссар.

— Да.

Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:

— Сами снимаете?

— Жена. Я только проявлял.

— Семейная артель?

Самсонов махнул рукой.

— Семейная канитель,— сказал он,— какая тут, к черту, артель?

— Пленка хорошая. Где купали?

— Это немецкая.

— А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел — чувствительность сорок пять, и только. Дрянь, в дождливый день ни черта не вытянет.

— Вы с блицем попробуйте.

— Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.

Костенко сразу же позвонил к Ямшиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на стол несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.

— Вы тут никого не узнаете?

Ямшикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:

— Мальчик стоял у двери.

— Это точно?
— Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались взрослыми.
— Стрелял не он?
— Нет, другой, в очках.
— А этот так и стоял у двери?
— Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Точно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.
— Понятно. А как книжка называлась, не помните?
— По темно-красному фону — черные слова, а я близорукая, название не разобрала.
Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу же, без колебаний, опознала Леньку Самсонова.
— Он, ирод проклятый, — сказала женщина, — гадюка такая..
— Думаете, ирод? — переспросил Костенко и улыбнулся. — Ему семнадцать нет...

Прямо из кассы Костенко позвонил комиссару и сказал:
— Он.
— Хорошо.
— Мне бы надо постановление. Посмотреть квартиру.
— Вы давайте сюда. Тут решим.
Когда Костенко приехал в Управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:
— Ну, в прятки нам с вами играть или говорить открыто?
— Конечно, открыто.
— Тогда рассказывайте, Костенко.
— Ваш сын, — сказал Костенко, откашлявшись, — позавчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.
— Так, — сказал Самсонов. — Так, — медленно повторил он.
— Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?
— Он должен вернуться домой, если жив.
— Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? — спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.
— Наша, — тихо ответил Самсонов.
— Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?
— Что?!
— Вы геолог, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.
— У меня есть, но все это заперто в столе.
Комиссар снял трубку, набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:
— Машину к подъезду.
Опустив трубку, он спросил:
— Как сердце?
— Сейчас легче.
— Значит, это, нам надо произвести в вашей квартире обыск. Пока будем ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Леньки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте! Да когда придет Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?

- Девятьсот шестидесятая.
- Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».
- До свидания, товарищ комиссар.
- До свидания, товарищ Самсонов.

Когда он вышел, комиссар сказал:

— Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят — золотая голова. Вот так-то...

Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Леньки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с черными буквами: «Александр Фадеев. Молодая гвардия». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:

— Та самая.

Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:

— Это ошибка, послушайте. Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь, скажи им, что это ошибка.

— Нет, — ответил Самсонов, — это не ошибка.

— Он несовершеннолетний, — сказал Костенко, — так что, может быть, учтут.

— Нет, это ошибка, — повторяла Людмила Аркадьевна, — несчастный мальчик, он ни о чем не подозревает.

— Перестань, — сказал Самсонов. — Надо было раньше думать.

— Холодный и черствый человек, — горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, — сердце у тебя мохнатое.

— У меня, наверное, уже нет сердца, — ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.

— Уходите же, — сказала Людмила Аркадьевна, — ему плохо.

Костенко тихо ответил:

— Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.

— Это произвол, — сказала Людмила Аркадьевна.

— Нет, — ответил Костенко, — это не произвол. Это засада.

ГДЕ ЛЕНЬКА?

В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.

— Десятый «А» где? — спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.

— На пятом. У них там консультация.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то весело кричали, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:

— Леньку позови, пожалуйста.

— Какого?

— Самсонова.

— Так он же исключен.

— За что?

- А он бульдога в класс привел.
 - Кого?
 - Бульдога. Собака есть такая, знаете? У нее морда, как у Черчилля.
 - У Черчилля лицо.
 - Он же империалист.
 - Ну и что?
 - А по карикатурам — морды у империалистов. Оскал волчьей пасти. Хищные повадки. Звериные нравы. По штампу.
 - Ну, извини. А что все-таки с бульдогом?
 - Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится, как атомной войны. Леньку за гриву, в учительскую, оттуда в милицию, и фью — «ариведерчи, рома».
 - Это когда же было?
 - Позавчера.
 - А сейчас он где? Дома?
 - Что вы... Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинился, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.
 - А это кто?
 - Лев Иванович, по литературе. Подпольная кличка «Лев без единого зуба».
 - Почему Лев должен знать?
 - А он у Льва любимчик. Стихи пишет.
 - Хорошие?
 - Ничего. Мне стихи — бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?
 - Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти.
 - Должен? Странно. Ленчик — башлястый чувак.
 - Что?
 - Жаргон века. Башлястый — значит денежный. Чувак — значит отпрыск. Ясно?
 - Ясно. Не больно хорош этот ваш жаргон... А где его друг-то? Этот... Ну...
 - Сема?
 - Да.
 - Сейчас.
- Зазвенел звонок. Все ребята бросились по своим классам. Из двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:
- От Ленки?
 - Нет. Сам его ищу, — ответил Росляков. — Он что, у тебя заперся?
 - Что вы... Я его обыскался — нигде нет. Он ведь псих. Вы подождите, после консультации поговорим.
 - Ладно, — ответил Росляков и пошел к директору.
- Не может быть, — тихо сказал директор, — это же талантливый парень. У него изумительные стихи. Когда это случилось?
 - Позавчера.
 - Позавчера? В какое время?
 - В четыре.
 - В час его исключили из школы.
 - А в милицию его за бульдога надо было обязательно водить?
 - Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.
 - Великое преступление — бульдога привел.
 - С другой стороны — не маленькое, по школьным законам.
 - Закон есть один. Школьными бывают порядки.

— Да, да... Какой ужас, талантливый парень, просто не верится. Что же делать? Где хоть он?

— Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?

— Он общительный мальчик. У него много товарищей.

— А Сема?

— Рывчук?

— Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.

— Да, это он. Они, кажется, дружат.

— Какой у него адрес, можно узнать?

— Сейчас.

Директор вернулся и положил перед Росляковым листок бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.

— Да, кстати,— сказал директор,— он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент...

— Я позвоню,— сказал Росляков.— Вы разрешите?

— Прошу.

Росляков набрал номер и сказал:

— Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще — Тюрин, адрес надо выяснить.

Он положил трубку, вздохнул и спросил:

— А Лев Иванович ничего знать не может?

— Лев Иванович... Погодите, очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз окно.

Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:

— Чем могу?

Директор сказал смущенно:

— Вот, товарищ...

— Я из угрозыска.

— Очень приятно. Что вас привело к нам?

— Самсонов.

— Леонид?

— Да.

— Что-нибудь по поводу собаки?

— Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы и в покушении на убийство кассира.

Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:

— Когда это было?

— Позавчера в четыре.

— Тут не может быть ошибки?

— Нет.

— Как я понимаю, его у вас нет?

— Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?

Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Старик назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.

— Нет,— ответил он, наконец,— я ничего о нем не знаю.

Росляков вздохнул:

— Самое худшее заключается в том,— сказал он,— что парень украл у отца оружие. Он, как волчонок, сейчас.

— Раскаianie и чистосердечное признание... Добровольная отдача

себя в руки властей — это учитывается юрисдикцией или сие — формальность? — спросил Лев Иванович.

— Учитывается, — ответил Росляков, — да толку что? Два дня прошло, а парня нет...

Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Учитель негромко крикнул из комнаты:

— Ты ноги, пожалуйста, вытри, у меня сегодня натерт пол.

Ленька стоял в коридоре, возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, — взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несклько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, и кровь прилиwała к голове и к щекам. Потом он вошел и сказал:

— Здравствуйте, Лев Иванович.

— Здравствуй, Леонид. Садись.

— Спасибо. В ногах правда.

— Скверное настроение?

— Скверное. Очень хорошее слово. Почему-то оно сходит в устной речи.

— Век требует более резких определений, да? «Дрянное» — это, по-видимому, точнее.

— В моем положении — да.

— У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?

— Вроде бы...

— Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он — самый искренний человек из всех искренних.

— Он был очень жестоким.

— Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется. Если в подоплеке правда — жестокость оправдана.

— Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович? Вообще — в самом широком смысле?

— Конечно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской, которые убили императора Александра Второго Освободителя, а ведь он, по отзывам современников, был обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.

— А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?

— Какую глупость?

— Просто глупость. Обыкновенную глупость.

— Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо он дурак. Тут надо дифференцировать, Леонид. Глупость — вещь довольно сложная. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах также преступно. И в общегосударственных, и в человеческих.

— А если преступление рождено глупостью?

— Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, часто преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели чем рожденное умом. И то и другое должно быть наказуемо.

— Но преступление не принесло никому никакого вреда.

— Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.

— Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович...

— Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она

частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.

— Лев Иванович...

— Да.

— Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.

— Чепуха. Он устроен логично, а потому — прекрасно.

— Логична геометрия, — сказал Ленька, — а что в ней прекрасного?

— Мы же говорим о мире, а не о геометрии...

— Лев Иванович...

— Да.

— Можно, я пойду попить холодной воды?

— Конечно.

Ленька ушел, и старик слышал, как он пустил воду из крана. Старик знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, из земли. Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

Тюрин — выпускник той школы, где учился Ленька, сидел дома и чертил курсовой чертеж. Он услышал протяжный звонок и пошел открывать дверь.

— Кто там?

— С Мосгаза.

Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:

— Только извините, я в трусах.

— В трусах — не в бюстгальтере, — ответил Костенко, — переживу.

Тюрин засмеялся.

— Я тягу проверить, — сказал Костенко.

— Тянет хорошо.

— Порядок есть порядок.

Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и пошел к своей чертежной доске.

— Вы б подержали меня, а то загремлю, — попросил Костенко.

— Вам долго?

— Нет...

Он взобрался на лестницу и стал изучать дымоход, порядком уже засорившийся. «Надо будет, кстати, управдому сказать, — подумал Костенко, — загореться тут все может в два счета».

— Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а она меня обругала.

— Людмила Аркадьевна?

— А бог ее знает. Фифочка.

— Женщина с характером. Кого угодно доведет.

— Она меня довела. А сама стоит и плачет.

— Из-за Леньки...

— Это кто? Хахаль?

— Сын.

— Женился, наверное...

— Что вы... Сбежал из дому.

— Куда?

— Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался. Они дома грызутся, ему все это надоело хуже горькой редьки.

— А почему в Сибирь?

— Я там в экспедиции был, с ума сойти как здорово, ему рассказывал кое-что, так он мне потом говорил: «Сбегу к чертовой матери».

— В той комнате у вас стена капитальная?

— В столовой?

— Да. Там, где дверь закрыта.

— Не знаю. Вы сами посмотрите.

Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Ленки там быть не могло. Он вышел в коридор.

— Придется еще раз прийти к вам,— сказал Костенко,— накипи много.

— Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.

— Ясно. К этой дамочке снова надо идти, а душу воротит. Дождусь, пока ее парень вернется.

— Ленка? Он не вернется.

— Неужто мать не жалко?

— Нет, жалко, конечно...

— Родители как-никак. Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то...

— Думаете?

— Точно. У нее лицо, как свекла. А что, вы друг ему?

— Друг не друг, а товарищ.

— Ну, пока.

— Всего хорошего.

— Так наши еще раз зайдут.

— Хорошо. Только утречком.

— Ясно. До свидания.

— Счастливо.

ПЛОХО ЛЕНЬКЕ

Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.

— Алексей Алексеевич,— сказал он,— вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?

— Вас интересую я?

— Меня интересует все.

Самсонов отвернулся к окну.

«Позавчера? — вспоминал он.— Что же было позавчера? Днем я дрался в Министерстве финансов. Потом я вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять...»

Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов позвонил. Стук клавишей сразу же прекратился, зато противно и быстро затопали каблучки. Он поморщился. Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.

«Откуда это у нее? — подумал Самсонов.— Такая славенькая, а улыбается, как звереныш».

— Вы звали меня?

— Да. У вас еще много работы?

— Пять страниц.

— Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.

Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были

им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль, он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.

Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство после контузии, стала невыносимой и статичной. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:

— Вам плохо?

— Немножко,— ответил Самсонов сквозь зубы.

— Тут в гастрономе воду продают.

— Ага,— сказал Самсонов и пошел в гастроном.

Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда в первый раз проектировал дорогу от Магадана.

Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посредине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.

«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр,— сразу вспомнил Самсонов и похолодел.— Сейчас начнется...»

— Людочка,— сказал он тихо,— я совсем замотался, прости меня. Людмила Аркадьевна молчала.

— Я готовился к завтрашнему совещанию у...

Она перебила его:

— У какой-нибудь очередной бабы?

— Как тебе не совестно...

— Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!

— Пойди работать.

— Негодяй.

— Ну вот...

— Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь?! Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!

— Здесь же Ленька...

— Он взрослый мальчик, он все понимает!

Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.

— Как мартовский кот,— продолжала говорить Людмила Аркадьевна,— напакостил — и в конуру!

— Это мы так воспитываем сына?

— Ты еще издеваешься надо мной!

— Миронова и Менакер. Театр миниатюр.

Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна рывком дверь распахнула, стала на пороге и сказала:

— Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я... я...

— Повесишься,— устало отозвался Самсонов,— знаю, слышал.

— Мальчик,— крикнула Людмила Аркадьевна,— послушай, как глумятся над твоей матерью!

Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с отчетными синяками под глазами.

— Что с тобой? — спросил Самсонов.

— Это ты доводишь его до болезни! — крикнула Людмила Аркадьевна.

— Что с тобой? — повторил Самсонов, поморщившись.

— Ничего,— ответил Ленька,— просто я вас ненавижу...

И ушел из дома.

Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:
— В общем-то ничего особенного позавчера не произошло.
— Ссоры дома никакой не было?
— А это, пожалуй, наше внутреннее дело.
— Если бы не ограбление приходной кассы.
— Вы проводите связь между этими событиями?
— Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю...

— Ну, дальше? — попросил Лев Иванович.
— А дальше я хотел все рассказать отцу.
— Почему не рассказал?
— Да так...
— Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.
— Где?
— В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, геометрической правдой. Понимаешь?
— Ну, в общем им было не до меня.
— Кому?
— Отцу. Матери.
— Какая-нибудь семейная неурядица?
— Да.
— Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.

— Если восемь лет одно и то же — касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.

— Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят наиотвратительнейшими.

— «Я помню чудное мгновенье...» — не с радости написано.

— Верно. Оно — от грусти. Но тоска — нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?

— Да.

— По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?

— Что вы, Лев Иванович...

— Ну полно.

— Лев Иванович, можно мне вас попросить?

— Пожалуйста...

Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.

— Что это?

— Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?

Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:

— Ты стрелял из него?

— Нет.

— Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше ее не говорить вовсе.

— Я же подведу человека.

— Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно...

— Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца — ни в чем не виноватого человека?

— Я не хочу сейчас казаться прописным, Леонид. Только я очень верю — ты должен отнести им этот револьвер.

Ленька усмехнулся и сказал:

— Знаете, не надо вам ехать со мной.

— Отчего так?

— Я не хочу, Лев Иванович. Я сейчас перестал этого хотеть. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон — 02, добавочный — дежурного. Все очень просто.

— В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.

— Во мне сейчас ничего не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович! Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы!?

— Успокойся...

— Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя и вас, когда только что говорил о стихах, и о чудном мгновенье, и о добре, и зле. Я слышу сейчас только одно слово: тюрьма! Тюрьма! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!

— Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они были расстреляны в тридцать седьмом году по процессу Тухачевского. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я — пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского

— Это к тому, что человек — живуч? Так, Лев Иванович?

— Уходи, — сказал старик. — Мне неприятен разговор с тобой.

— Прогнать — всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: в тридцать седьмом они были героями, а я в шестьдесят втором — негодяй и дурак. И не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свидания, Лев Иванович.

Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика — сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами. В Леньке что-то затряслось — судорожно и по-детски жалобно. Он вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни, когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи, когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал, он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фойе, — все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.

Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:

— Не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь, миленький, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький...

Старик погладил его по голове и тихо сказал:

— Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.

АЛИБИ — ХЛЕБНИКОВ

«После того, как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказал мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен

не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я хотел посоветоваться, в школе не было, дома — тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал: что же предпринять? Настроение у меня было отвратительное. Около гастронома № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева «Молодая гвардия» и в ней наша расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку тетю Катю вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она ответила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе — это очень тяжкое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Я думал, что он будет спокойно сидеть.

Потом я снова ходил по улицам, и около того же гастронома двое молодых людей предложили мне присоединиться к ним — как они сказали, «на третьего». У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили, я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке, называл своего приятеля обезьяньим именем «Чита». Чита — невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт», они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели очень хорошую песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, вытащив наган, сказал: «Руки вверх! Ни с места!» Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: «Иди к окну». Я отошел к окну. У меня стали трястись руки, я положил книгу Фадеева на стол, по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: «Вы с ума сошли! Это же грабеж!» Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал — не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что когда мы подходили к кассе, длинный сказал: «Витька — б..., оставил нас без колес». Кто такой Витька, и что значит «колеса» — не знаю, и разговора об этом больше не было.

Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет — объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною собственноручно. Леонид Самсонов».

Садчиков, прилетевший из отпуска, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдетя по кличке Чита. Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».

— По всем отделениям? — спросил Костенко, прочитав записку.

— А что д-делаеть?

— Хорошо. Я пока схожу, позвоню дежурным.

— П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что он проходил раз по какому-то х-хулиганству.

— Я посмотрю.

— Чита — это уж зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь... мне.

— Я верю.

— Н-ну извини, — сказал Садчиков.

— Да нет, пожалуйста, — ответил Костенко и подмигнул Леньке.

Из научно-технической лаборатории принесли «вальтер» Самсонова и сказали:

— Из этого пистолета не стреляли. Пробный выстрел дал отрицательный ответ: гильза в кассе выстрелена из другого пистолета.

— Благодарю вас, — сказал Садчиков.

Он внимательно перечитал показания Леньки, отложил их в сторону и спросил:

— Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?

— Мне не хочется.

— А я пом-мираю от голода. Слава, — попросил он Костенко, — может, ты сходишь в гастроном?

— Давай. Что купить?

— Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.

— У меня от них скоро судороги начнутся, — сказал Костенко. — Была бы плитка — пельменей сварили.

— Спроси Льва Ивановича, — сказал Садчиков, — учитель тоже, наверное, г-голоден. Кстати, где Валька?

— Я его отпустил до двенадцати.

— Ну, х-хорошо. Иди за сыром.

— Иду.

— Послушай-ка, Леня, — сказал Садчиков, — давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, нап-прягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?

— Очень.

— Помнишь, «о шея лебедя, о грудь, о барабан?» Когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям?

— Помню. А вы что, Чапека читали?

— Нельзя?

— Нет, можно, конечно, только я думал...

— Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?

— Нет.

— Правильно! Я б-бросил — разжирел, снова пришлось начать.

— Скажите, а меня надолго посадят?

— Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответ мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?

— Восьмого? Это какой день?

— Суббота.

— Учился. Потом мы уехали на дачу.

— Когда кончились уроки?

— У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы

еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.

— Это что, зиф-фовское из-дание?

— Да.

— А что ты делал двенадцатого мая? Около шести.

— Не помню.

— Надо вспомнить.

— Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?

Садчиков подошел к Ленке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:

— Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты с-совершали грабежи. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону, если что было.

— Какой смысл мне тогда было самому приходиться к вам?

— Никакого,— согласился Садчиков.— Пожалуй, н-никакого.

Костенко вернулся с покупками.

— Духотища,— сказал он,— не иначе как к грозе.

— Сейчас я вернусь,— сказал Садчиков,— а вы п-пока закусывайте.

Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Ленке.

— Наваливайся,— предложил он,— а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.

— Уже написан. Только не на кишку.

Костенко хмыкнул.

— А ты носа не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?

— На вокзале.

— На каком?

— Сначала на Казанском, потом на Ярославском.

— Что, в Сибирь хотел отправиться?

— Откуда вы знаете?

— Мы, дорогой, все знаем. Работа такая.

— Денег не было.

— Надо было шипнуть. На вокзале олухов знаешь сколько? И все за карман с деньгами держатся.

— Зачем вы так говорите?

— Я не говорю, я шучу.

Вернулся Садчиков и спросил Ленку:

— Слушай, а вы Хлебникова к-купили?

— Купили.

— А еще что купили?

— Еще? Подождите, что-то мы еще купили... А, вспомнил, Бабеля! «Конармию».

— Ну, слава богу, эт-то вроде сходится.

— Что, с первого дела отпадает? — поинтересовался Костенко.

— Вроде да,— ответил Садчиков.— Ты не стес-сняйся, налегай на пищу. Что-нибудь про т-тех вспомнил?

— Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в «Астории» поберлять». Это когда у нас закуски не было.

— Поберлять — значит по-поесть?

— Да.

— Великий и могучий,— вздохнул Костенко,— благозвучный и пре-красный...

— А зачем же ты все-таки взял у отца пистолет?

Ленка отрезал кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:

— Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил — так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся — думал, не выстрелил бы.

Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:

— Это сейчас смешно... Вы меня что, сразу в камеру посадите?

— А как ты думаешь?

— Не знаю...

— А все-таки?

— Наверное, придется.

— В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но если т-ты сказал всю правду — не исключено, что тебя до суда отпустят.

— Домой?

— Не в Сибирь же, — ответил Костенко.

В дверь постучались. Вошел Лев Иванович.

— Прошу меня извинить... Но уже половина двенадцатого... Мальчику надо завтра рано вставать... Вы разрешите нам уехать?

— Вам — да.

Через час приехал Самсонов.

— Где мой сын? — спросил он по телефону из бюро пропусков. — Я прошу свидания с ним.

Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:

— Он спит.

— Я прошу свидания!

— Тише вы, — попросил Костенко. — Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром.

И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.

— Думаешь, нет? — спросил Костенко.

— Думаю, нет. Он больше н-ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.

— Тоже, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?

— Давай.

— Черт, нет плитки.

— Пельменей тоже нет.

— Я о чае.

— Ну, извини, — пошутил Садчиков.

— Да нет, пожалуйста, — в тон ему ответил Костенко.

И они тихо засмеялись — так, чтобы не разбудить Леньку.

— Да, — вдруг сказал Садчиков, ударив себя ладонью по лбу, — с-совсем забыл. Тебе д-днем теща письмо от Маши принесла. И-извини, что я поздно в-вспомнил.

— Извиню, только письмо давай скорее.

— Она снова в д-деревне?

— А где ж ей быть? Квартиру-то снова не дали.

«Здравствуй, мой милый!

Я без тебя неделю, а уже кажется целую вечность. Мне ужасно тоскливо. Сначала я подумала, что надо писать «скучно», но решила, что это было бы совсем неверно, потому что мне совсем не скучно. Устроились мы у бабушки чудесно. Она отдала нам большую комнату, но я все равно Аришку таскаю спать на сеновал. Просыпаешься как пьяная, в голове звенит, а так легко-легко дышится, что просто дух захватывает. Да, я вычитала, что за последние сто лет в крупных промышленных центрах количество солнечных дней сократилось на одну

четверть. Это по данным французской академии. Ужасно, правда? Если меня распределят в прокуратуру города, я обязательно возбужу дело против Моссовета — пусть отводит дым и копоть, пусть делает фильтры на трубах, это, кажется, не очень дорого. Вот.

Целую тебя, милый. Напиши мне, пожалуйста. Только не шли телеграммы — они какие-то мертвые. Наверное, у телеграфисток плохая лента в машинке — они такие бесцветные и жалкие, эти слова, что просто тощища. Маша».

ВТОРЫЕ СУТКИ

ВЫШЛИ НА ЧИТУ

Утром в кабинете у комиссара сидели Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и — возле окна — Ленька.

У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма — это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по самой последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких...» Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом, в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить, он вечером долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший, известный карманник, тот вернулся из тюрьмы и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал, злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, а после войны он был очень дорогим, и денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали два миллиона кубиков драгоценного лекарства. А в троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление к комиссару и сказал:

— Берите меня в милиционеры, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.

— Грамматика у тебя страдает, — сказал комиссар, — с падежами туго. Что на своего брата взъелся?

— Есть причины, — сказал Голубев. — Их душить надо.

Комиссар помнил его тогда точно таким же — только три года назад, перед арестом. Те же наколки: пограничный столб с указателем СССР — США и под ним заяц с котомкой, который идет из СССР, а еще ниже подпись: «Иду туда, где нет указа». То же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челока. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма — уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».

Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто, определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел

его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.

— Ну,— сказал комиссар,— это все хорошо. Но ты объясни мне, как ты мог с ними пойти на грабеж.

— Я этого объяснить не смогу.

— Потому что был пьяный?

— Да.

— А я и не прошу, чтоб ты в себе в пьяном копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас, вот сейчас, как ты это объяснить можешь?

— Бывают провалы памяти...

— Ты думаешь, у тебя был провал?

— Да.

— Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься...

— Так я уже...

— Уже ты дурак,— сказал комиссар.— Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются— становятся преступниками. Тут разница есть.

В дверь постучали. Лев Иванович вздрогнул.

«Волнуется старик,— решил комиссар,— на Дон-Кихота похож».

— Разрешите, товарищ комиссар?— заглянув в кабинет, спросил Росляков.

— Прошу.

Росляков подошел к столу и положил перед комиссаром небольшую картонную папку.

— Садитесь,— сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя, как все люди, страдающие дальновзоркостью, дактилоскопические снимки, а потом, отложив все в сторону, попросил:

— Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.

— Я б его в стихах описывать не стал.

— Социальный заказ — такой термин знаешь?

— Знаю,— улыбнулся Ленька.— Черный, лицо подвижное, рот — толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто покрашенный. На лбу, около виска, шрамик.

— Продольный?

— Да.

Комиссар взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке.

— Этот?

— Он,— сказал Ленька и поднялся со стула.

Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машин вышло пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкой двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков, со скучающим видом, вразвалочку, шел посредине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и гроыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными спинами домов.

Костенко шел по правой стороне — хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Из щелей в полу несло могильным затхлым холодом даже в летние дни. Маша с Аришкой жили то у бабушки — на Кропоткинской, то

уезжали в деревню — на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончать университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя, а жить в хибаре с маленькой девочкой никак невозможно.

Заместитель председателя исполкома по жилью знал Костенко, и поэтому сегодня утром он принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил своими папиросами.

— Знаю, знаю,— сказал он,— в ближайшее время поможем.

— Я ведь первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других... Непорядок получается...

— Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других.

— Хорошо бандитом быть,— рассердился Костенко,— освободится, придет к вам, скажет: «Хочу начать новую жизнь» — вы ему сразу, в порядке воспитательной работы,— жилплощадь. А сыщики, они сознательные, они потерпят, так, что ль? У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой...

— Прелестный возраст.

— Это я лучше вас знаю, а вот когда все-таки квартиру дадите?

— Зимой,— сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом,— обязательно зимой.

Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью, он думал о том, что снова придется спать на полу у тещи или ворочаться с боку на бок в своей конуре, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кровать Аришке конфету и уходить на весь день — до следующего утра.

— Мамаша,— спросил Садчиков лифтершу,— а у вас к-кабина вниз ходит?

— Еще чего,— ответила лифтерша,— жильцы тогда в ей пианины будут спускать. Только вверх, а отсюда — одиннадцатым номером.

— Костик не уходил сегодня?

— Из восьмой квартиры? Так он тут не живет уж месяц.

— У Маруськи? — спросил Росляков, назвав первое пришедшее на ум женское имя.

— У них этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.

— Уж и д-дремлет,— сказал Садчиков и открыл дверь лифта.— А ты, Валя, пешочком, по лестнице...

Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал еще громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт зарубежной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.

— Иди в д-домоуправление,— шепнул Садчиков Костенко,— пусть шлют понятых и слесаря — взламывать б-будем.

— В домоуправление не пойду,— так же шепотом ответил Костенко.— Валя, будь другом ты, а то я с домоуправами не могу ладить.

Росляков, неслышно ступая, пошел вниз.

Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Нелепо спланированная однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки.

— Пьяница был Назаренко,— сказал Росляков.

— Завидно? — поинтересовался Садчиков.

— Еще бы! — ответил Росляков и начал списывать номера телефонов, нацарапанные на стене. — Между прочим, одни женские имена.

— Это по твоей линии, — сказал Костенко.

— Осторожнее на поворотах, — предупредил Росляков, — я стал обидчивым, работая под твоим начальством.

— Ну, извини...

— Да нет, пожалуйста...

Они осмотрели всю квартиру — метр за метром, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.

Садчиков внимательно просмотрел телефоны и сказал:

— Попробуем, м-может, по ним выйдем на Кос-стика, а?

— Поручи это Вальке, — предложил Костенко, — подруги бандита заинтересуются молодым оперативником.

К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Надежды, три месяца тому назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено другой группе, а Садчиков, Костенко и Росляков начали отрабатывать связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился пять лет тому назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе училось сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занималось восемь человек. Пятеро, распределившись, разъехались по стране. В Москве осталось трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.

ГИПАТОВ

Он сидел дома, в пижаме, босиком, и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая свою пропеллерообразную морду то направо, то налево.

— Я из уголовного розыска, — сказал Росляков, — вот мои документы.

Гипатов внимательно прочитал его удостоверение и спросил:

— Скажите, а почему бы вам не сделать специальные значки под лацканом? Отвернуть лацкан: «Я из угрозыска» — и все разговоры, собирай котомку.

Валя засмеялся и сказал:

— Так уж обязательно и котомку?

— Сила традиции, ничего, как говорится, не поделаешь. Мне пока ничто не угрожает?

— Вроде бы нет. Я к вам по одному вопросу.

— Прошу.

— У вас в группе учился Назаренко? Константин. Вы его помните?

— «Кто не знает собаку Гирса» — так, кажется, у Лавренева. Конечно, помню. Подонок.

— Это известно. Меня детали интересуют. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми.

— Из меня плохой доктор Ватсон.

— Да и я не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем, что можете. Это очень важно. Он — преступник, скрывается. И — вооружен. Нам сейчас важна каждая мелочь.

— Пять лет прошло... Трудно, как говорится, вспоминать.

— А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя пять лет назад. По Станиславскому — вызовите цепь ассоциаций.

Гипатов прищурился, взял со стола ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» — строчку за строчкой, через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика — в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно; они еще все смеялись на курсе — живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами.

— Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, — усмехнулся Гипатов, — кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был, или наоборот, добрым гением — другое дело. Запоминают заметных. А он — мелюзга, дешевка.

— Плохо дело.

— А, черт с ним, найдется, я думаю, а?

— Должен, конечно.

— Чайку хотите?

— Хочу, только времени нет. До свидания.

— Добрый путь. Когда схватите — от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.

— Чего ж он боялся?

— Силы. Я по отношению к нему доктрину Даллеса проводил. Как что — по зубам. Он меня, как говорится, нижайше уважал за это. Да, вспомнил! Он, если за девушкой приударял, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный вывалится — ну, такой, что на ногах не стоит, — он ему с ходу по мордасям. Тот с копыт, девушка влюблена до смерти, а Назаренко большего и не надо. Я же говорю — подонок...

ШРЕЗЕЛЬ

Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызанными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.

— Понимаете, — вдруг снова взорвался Шрезель, — мне так трудно вспоминать. Я привык вспоминать в трёпе. Предлагайте мне какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Но я просто не могу себе представить Кота в роли грабителя.

— Почему?

— Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа.

— Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.

— Напрасно. По-моему, это очень любопытно.

Костенко был по-прежнему зол. Поэтому он сказал:

— В таком случае я вынужден вас арестовать.

Шрезель засмеялся.

— Да нет, я это вполне серьезно. По Ламброзо. Он знает как определяет грабителя-рецидивиста? — сказал Костенко.

— Не помню.

— Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя

челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызанные ногти. Возьмите зеркало — я повторю портрет еще раз.

— Неужели я такая образина? — спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: — Разве у меня нижняя челюсть выступает?

— Должен вас огорчить...

— О, погодите, у него внизу, вот здесь, — он открыл рот и показал два передних зуба — были золотые коронки! Пошла ниточка! Потом он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.

— Что, вместе с ним убегали?

— Да что вы... Я был стипендиатом.

— А откуда вам известно про его штуки?

— Говорили в институте...

— Чего ж вы ему тогда холку не намылили?

— Не пойман — не вор.

— Тоже верно.

— Да, вот еще что... У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон — и навечно.

— А почему же тогда его выгнали из института?

— Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формулы. Это от лениности ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется, точно я боюсь вам сказать.

— А из какого общества?

— Я был далек от спорта.

— Как звали тренера, не помните?

— Нет, что вы... Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий, худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем...

— Они днем грабили, — сказал Костенко.

— У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать...

— Владислав Романович.

— Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына называл Иваном. Получилось довольно дерзкое сочетание: Иван Шрезель. Костенко улыбнулся.

— Благозвучно, — сказал он, — ему бы на сцену с такими данными.

Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.

— Очень мне с ним трудно, — вздохнул он, — жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а она погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница — не мать. Да погодите, снова ниточка: у Кота была же мать!

— Она умерла.

— Знаете, просто чудесная женщина. Тихая такая, добрая... Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке — крупинка от крупинки отдельно лежала.

— Вы у него часто бывали?

— Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться.

Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться — это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному — не зазорно.

— Смекалистый был парень?

— Да. Очень. Но я же говорил вам — лень у ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться.

— А деньги откуда?

— Во-первых, мать. Она была хорошая портчиха и помногу зарабатывала. Во-вторых... Черт, пожалуй, во-вторых быть не может... А вообще, очень был элегантный парень. Такой, понимаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.

— За что?

— Никто не знает. До сих пор.

КОДИЦКИЙ

— Я этого человека где-то ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.

— А в чем д-дело? — поинтересовался Садчиков.

— В нас с ним.

— Вы мне мож-жете рассказать?

— Нет. Это будет где-то подлостью.

— Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупички сведений о н-нем.

— Это ясно.

— А что вы можете м-мне рассказать о нем, даже необъективно?

— Какой вам смысл иметь необъективные сведения? Мне он кажется уродом, а на самом деле он красив. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Но причина моей ненависти ни в коем разе не имеет к нему отношения как к уголовнику. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу — косвенного.

— З-знаете, будет даже немного бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С наганом в кармане, ясно это в-вам?

— Вы будете протоколировать то, что я скажу?

— Вы не х-хотите этого?

— Я требую, чтобы этого не было.

— Обещаю вам.

— Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то, жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам? Это случилось в ночь перед моим возвращением: приехали ребята и устроили у нее встречу. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее, потому что вы, наверное, знаете, что такое женщина, ставшая впервые в жизни пьяной. Я ждал его в подъезде часа четыре. Я начал бить его, я был его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за моего друга, потому что он любил ее со школы, а ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали аборт. И потом родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А она была честным человеком. А честный человек, совершивший подлость, ищет искупления.

А она, вольно или невольно, — мне где-то очень трудно судить об этом, — совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по Вилюю.

— Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.

— Зачем?

— Для будущего. И за п-прошлое.

— Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.

Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:

— Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. И сейчас вы меня застали случайно: я в Москве бываю где-то не больше месяца в году... Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.

— Большая экспедиция? — спросил Садчиков.

Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:

— Там видно будет...

ОПОЗНАЮТ

Ленька сидел в коридоре Управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве — торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.

Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх ушел, и тюрьма не казалась ему такой страшной, как днем у Льва. Но сейчас снова давешний тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятной, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. И эти страшные слова: «А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» — показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. Допрос, суд, потом тюрьма, лопата и нары, а жизнь — мимо. Прощай поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три, прощай ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через десять лет или, сколько там дадут, год, два — больше или меньше — разницы в этом никакой, вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанная, ни во что не верящая и ничего не желающая зрелость.

И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчикова, которые кормили его колбасой и поили газированной водой и улыбались, будто они его друзья, а ведь именно они посадят его в тюрьму, именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что

ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты?! Что им?

Работники скупки и домовой лавки, которые были ограблены восьмого и двенадцатого мая, пришли в Управление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались — это была их первая практика.

Садчиков сказал:

— Вы это, х-хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем т-того парня, так ему не до улыбок. Ясно? Вы его так сраз-зу под монастырь подведете.

Леньку посадили между двумя парнями — высокими, в легких теннисках. Четвертого, выпускника МГУ Сашку Савельева, устроили чуть поодаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко:

— Зови кассира из лавки.

Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом, как на спасителя, — на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица.

— Вы здесь н-никого не узнаете? — спросил он. — Из тех, что у вас б-были двенадцатого?

Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой.

— Никого?

Она снова покачала головой.

— Не слышу, — сказал Садчиков.

— Не узнаю, — сказала женщина.

— Спасибо. Вы с-свободны.

Костенко пригласил оценщика из скупки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил:

— Эти?

— Я вас хотел спросить...

— Ах, негодяй паршивые, — начал он, разглядывая трех сидевших у стены, — ах, паразиты поганые...

— Тише, тише, — сказал Костенко, — давайте без эмоций.

Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал:

— Из этой трешницы никого.

— А этот? — показал Костенко глазами на Савельева.

Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом — так же быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит, ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул:

— Да... Лицо, прямо скажем...

— Какое? — спросил Садчиков.

— Вы же сказали — без эмоций...

— Я вас спрашиваю — он или нет?

— Как вам сказать...

— Ладно, спасибо, — сказал Костенко, — больше ничего не надо.

Девушка, которая выписывала чеки, оглядев всех, сказала сразу же:

— Здесь никого нет.

Садчиков облегченно вздохнул.

— Спасибо, ребята, — сказал Костенко. — А тебя, Савельев, надо в камеру. Лицо-то у тебя, «скажем прямо», а?

Ленька разлепил губы и спросил:

— Можно попить?

— Валяй, — ответил Садчиков. — Что, п-перетрусил?

— Нет. Теперь все равно.

- Глупость говоришь.
- Правда.
- Глупость,— повторил Садчиков.— Сиди т-тут, я сейчас.
- Ты куда? — спросил Костенко.
- Да так...— ответил Садчиков.— Скоро вернусь.

Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий и — это было сразу видно — тяжелобольной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. Не можете вместе жить — разойдитесь к черту! Себя мучаете и парня доканываете! Когда дома беспорядок — дети в первую очередь гибнут. Хочешь видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать, — уезжай в свои леса! Наведывайся два раза в год: и жена твоя будет довольна, и дома тихо. А если она себя плохо поведет — возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать — тоже полезно. Для поэтов особенно. А так — вы грызетесь, а нам потом ребят в тюрьму сажай, да?! Мы — сволочи, а вы хорошие и добренькие? Плачете, к сердцу нашему взываете, да?! А оно у меня что, каменное, сердце-то?! Или, может, нет!?

Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал:

— Совести в вас — ни на грамм!

Вошел Садчиков и стал у порога.

— Да входите же, — досадливо поморщился комиссар. — Ну что у вас?

— Он на тех д-делах не б-был.

— А вы сомневались?

— Если бы я не сом-мневался, вы б меня с работы уволили, т-товарищ комиссар.

— Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня завтра экзамен на аттестат зрелости.

— Знаю.

— Русский письменный.

— Да. Сочинение.

— Куда его будем помещать? В приемник или у нас, в камере?

Садчиков сказал:

— Я бы его отпустил по подписке. Вот и от-тец здесь. И чтоб без отца носу на улицу не высывал...

— Отец — дело, конечно, великое. Только вы, давайте свяжитесь с их комсомольской организацией, со школой. Как они. Иначе я ничего не смогу сделать. Понимаете? Надо мной начальников тоже целый батальон.

— Слушай, — сказал Садчиков Ленке, — мы т-тебя отпускаем до суда.

— Что?

— То, что с-слышишь. Отпускаем.

— Куда?

— В школу.

— А после?

— Домой. Сиди и н-носа не высывай. После экзамена позвони — ты мне будешь нужен. Читку будем вместе ловить.

— Читку?

— Нет, г-гориллу, — сказал Садчиков, — что-то ты, парень, соображать перестал от радости.

— И я сейчас могу уйти?

— Пропуск сначала надо в-выписать.

— Куда?

— В баню. Смотри, с радости не напорть еще чего. А то снова по-пойдешь «на третьего» с каким-нибудь орангутангом. Вот, держи. Только завтра, сразу после экзамена, з-звони. Не забудешь? На телефон. Будь здоров, Ленька. До з-завтра. Иди вниз, там отец ждет.

Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Росляков. Докладывал Садчиков:

— Таким образом, взвесив оперативные материалы, собранные за сегодняшний день, мы предлагаем с завтрашнего дня установить к-круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города за прочесыванием ресторанов. Думаю, что т-там, и только там мы можем найти Назаренко. Выйти на п-прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать в-версию тренера, по словам одного из опрошенных, длинного парня, сходного по п-приметам со вторым преступником. Тот, по-видимому, является г-главарем банды, но самое надежное — выйти на него ч-через Назаренко.

— Вы будете по улице Горького гулять,— сказал комиссар,— а он сейчас ту-ту, в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кафе и коктейли пьет. Так может быть?

— Может,— согласился Садчиков.

— А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете.

— Мы не видим иного пути,— сказал Костенко.

— Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?

— То же, что и товарищи...

— Засаду на квартире оставили?

— Так точно.

— В отделениях его фотографии уже есть?

— Да, но только институтских времен.

— Что он себе перманент, что ль, с тех пор накрутил? Ладно. День, от силы два побродите. Только трое вас — густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь, а вы себе возьмите опера из пятидесятого, он улицу Горького, как отче наш, знает. Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все.

МАША И АРИША

Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену. В комнате было тихо и пахло свежeweмытым полом. На столе рядом с тарелкой, на которой лежали помидор, два огурца и несколько ломтиков колбасы, белело письмо, придавленное ножом.

Костенко включил свет, сел к столу и вскрыл конверт.

«Здравствуй, милый!

Я сегодня видела очень хороший сон. Как будто мы пошли с Аришкой на пруд, туда, к заводи, около старой мельницы, и начали стирать белье. Мы его долго стирали, потому что Аришка какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тюбике и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье и вдруг вижу, как по тропинке, из леса, идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда, чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому, когда у тебя будет отпуск? Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристает: «Скоро папа приедет?» Я говорю: «Скоро», а она: «Ты честно говоришь?» Я отвечаю: «Ну, конечно». Тогда она улыбается и просит: «Скажи громче». Когда поедешь, обязательно купи в синтетике ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце жжет, а вода по-преж-

нему холодная. Это, наверное, все из-за проклятых атомов. Совсем изменилась погода: зимой слякоть, а летом вода холодная. Ужасно боюсь всйны. Ночью проснусь — и так страшно делается, что впору плакать. И думаю: зачем тогда Аришка стирает белье своим куклам и просит меня, чтобы я «сказала громко»? Зачем тогда радости сейчас, если все равно мир кончится? Ты, наверное, думаешь, что я клуша и паникерша. Может быть, только все равно очень страшно.

Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, — нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а помочь, даже если б жила рядом, — не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть аскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила, когда за лимоном для Аришки гонялась в районе. Так и не нашла.

Ой, приезжай, пожалуйста, скорее. Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка: красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую. Маша».

САДЧИКОВ И ГАЛЯ

— Послушай, Г-галка, — сказал Садчиков, — у нас все-таки нелепые законы.

— Это что-то новое у тебя, — сказала Галина Васильевна, — откуда такая оппозиционность?

— Нет, п-правда, — повторил Садчиков. — Мне сорок три, а уже пора на пенсию. За шестнадцать лет я в-выработался, как за пятьдесят.

— Напиши в правительство.

— Хорошая идея, — усмехнулся Садчиков, — там ж-ждут моего письма, как манны небесной. Дети спят?

— Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина.

— Да? Черт, п-плохо.

— У тебя прелестная реакция на мои сообщения, — улыбнулась Галина Васильевна, — я завидую твоему спокойствию.

— Это черное чувство, оно п-портит человека, — улыбнулся он.

— Не одно оно.

— Тоже верно. У меня есть к-рахмальные рубашки?

— Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсия, потом крахмальные рубашки. Где логика?

— Я ее оставляю на Петровке, в с-сейфе. Без нее мне легче дышится. Это довольно каверзная штука — логика. Ты же сама знаешь. Когда у тебя должен помереть б-больной на операционном столе и ты уверена, что он умрет, ты все равно ему г-говоришь: «Все будет в порядке».

— Какое это имеет отношение к логике?

— Прямое. Либо не врите, либо н-не режьте.

Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем.

— Бедный мой Садчиков, — сказала она, вздохнув. — У тебя нет крахмальных рубашек.

— Плохо. Вообще, мне надо купить несколько крахмальных рубашек.

— Их не покупают. Их крахмалят дома.

— Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках.

— Городские.

— Деревенские тоже. До г-года.

— До трех.

Садчиков предложил:

— Сойдемся на двух, а?

— Ты ужасно испортился за последнее время,— вздохнула Галина Васильевна.— Этот жаргон: «сойдемся».

— Тебе б-больше нравится «разойдемся»? — спросил Садчиков.

Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила:

— Иногда.

— Что с-с т-тобой?

— Ничего.

— Я спрашиваю т-тебя.

— А я отвечаю. Это твой обычный ответ. «Ничего» — и все тут.

— Ты же умная ж-женщина.

— Боюсь, что ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго.

А особенно — с женами.

— Что с т-тобой, Галка? — повторил Садчиков.

— Ничего,— ответила она и, взяв его белую рубашку, ушла в ванную комнату.

Он вошел к детям. Они спали, разметавшись в своих кроватках. Садчиков любил подолгу смотреть, как они спали. Тогда все дневное, злобное и тягостное, отходило, растворялось, а потом исчезало вовсе.

«Семь лет, говорят, критический срок в браке,— думал он.— Сначала три года, потом семь, а потом одиннадцать. Если пережить эти три рубежа, тогда все будет в порядке. Значит, три мы пережили. Сейчас остается пережить семь. А что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если б ей делать нечего, а то ведь и в клинике работает, и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с нее? Может быть, начинать надо с меня? Наверное, да. Хотя, считается, что в семье — все от женщины. От нее идет и спокойствие, и неурядицы. Считается? А почему так считается? Черт, как бы сохранить — внешне — все атрибуты влюбленности? Женщины все-таки ужасно любят внешние проявления. Они смущаются, когда им целуют руку, но им же нравится это. Разве нет? Теперь буду каждый вечер целовать Галке руку,— усмехнувшись, решил Садчиков,— может быть, это ее успокоит...»

Она развела крахмал на кухне и плакала — так, чтоб он не мог ее слышать. Думала: «Мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе по носу дадут, как любопытной кошке. А разве все так должно быть? Зачем же тогда одна крыша? Или это во мне говорит наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он не пьяница, не гуляка — чего же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Это значит совсем не уважать себя. Раз водку не пьет, и с чужими бабами не спит, и деньги домой приносит — значит, все хорошо, да? А чего у нас нет? Журнал вслух не читаем? В зоопарк с детьми не ходим? Чего же мне надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто? Может, это во мне инстинкты разгулялись в тридцать пять лет, а я под них подвожу основу?»

Галина Васильевна вздрогнула и стала быстро мыть лицо, чтобы он не заметил, как она плакала. Потом она накрахмалила рубашку и тихоноcko позвала:

— Милый, не сердись, пожалуйста, это я просто дура.

Но Садчиков не слышал ее. Он спал, укрыв голову подушкой, и жалобно стонал во сне. Ему снились убитые лебеди. А нет ничего страшнее на охоте, как видеть убитых лебедей. Они — словно люди, и силы в них столько же, и красоты, и нежности. Только перед смертью, когда входит пуля, они не поют. Это выдумали про них. Они погибают сразу, сломившись и широко распластав крылья.

ЧИТА И СУДАРЬ

Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это трудно объяснить, но это так. Десять дней назад, когда Сударь пришел к нему ночью и попросил спрятать пистолет, Чита испугался, но давешнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу Надю — натурщицу из художественного училища. Но все равно не мог заснуть до трех, а то и пяти часов утра.

— Надя,— шептал он,— ты только не спи.

— А что? — сонно спрашивала женщина.

— На лестнице кто-то стоит,— говорил он,— ты никому не рассказывала, что у меня будешь?

— Любовнику говорила,— сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке.

— Надя,— шептал он,— ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной.

— Да ну тебя... Зазывает, а сам только говорит.

Надя спала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся, но страх был четок и осязаем. Особенно ночью, когда воцарялась тишина и все вокруг делалось непроглядно-темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может. И он пошел к Сударю...

Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру после того, как отец Сударя, в прошлом генерал-майор, был арестован по делу Берия.

Мать круглый год жила в Сухуми у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того как отца арестовали, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал о деньгах думать. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников. Он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов — шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У Сударя была «победа», он уезжал в пятницу на Большую Волгу, покупал задарма в рыболовецком колхозе двести килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом, и Сударь увозил домой пару тысяч: на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиция, и Сударь, приехав в субботу к условленному месту, остался ни с чем. Рыба протухла, и он, помотавшись по московским базарам без толку, ночью выбросил ее в Москву-реку. Приехав домой, он напился до зеленых чертей и начал бить об стены блюда и чашки. Потом он сделал из подушек, которые валялись, некое подобие человека, и стал бить кулаками так, что подушки полопались и из них полетел пух. А Сударь смеялся и бегал по комнате голый.

Утром он долго не мог сообразить, что с ним: голова трещала, и во рту было горько, и руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не смог, потому что очень мутило. Его строго предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город, туда, где раньше у них была дача, и лег спать в высокой траве, которая шумела, как море. Проснувшись, он ощутил в себе неведомую раньше тяжелую и злую силу. Он чувствовал, как в нем дрожали все мышцы, и зубы он

не мог расцепить — они срослись в одно целое, и во рту из-за этого было холодно и ныли десны.

«Ненавижу все,— пронеслось в мозгу, и он понял, отчего в нем все дрожало,— все и всех ненавижу. Они у меня отняли то, что было моим. За это они должны поплатиться».

Сударь лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать: «А кто они? Люди. И те, которые наверху, и те, кто внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной. Слабосильные тряпки. Быдло. Им и мстить. Тем, что выше,— опасно, пятьдесят восемь пришьют».

Он очень хорошо знал от отца, что такое пятьдесят восьмая статья...

И сразу же он представил себе отца. Но любопытно: в глубине души Сударь был рад, что отца больше не было. Ужасно то, что он с отцом лишился всего, к чему привык с детства. Он привык к добрым шоферам, которые возили его с девушками за город, он привык к паюсной икре и дорогим коньякам, к лучшим портным и к деньгам, которые были у него всегда. Но он помнил и сейчас, с ужасом, до зверства ясно — видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный, с белыми глазами, бил мать нагайкой, а потом запирали ее в уборной и приволил к себе молчаливых, пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, избил до полусмерти за три двойки в четверти. Правда, потом математика, который ставил ему двойки, посадили, но Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь тогда мечтал о том, чтобы отец умер, а им бы дали пенсию и оставили машину, дачу и адьютанта. Но отец не успел умереть. Его расстреляли.

После этого выезда за город Сударь проткнул шилом несколько баллонов у машин, которые стояли в их дворе. Он смотрел из окна, как владельцы, чертыхаясь, клеили баллоны и ругали милицию, которая не может навести порядка. Он стоял у окна и тихо смеялся, и чувствовал в себе радость.

С работы его прогнали за пьянство. Он подрядился отгонять машины от автомагазина на Бакунинской до берегов Черного моря. Тем, которые сами не умели водить. Ему за это неплохо платили, и неделю он ни о чем не думал, а только вел машину и пел песни. А потом и это кончилось: с него взяли в милиции подписку об устройстве на работу. Сударь начал работать снабженцем на текстильной фабрике. Именно здесь он и познакомился с человеком, который назвал себя Прохором. Здесь он впервые попробовал, что такое наркотики.

Чита пришел к Сударю вместе с Надей.

— Слушай,— сказал он, пока Надя варила на кухне макароны,— хочешь, я тебе Надьку на ночь оставлю?

— Хочу.

— Такая, знаешь, женщина...

— Ничего бабец.

— Только пистолет у меня заberi.

Сударь ответил:

— Не-а. Ты у меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? Обыск, кандалы, пять лет заключения — и с пламенным приветом. Надька и так ко мне в кровать прыгнет.

— Сволочь ты, Сашк...

— Ну, ну!

— Тогда четвертак дай. Я спать не могу — страшно.

— Ничего, потом отоспишься. А деньги — их зарабатывать надо, а не кланчить.

— Как?

— Умно. Хочешь пятьсот рублей получить?

— Пятьдесят?

— Пятьсот. Пять тысяч по-старому.

— Конечно, хочу.

— Ну и ладно. Завтра получишь.

— Только это... Может, ты что-нибудь не то придумал?

— То! Я всегда то, что надо, придумываю.

— На преступление не пойду.

— Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? А? Или добровольцем-комсомольцем на целину едешь? А? Что молчишь?

— Я на преступление не пойду,— повторил Чита.

— Молчи. Ты только молчи и меня не беси, понял? «Не пойду на преступление!» А кто со мной часы у пьяного капитана в подъезде снял? Это забыл? А кто мне про ящики с водкой сказал?! Это тоже забыл?! А кто таксиста ключом по голове бил? Я? Или ты? Номер-то я помню: ММТ 98-20! Девятый парк, восьмая колонна, мальчик! Он тебя узнает, обрадуется! Сволочь! На мои деньги пить, жрать и с бабами шустрить ты мастак, да?! Пошел вон отсюда! Ну!

— Что ты взелся? Я про тебя тоже знаю...

— Я сам про себя ничего не знаю. Давай гребни...

— Дай пожрать-то.

— Не будет тебе здесь жратвы.

— Мне ехать не на чем.

— Пешком топай. Или динамо крути — это твоя специальность.

— погоди, Саш, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятишься только. Ты мне объясни все толком.

— Толком... Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость не сделаю, не думай. Я семь раз отмерю, один раз отрежу. И если тебя зову, так будь спокоен, значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди — трусы. Видят, как жулик в карман лезет, — отвернутся, потому что за свою шкуру дрожат. А если пистолет в рыло — он потечет вовсе, понял? А сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машина у подъезда. С другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу кусок, и нам по пятерке.

— А остальные куда? — быстро подсчитав, спросил Чита.

— Голодающим Поволжья,— ответил Сударь и засмеялся.

Он продолжал смеяться, когда ушли Надя и Чита. Так же смеясь, он подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, открыл дверцы, достал шприц и быстро вколол себе наркотик. После этого он еще несколько минут смеялся, а потом, тяжело вздохнув, лег на тахту и закрыл глаза. Полежав минуты три с закрытыми глазами, он сел к телефону и стал ждать звонка. Ровно в семь к нему позвонили. Перед тем как снять трубку, Сударь вытер вспотевшие ладони о лацкан пиджака и внимательно их осмотрел. Ладони были неестественно красного цвета.

«Завтра к гомеопату пойду,— подумал Сударь,— пусть пилюли пропишет. Кисленькие, не пенициллин...»

— Сань? — спросил глуховатый, сильный голос.

— Да.

— Ну здравствуй. Как чувствуешь себя? Товар ничего?

— Хороший.

— Смотри, только слишком не шали.

— Я знаю норму.

— Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно, а? Если стыдно — ты скажи, я пойму, я добрый.

Сударь засмеялся и сказал:

— Стыдно.

- Гуще смейся, а то, слышится мне, притворяешься ты вроде.
- Честно.
- Ну, тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюсь...
- Не волнуйся.
- Ну, а когда повидаемся-то, Сань?
- Завтра. В девять. У Форума.
- А это чего такое, Форум-то?
- Кино.
- А... А я думал, кино...

Сударь сказал:

— Шутник ты, Прохор,— и положил трубку.

Назавтра, в девять вечера, Прохор передал Сударю еще два грамма наркотика и дал наводку на скупку по Средне-Самсоньевскому переулку. В тот же вечер Сударь поехал к шоферу Виктору Панкину, вызвал его тонким свистом из общежития и условился о встрече. А потом отправился к Чите, купив в магазине две бутылки коньяку.

После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, то у Сударя.

ТРЕТЬИ СУТКИ

ГУЛЯЮТ ПО УЛИЦЕ

В кабинете у Садчикова Валя громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма.

Вошел Садчиков и сказал:

— Давайте на у-улицу. Пожалуй, что на координатки здесь останусь я. Позванивайте ко мне. Две к-копейки есть?

— Я запасся,— сказал Костенко,— в метро наменял.

— Ленька позвонит — я его к вам п-подключу. Этот старичок с бородкой, толстовец, у-учитель его, гов-ворит, что к устному ему тоже нечего готовиться. Он, я д-думаю, с вами погуляет. Карточка — карточкой, а когда в лицо знаешь, оно всегда н-надежней.

— Осудят его? — спросил Костенко.

— Какой судья попадетсЯ,— сказал Садчиков.— Раз на раз не приходится.

— Это будет идиотизм, если парня посадят,— сказал Росляков.— Тюрьма — для преступников, а не для мальчишек.

— Какой он м-мальчишка? — возразил Садчиков.— Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они, черти, образованные, с-смотри, как он поэзию шпарит.

— Ну и хорошо,— сказал Костенко,— жизни больше останется.

— Это как?

— А так. Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст — даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет, на заводе, со средним образованием, а мы? Только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще два года дурни дурнями. Диплом — он красивый, да толку что, если синяков себе на морде не набил...

— Жаргон, жаргон,— сказал Садчиков.— «Морда» это ч-что такое?

Росляков засмеялся и ответил:

— Это лицо — по древнерусски.

— Ладно, пошли Читу ловить,— сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова.

Они шли по улице Горького вразвалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и не медленно, весело о чем-то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная — шаткая, ленивая, ноги они ставили чуть косолапо, так, как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около «Арагви» к ним подключился третий — оперативник из пятидесятого отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил:

— Ты что, по моде тридцать девятого года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас двадцать градусов, а твоя зеленая панама за километр видна.

— Так я ж для маскировки,— улыбнулся оперативник.

— Для маскировки пойди и сними ее.

— И брюки поменяй,— предложил Валя,— а то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют.

— Не обижайся,— сказал Костенко,— он дело говорит. Мы здесь будем шататься, ты нас найдешь.

Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема: «Героизм в советской литературе», были темы конкретные: «Образ Печорина» и «Фольклорные особенности прозы Гоголя».

Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, а потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки ручку, остановился рядом с ним и тихо спросил:

— Леонид, в чем дело? Вольная тема просто для тебя...

Ленька взял ручку и обмакнул ее в чернильницу.

«Для меня,— зло подумал он,— черта с два. Я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза говорить человеку одно, а за глаза — другое. Почему он сказал, что это для меня? Он не должен был так говорить. Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу, и как я молча стоял у окна, вместо того чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, а я самая последняя дрянь».

Но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем он должен говорить, и он знал, что он должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником.

Он сдал сочинение первым и сразу же пошел в автомат — звонить на Петровку.

— Слушай,— сказал Росляков,— а опер был прав: без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок?

— У меня нет затылка,— ответил Костенко с достоинством,— у меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих — затылок.

— Ну, извини,— сказал Росляков.

— Да нет, ничего...

Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, пахло жарой, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах — улицу часто поливали неповоротливые, как броневики, и такие же пузатые автомобили — играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки, негры, растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов, продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники в отглаженных пиджачках, девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких дерзко открытых халатиках, индусы

в высоких тюрбанах и в пледах через плечо — вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом, и надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже, надо все время приглядываться: нет ли маленького шрама на лбу, нет ли большого, яркого рта, словно подкрашенного краской, надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке, потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так потому, что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко, о его трусости и наглости, о его страсти к ресторанам и к дешевой подленькой показухе. Он обязательно должен появиться здесь — среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой показушный героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Они были уверены, что в камере Чита сразу же «развалится». Один на один такие «герои» быстро становятся кучей дерьма. Они предают друзей, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, они плачут и впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся.

Если бы Чита почувствовал за собой хвост, если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка — в этом муровцы тоже были убеждены — пришел бы к себе домой и заперся там, пережидая грозу. По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку, и у них что-то приключилось с Витькой, который имел «колеса». ОРУД уже работает по всем гаражам и районным ГАИ, но на Витьку пока не вышли. Да и был ли Витька — Витькой? Да и точно ли помнит Ленья? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке — молокососы, видно, грабители... Без опыта... А Ленька — дурачок-парень. «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт...» А они его за это целовали. Ворюги сентиментальны, им бы сказки Жуковского слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили — свой, да и Ленька, верно, брякнул что-нибудь вроде того, что «жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту...» Есть такие — в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, лбом об стенку бьются. Ну, этого не посадят. Не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя судья судье рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да и нет. Они банда, а он — дурачок. На всю жизнь наука. Дома тарарам, приткнуться некуда, оступился...

«Надо будет на суд прийти, — думал Росляков. — Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару накатает, что, мол, я влезаю в его компетенцию. Комиссар вызовет «на ковер» — это уж точно. Но в суд пойти придется».

— Пошли перекусим, — предложил Костенко. — А то я сегодня с утра маковой росинки во рту не держал.

— А если бы держал — помогло?

— Ну, извини...

— Да нет, пожалуйста...

Оперативник сказал:

— В кафе не пробьешься, товарищ капитан, а в ресторанах сейчас одна сволочь засела.

— Кто? — переспросил Росляков.

— Сволочь. Кто ж еще...

— Вы, знаете ли, — сказал Росляков сердито, — какой-то эсер-максималист по программе. Вам только в террористах ходить, живи вы полсотни лет назад...

Росляков всегда недоумевал, когда говорили: «скользкий человек, в ресторанах бывает». Ну и что? Ресторан — советское учреждение или нет? Если к ресторану относиться как к вертепу, не лучше ли тогда

вообще их упразднить? Нелепица какая. Много еще у нас таких нелепиц — пустяковых по существу, но ужасно досадных. Что в субботу делать какой-нибудь влюбленной паре? Летом хорошо — пошли в парк, или просто — гуляй себе по Москве. Как говорит Садчиков, это сблизжает. Ну а зимой? Спрашивается: почему не сделать побольше танцзалов, дешевых кафе с маленькими джазами? Почему не сделать вечерние кафе открытые не до одиннадцати, а до часу или до двух часов ночи? Если парень работает во вторую смену на заводе — почему не разрешить ему зайти в кафе с девушкой в одиннадцать? Рослякову казалось, что над этим вопросом тяготеет инерция. Тем людям, которые этот вопрос должны решать и в министерстве торговли и в горсоветах, кажется ненужным и зряшным времяпровождение в кафе или в танцзале. У них семья, да и возраст не тот, а вот что делать молодым, влюбленным? Обидно было Рослякову: польские или, например, чешские мальчишки и девочки могут весело танцевать и сидеть в маленьких кафе, пить вино или крепкий кофе и говорить о том, что им дорого и понятно. А наши парни? А они ведь тоже хотят проводить вечера свои так, как показывают в польском или чешском кино.

«Ханжество нас заело, — думал Росляков. — Все думаем, а не отвлечет ли это молодежь от главного. Не отвлечет ни в коем случае. Наоборот. Они тогда будут видеть, как понимают их, как заботятся о них, — это ж огромный плюс будет для всех. Иначе двадцатилетние разбредутся по комнаткам — мы их из-под контроля выпустим».

Когда Росляков говорил об этом, над ним подтрунивали: «Мелочишься, Валя, разве это главное сейчас?»

Но Рослякову двадцать пять лет, он-то не со стороны, а изнутри знал, как это важно и нужно молодежи.

Лев Иванович хотел было читать Ленино сочинение, но завуч Марья Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась, потому что все написанное Ленкой было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано: «Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести — значительно труднее. Л. Самсонов».

Ленька долго не мог дозвониться, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читу и того, второго. О, сейчас бы он знал, что надо сделать. Сейчас бы он бросился на них и вцепился мертвой хваткой, как бульдог. И стал бы орать: «Милиция! Милиция!» Потом его, полуживого, — Чита обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться, так, чтобы рана не была смертельной, — привезли бы в больницу, он бы лежал белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах. Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька б молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали, и им было мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью...

Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади.

— А, Леня, — сказал Садчиков, — ну к-как, сдал экзамен?

— Сдал, — ответил Ленька.

— Свободен?

— Да.

— Подгребай б-быстренько ко мне, я пропуск уже заказал.

Когда Ленька сел на диван, Садчиков спросил:

— Ты музыкой никогда не занимался?

— Нет.

— Зря. А з-знаешь, что такое концерт?

— Нет.

— «К-концерто» — по-итальянски з-значит соревнование. Понимаешь? Соревнование с-скрипки с оркестром — кто кого переиграет — и есть концерт. А fuga знаешь чт-то такое? Эх ты, п-поэт. «Фуге» — значит «бегать». Фуга — бег голосов. Сначала бежит один, потом его перегоняет другой, т-третий, понимаешь?

— Здорово.

— В том-то и д-дело... Но это все «ля-ля». Музыка — к тому, что певец никогда не должен с-слушать оркестр, а оркестр не должен слушать певца. На с-самом-то деле они д-друг друга ох как слушают, но только вида н-не показывают. Так вот ты сейчас будешь п-певцом. На улице Горького увидишь наших. Не обращай на них внимания. Не думай о них — х-ходи себе и смотри. Песенки пой. Мороженое кушай. Девушек р-разглядывай.

— Что я, пижон?

— По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?

— Нет, но как-то...

— Ясно. Очень убедительно возразил. Так вот ты ходи и смотри Читу. Если надо б-будет, ребята тебя окликнут. Увидишь Читу — поздоровайся с ним и иди дальше. Он сделает несколько шагов вперед, ты его оклики и попроси с-спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Дог-говорились?

— Да.

— А как со следующим экзаменом?

— Это ж литература.

— А м-математика?

— Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом...

— Что?

— Не, ничего. Просто так...

Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор кашлянул в трубку, вздохнул и ответил:

— Неплохо.

— Что, т-тройка?

— Нет, почему же... Я склонен поставить ему высшую оценку.

И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, протиснулся с директором и кинулся следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков.

— Лень, — окликнул он его.

Тот обернулся.

— С-слушай, — сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем он решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что он написал, и хотелось сказать про это. Но он понял сейчас, что говорить про это парню нельзя, потому что тот может обидеться и подумать, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал: — Я просто х-хотел спросить, есть ли у тебя п-папиросы? Если нет — возьми мои.

— Спасибо, — ответил Ленька, — только я не курю.

Через полчаса к Садчикову зашел майор Гена Зенберовици из научно-технической лаборатории.

— Привет, старик,— сказал он и улыбнулся своей белозубой улыбкой.— Росляков просил поработать со следом машины. Помнишь, во время убийства Копытова.

— Знаю.

— Так вот, след принадлежит «москвичу-пикапу». Левый передний скат у «москвича» почти целиком сожран, развал дрянной. Правый скат почти новый. Вот в таком разрезе.

— Спас-сибо.

— Не на чем.

— ОРУД знает?

— ОРУД, старик, все знает. Будь здоров.

— С-счастливо...

ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ

Проход позвонил Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надькой, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтом поехал ночевать к Сударю, а не к ней. Домой он не ходил и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, не думал. Да и потом Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год — в Ялту, Гагры, к черту и дьяволу. А о том, что домой все-таки придется возвращаться и после этого веселого полугода, он тоже старался не думать. Жить и ни о чем не думать — только одного этого ему и хотелось. Но когда после очередного грабежа его начинал мучать страх, он успокаивал себя словами Сударя: «Дура, ну, а завтра война? Ракета, водород — и с пламенным приветом! Мы сейчас однодневки, о завтрашнем дне что думать? Сегодня прожил — и слава богу. Завтра — видно будет».

— Сань,— сказал Проход,— ты это, ты сегодня меня увидь. У меня все уже выяснилось с тем, про чего я говорил тогда, помнишь?

— Помню.

— Где увидимся-то?

— Давай в центре. Около Пушкина.

— Не. Я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского — мне и ехать туда просто, без пересадок. А?

— Что у Курского народу меньше? — спросил Сударь.

— Там народу вовсе нет,— ответил Проход,— ты чего говоришь, Сань, ты ж умный. Там не народ, там пассажиры, а они ездят, пассажиры-то, они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно? Договорились. Ну пока, Сань.

— Пока.

— Э, Сань, погоди. Ты это, ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу.

— Ладно,— ответил Сударь,— возьму.— Разбудив Читу, он сказал: — Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с дружкой. Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе.

— Про кого?

— Ну, про того парня, которого я сдуру взял на кассу.

— А что такого?

— А то, что водку жевать нельзя перед делом,— вот что. Хорошо если он смылся, а ну — как его поймали? Начнут мотать... А вдруг мы с тобой что-нибудь лягнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач.

— Я молчал.

— Ты и молча умеешь трепаться, фрайер.

— Сам больно хороший.

Сударь легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул.

— Вставай, — сказал он, — пойдем жрать. У меня с опохмелки башка трещит.

— Куда? В «Москву»?

Сударь подумал с минуту, а потом ответил:

— Не-а. Я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в Парк культуры. Чайки летают, мамыши одинокие прогуливаются. Мужья в отпуску уехали, скучно, подцепим и — сюда. Ласк я чего-то хочу. — Он усмехнулся. — Слышь, а Надька — сука.

— Почему?

— С тобой в кабак пошла, мне ногу жала, а уехала с тем парнем.

— Она одна ушла.

— Киря... Он ее за углом в такси ждал.

— Точно?

— Точно.

Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку; прыгая на одной ноге, влез в брюки и сказал:

— Зараза. Меньше чем за ящик коньяку не прощу.

— Я б за чекушку простил, — сказал Сударь, — она ж проститутка. Скучно. Влюбиться хочу. В девственницу. Чтoб со слезами все было. Это — да... А Надька? Все знает, все умеет, не женщина, а школа профтехобучения.

— Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственницы твои с родителями живут. Слышь, я пистолет возьму, ладно?

— Это зачем?

— К Надьке съездим.

— Расстрелять хочешь?

— Ага. Приведу в исполнение.

— Ладно, пошли. Наган не бери, заметят — шухер будет.

СНОВА ХОДЯТ

Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал по заданию, шел вместе с Ленькой, а Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними, только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проезда МХАТ и улицы Горького, а потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского.

Садчиков сказал:

— Обидно, Лень, мы с т-тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего с-стоят. Раньше воровали оттого, что есть было н-нечего, а теперь хоть час в день пор-работай, на сахар получи, а хлеб — в любой столовой бесплатный, сиди себе и закусывай. Вот как ты д-думаешь, отчего люди становятся бандитами?

— Наверное, от глупости.

— Нет. Водка. Наших бандитов формируют водка, водка, еще раз водка и семья — если она п-плохая. Ну и пьют же у нас водку! Черт его знает, зачем пьют. Я пьяных ненавижу, с-скоты, слюны текут, а ходит — ул-лыбается. Пьяный — дурной, он кирпичом ребенка может по голове хватить. Я охотник, сам в-водку пью, но пьяниц — в наручники б и на три месяца в тюрьму строгого режима. Не умеешь пить — глотай кефир!

— Это вы все про меня говорили? — спросил Ленька.

— Отчасти, — улыбнулся Садчиков, — но ты еще н-начинающий.

— У меня начало оказалось концом.

— Как на торжественно-траурном заседании излагаешь, — снова улыбнулся Садчиков, — ты проще г-говори, это с-сближает.

— Так я ж просто и говорю. В жизни больше водки не выпью...

— Ну, зарокос вслух не давай, не н-надо. Ты про себя больше старайся. Вслух все легко, — и, подтолкнув Леньку в бок, показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу и половину лица занимали большие зеркальные очки.

— Нет, — сразу же ответил Ленька, — не он.

— Тише, — поморщился Садчиков, — г-головой качни, и достаточно. Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал Леньке:

— Смотри, как к-красиво «Березку» отделали, а?

Ленька не понял и переспросил:

— Что?

— Красиво, говорю, в-витрину отделали, — ответил Садчиков и пошел дальше.

А оперативник, который был рядом с Костенко, заметив знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двинулся следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу.

Росляков вернулся в Управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ и отобрал фотографии всех длинных тренеров от двадцати пяти до тридцати лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой молнией и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь — обтрепанные манжеты, — о которой ему рассказал Шрезель уже в передней, провозжая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал: «Шерлокхолмщина заедает. Манжеты, видите ли! Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают...» Он настойчиво отвергал эту «манжетную версию», но она прочно сидела у него в голове.

Росляков спустился к дежурному и спросил:

— От Садчикова нет ничего?

Дежурный ответил:

— Молчит.

— Может быть, мне туда подключиться? — раздумывая, сказал Росляков.

— Пожалуй, лучше вам быть здесь.

— Пожалуй, — согласился Росляков, — я пойду перекушу, на полчасика, ладно?

Ленька спросил:

— Может быть, немного посидим?

— Это ночью, — ответил Садчиков.

— Ноги отваливаются.

Садчиков остановился и сказал:

— А ну, п-покажи! Никогда не видел, как н-ноги отваливаются. Ленька улыбнулся.

— Знаете, — сказал он, — я хотел у вас попросить совета.

— Это можно.

— Что мне делать?

— Смотреть по с-сторонам, — ответил Садчиков.

- Я не о сегодняшнем дне.
- Ах так... Ну что ж... По-моему, надо хорошо сдать экзамены и сразу на завод. Чтоб к суду тебя р-рабочие успели узнать, понимаешь?
- А судить все равно будут?
- Почему «все равно»?
- Ну потому, что я с вами хожу, помогаю...
- Так ты уходи. Милый мой, если т-ты только для суда нам помогаешь, тогда — т-топай домой.
- Я хожу с вами не для суда!
- Ну, извини, з-значит, я тебя не так понял.
- Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника.
- Милый мой, ты не п-представляешь себе, как ты не прав. И попросил я тебя нам помочь просто потому, что думаю о т-тебе неплохо, понимаешь? И потом стихи у тебя хор-рошие. Больше ничего не написал?
- Нет.
- Напишешь.
- Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться.
- Ты знаешь, что такое им-импульс? — спросил Садчиков.
- Знаю.
- Так где у тебя будет больше импульсов для т-творчества — на заводе, когда надо только успевать поворачиваться, или в полном спокойствии дома, когда все тихо и птички щ-щебечут?
- Не знаю.
- А я знаю. Вот у меня — когда б-башка особенно здорово соображает? Когда все решают минуты, когда очень т-трудно, когда надо принять только одно решение, и оно должно быть точным. А если у меня много времени, оп-пасности никакой — так я тюфяк тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У поэтов также.
- У поэтов иначе.
- Не может быть.
- Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился.
- Дома холодно д-думать, уж больно все со стороны выйдет.
- Нет. Сердце — оно и на заводе и дома одинаковое.
- Разное, — возразил Садчиков. — Завод — он т-только называется так холодно, а ведь это люди. Завод — это я условно говорю. Иди д-дома строй, коров дои, письма разноси, трубы чисти. Только надо, чтоб ты людям не только про себя одного г-говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто о себе память оставил? Достоевский, Пушкин, Лермонтов — а как их ж-жизнь валяла? То-то и оно. Импульсы — великая штука. Если ты в сплошной р-р-розовости живешь — какой ты к бесу поэт? Так, демагог, да и только.
- Сами говорили, что мои стихи нравятся...
- Говорил.
- Значит, обманывали?
- Чего мне тебя обманывать, ты не н-начальник. Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты и п-писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?
- Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и н-ничего ему не ответил.
- Около ресторана «Баку» Садчикова догнал опер из пятидесятого и негромко сказал:
- Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал.
- Извинились перед ним?
- Крикливый больно. Дежурный хотел на него протокол за хулиганство составить.

— Еще чего,— рассердился Садчиков,— объяснить н-надо человеку, а не протокол писать. Тоже, к-каратели нашлись. Телефон у него есть?

— Есть.

— Записали?

— Да.

— Ладно, я п-потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да и т-трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. Ты цирк любишь? — спросил Садчиков Леньку.

— Люблю.

— Я тоже,— сказал он,— особенно в-воздушных гимнастов.

ВСТРЕТИЛИСЬ

Прохор обнял Сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал:

— Ну как, дорогой? Ну как?

Прохор был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, приволакивая негнущуюся ногу. Он говорил быстро, без умолку, изредка похотывая и все время заглядывая в глаза то Сударю, то Чите. Смотрел он как-то по-особому: замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил.

— Водку пьете, чертенята? — спрашивал он.— С девками небось балуетесь, а? Я — старик, мне-то завидно. Нашли б какую кралю, золотенькие мои, а? Старички куда как больше юношей жаждут, да только трудно им, и лопатку колет. Читушка, что молчишь? Не нравлюся я тебе, да? Ты вона какой модный, а я как деревня, да? Смущенье тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, я с Санечкой поговорю. Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, липа сегодня цветет, от нее голова туманится, Читушка.

Чита недоуменно посмотрел на Сударя и с трудом сдержал улыбку. Сударь шел, нахмурившись, и когда увидел прыгающую от смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами.

— Гуляй,— сказал он негромко,— киря.

— Пушай он у тебя поспит,— сказал Прохор,— отдохнуть вам, ребятки, надо. Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра.

— Чего ты обо мне печешься? — спросил Чита.— Сам не маленький.

— А ты мне «ты» не говори,— сказал Прохор улыбочиво,— ты мне «вы» должен говорить.

— Это почему?

— Потому, что я — умный, а ты — молодой.

— На ключи,— сказал Сударь,— иди домой, я скоро буду. Разговор есть.

Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал:

— Поехали домой, шеф.

— Адрес какой?

Чита секунду колебался — куда ехать? Домой, к Надьке или все-таки к Сударю? Подумав, он решил ехать к Сударю. Он решил так потому, что спать одному — страшно, а Надька, стерва, наверное, с тем парнем. С Сударем не страшно, он сильный как бык, ему все «до лампочки». Счастливый человек.

— Сань, ты только слушай, что я говорю-то, я ведь дело тебе говорю, как брату — честно, от всей души. Ты только сам посуди: он один живет, профессор этот, Гальяновский Иван Семеныч. На стенах у него — картины и иконы. Картины — дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки — тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то — жик, жик — в трубочку и в чемоданчик, а иконки — в другой. Внизу — Витька, ему в кузовчик забросил, и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрипочку возьми. Она старенькая тоже, скрипочка-то. Вишь, до чего людишки додумались: старье в вещах ценят, а в человеках — стнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего — ты пару костюмчиков, часики там, цацки золотенькие хап, и — в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрипач тоже один, его жена — песни поет, сейчас улетела сна за границу, за океан. Ты его тоже молоточком. Чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя: милиционер на тебе висит, так или иначе — вышка, если заметут. А так — дверку замкнул тихонечко, да и ушел. Недельку трупика полежат, а нынче жара стоит — пусть они мусора-то ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка.

— Сколько это в деньгах?

— Ты чего, капиталист, что ль? — засмеялся Прохор и оглянулся.

Они сидели на лавочке, в сквере. Вокруг было пусто: быстро, повесенному, темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти.

— Я серьезно, Прохор.

— Да и я не шутю. Пять косых получишь.

— По старому пятьдесят?

— Ага.

— А Чите?

— Ты чего это? Сдурел? Чите... На двоих пять.

— Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым «картинкам» не понимаю? Не туда стреляешь, старый. Десять косых — и без разговоров. Вот так-то...

— Миленький, ты со мной так не говори. Не надо. Сань, я ведь встал, да и ушел. И весь разговор. Марафету ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то — нет, не найдешь ведь, Сань. Я тебя всегда разыщу. Не-а, ты не думай, я не грожуся, спаси бог, я — добрый, мне — чего? Мне ничего и не надо, я — старый, я свое отжил, а вот тебе — пожить надо. Чудо, живем-то в каком мире? То-то и оно. Нажмут кнопку — и айда все к ядреной бабке в тартаррары! Я про что толкую? Про то, что пока можешь жить — живи, а смерть придет, голову прячь и вой! Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю. И десять грамм. И больше ты меня не торгуй, все одно не заторгуешь.

— Марафет здесь?

— Завтра перед делом получишь.

— Давай адреса.

— Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо.

— Ладно. Запомню. Теперь с Витькой. Машины у нас не будет.

— Это почему?

— Запсиховал он.

— А чего, Сань? Причина-то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться, я ведь должен по закону разобраться, чтоб без обид.

— Он свою долю получил, я — не крохобор.

— Да господи, рази я говорю что? Просто интересуюся.

— Не знаю, что с ним. Говорит — завязал.

— А ты с ним беседу имел?

— Я ж говорю — псих. Ногти грызет.

— Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой-то, он ведь парень душевный, а, Сань? Да?

— Въедливый ты, просто сил нет. Душевный, душевный! Адрес дать?

— Да я знаю, Сань. Я все знаю, милай ты мой. До ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди. Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню — ты к Курскому подъезд. Теперь смотри: вот чемоданчик, в нем для мастера-электрика весь инструмент. Ты с ним и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтоб убедиться — один он, или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принести, он отвернется, а ты его — по темечку. Чита пушай на лестнице стоит. А как стукнешь — его впусти, и шуруйте. Понял? Не торопитесь, шторы занавесьте и — айда...

— Ты меня не учи.

— Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще — возьми. Для Читы. Наганчик. Он пригодится. Хороший наганчик, вороненый, руку холодит...

На том они расстались. Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, тогда тридцать тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в пятьдесят тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь — долгие шестьдесят лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три государственных премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, и знали об этом многие люди — и у нас в стране, и за ее рубежами.

Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в тридцать тысяч золотом.

Да, в конце-то концов черт с ними, с рублями, со скрипками и коллекциями! Завтра должны были погибнуть от руки наркомана Сударя два великих гражданина: гений операций на сердце и скрипач, известный всему миру.

А придумал эти два преступления маленький, серый человек по имени Прохор. Сударь о нем почти ничего не знал. Не знал он ни его, ни фамилии, ни места жительства, ни занятий — ничего он не знал о Прохоре — подполковнике «Русской освободительной армии», контрразведчике из влассовской охранки. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой влассовец. В пятьдесят девятом году его сактировали по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости тюремных врачей, он уехал из Коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Встретился с Сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. Проверил Сударя на мелочах. А завтра решил сыграть «ва-банк». Вот только Витька. Шофер, хороший паренек. Задурил. Ай-яй-яй. Он адрес-то знает. Подвозил ночью, после милиционера. Ночь — она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна. Фары табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а Витьк?

Проход поднялся и пошел к вокзалам. Шел он совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке, вроде зонтика. Шел он не сутулясь, и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут тому назад, пока рядом сидел Сударь. Попадутся мальчишки — про палку сразу стукнут. А палки-то и нет: вон решетка канализационная, туда ее и опустить. Уронил! Ай-яй-яй, какая жалость! Ищите хромого старичка! Ищите, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче!

НИКАКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ

В час ночи Садчиков вызвал машину и отвез Леньку домой. Улица уснула, в город пришла тишина. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный ледком. Пахло цветущими липами. Моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось черно-желтым.

Ноги у Леньки гудели. Он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться.

— Ну и работа у вас, — сказал он Садчикову.

— Ты э-эта с чего?

— Целый день на ногах — ужас...

— Чудак, — ответил Садчиков, — разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, — вот у-ужас. В нашем д-деле самое страшное — это всех воз-зненавидеть. В дерьме мы работаем, к-как настоящие ассенизаторы, п-понимаешь? А их любить н-надо, людей, о-очень любить. Иначе — к-какой смысл нам работать? В том-то и дело: нет смысла...

Высадив Леньку, Садчиков сказал шоферу:

— Поехали в У-управление, Михайлыч.

До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытые Росляковым, и составляли план на завтра. Садчиков должен пойти по всем адресам, по всем длинным тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты, а Костенко с Росляковым снова выйдут на улицу. Ровно в десять, к открытию гастрономов. У Читы вся стена заставлена бутылками — такие с утра пить начинают.

Засада, оставленная на квартире у Читы, сообщила, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером. Проверка установила, что эти женщины о местонахождении Читы также ничего не знают.

(Окончание следует)



ЖИВОЙ

Как по Питерской,
По Тверской-Ямской...

(Старинная песня)

Как по улице
по московской,
еще веющей стариной,
шел — вышагивал

Маяковский,
этот самый.

Никто иной.
Эти скулы,
и брови эти,
и плеча
крутой разворот,—
нет других таких
на планете;
измельчал что-то
весь народ.

Взглядом издали
отмечаясь
посреди
текущей толпы,
отмечаясь
и отличаясь,
как горошина
от крупы.

Шел он буднями,
серыми, зимними,
через юношеские
года,
через площадь
своего имени —
Триумфальную
еще тогда.

Шел меж зданий,
холодных,
каменных,
равнодушных
к его судьбе;
шел
живой человеческий
памятник,
непреклонный
в труде — в борьбе.
Шел добыть на обед монету
не для жизненных
пустяков —
шел прославить
свою планету
громовым
раскатом стихов.
С толстомясыми
каши не сварить,
а худой
худому сродни:
сразу видно —
идет товарищ!
Так мы встретились
в эти дни.
Вот идет он,
мой друг сердечный,
оттолкнув
ногой пьедестал,—
неизменный
и бесконечный,
тот, кто бронзовым
так и не стал.



Джон Стейнбек

О МЫШАХ И ЛЮДЯХ

I

В нескольких милях к югу от Соледада река Салинас подходит вплотную к горам и течет у самых подножий. Река эта глубокая, зеленая и теплая, потому что она долго текла по желтым пескам, поблескивая на солнце, прежде чем образовать здесь небольшую заводь. На одном берегу золотистые предгорья круто поднимаются к могучему, скалистому хребту Габилан, а другой, равнинный берег порос деревьями — ивами, которые покрываются каждую весну молодой зеленью и сохраняют на нижних листьях следы зимнего разлива, и сикоморами с пятнистыми, беловатыми кривыми сучьями и ветвями, которые склоняются над заводью. Земля под деревьями устлана толстым ковром листьев, таких хрустких, что даже ящерица пробежит — и то слышно. По вечерам из кустов вылезают кролики и сидят на песке, а ночью по сырому и ровному берегу бегают еноты, оставляют следы широкие лапы собак с ближних ранчо и острые раздвоенные копыта оленей, проходящих в темноте на водопой.

Меж ивами и сикоморами вьется тропа, протоптанная мальчишками, которые бегают с ранчо купаться в глубокой заводи, и бродягами, которые по вечерам, свернув с шоссе, плетутся сюда переночевать у воды. Под низким прямым сукон огромной сикоморы скопилась куча золы от многого множества костров, а сам сук гладко отшлифован многим множеством людей, сидевших на нем.

К вечеру, после жаркого дня, поднялся ветерок и тихо шелестел в

листве. Тени поползли вверх по склонам гор. Кролики сидели на песке недвижно, словно серые каменные фигурки. А потом со стороны шоссе раздались шаги — кто-то шел по хрустким палым листьям сикомор. Кролики бесшумно попрятались. Важная цапля тяжело поднялась в воздух и полетела над водой к низовьям реки. На миг все замерло, а потом двое мужчин вышли по тропе на поляну, к заводу. Один все время шел позади другого, и здесь, на поляне, он тоже держался позади. Оба были в хлопчатобумажных штанах и таких же куртках с медными пуговицами. На обоих были черные измятые шляпы, а через плечо перекинуты туго свернутые одеяла. Первый был маленький, живой, смуглолицый, с беспокойными глазами и строгими решительными чертами лица. Все в нем было выразительно: маленькие сильные руки, узкие плечи, тонкий прямой нос. А человек, шедший позади него, был большой, рослый, с плоским лицом и бесцветными глазами; шагал он косолапо, как медведь, тяжело волоча ноги. Руками на ходу не размахивал, они висели у него вдоль тела.

Первый так резко остановился на поляне, что второй чуть не наскочил на него. Первый снял шляпу, вытер кожаную ленту внутри указательным пальцем и стряхнул капельки пота. Его рослый товарищ бросил свернутые одеяла, опустился на землю, припал к зеленоватой воде и стал пить; он пил большими глотками, фыркая в воду, как лошадь. Маленький забеспокоился и подошел к нему сзади.

— Ленни! — сказал он. — Ленни, бога ради, не пей столько.

Ленни продолжал фыркать. Маленький нагнуллся и потрянул его за плечо.

— Ленни, тебе же опять будет плохо, как вчера вечером.

Ленни окунул голову в реку, а потом уселся на берегу, и струйки воды, стекая со шляпы на голубую куртку, бежали у него по спине.

— Эх, хорошо, — сказал он. — Попей и ты, Джордж. Вволю попей. И он блаженно улыбнулся.

Джордж отцепил свой сверток и осторожно положил его на землю.

— Я не уверен, что вода здесь хорошая, — сказал он. — Больно уж много на ней пены.

Ленни шлепнул по воде своей огромной ручищей и пошевелил пальцами, так что вода пошла мелкой рябью; круги, расширяясь, побежали по заводу к другому берегу и вернулись назад. Ленни смотрел на них не отрываясь.

— Гляди, Джордж. Гляди, чего я сделал!

Джордж встал на колени и быстро напился, черпая воду горстями.

— На вкус ничего, — сказал он. — Только, кажется, здесь она не проточная. Всегда пей только проточную воду, Ленни, — сказал он со вздохом. — А то ведь ты, ежели пить захочешь, хоть из вонючей канавы напешься.

Плеснув пригоршню воды себе в лицо, он вытер рукой лоб и шею. Потом снова надел шляпу, отодвинулся от воды и сел, обхватив руками колени. Ленни, не сводивший с него глаз, в точности последовал его примеру. Он отодвинулся от воды, обхватил руками колени и поглядел на Джорджа, желая убедиться, что он все сделал правильно. После этого он поправил шляпу, слегка надвинув ее на лоб, как у Джорджа.

Джордж, насупившись, глядел на воду. От яркого солнца у него вокруг глаз появились красные ободки. Он сказал сердито:

— Могли бы доехать до самого ранчо, если б этот сукин сын, шофер автобуса, не сбил нас с толку. Это в двух шагах, тут же у шоссе, говорит, всего в двух шагах. Какое к черту, да здесь все четыре мили, не меньше! Просто ему неохота было останавливаться у ранчо, вот и все. Лень ему притормозить. Небось ему и в Соледаде остановиться не захочется. Высадил нас и говорит: «Тут в двух шагах по шоссе». А я

уверен, что мы прошли даже больше четырех миль. Да еще по такой адской жарнице!

Ленни робко посмотрел на него.

— Джордж.

— Ну, чего тебе?

— Куда мы идем, Джордж?

Джордж рывком надвинул шляпу еще ниже и со злостью поглядел на Ленни.

— Так, значит, ты уже все позабыл? Значит, начинай тебе все сначала растолковывать? Господи боже, что за болван!

— Я забыл,— тихо сказал Ленни.— Но я старался не забыть. Ей-богу, старался, Джордж.

— Ну ладно, ладно. Слушай. Ничего не поделаешь. Тебе хоть всю жизнь толкуй, ты все равно забудешь.

— Я старался, очень старался,— сказал Ленни,— да ничего не вышло. Зато я про кроликов помню, Джордж.

— Какие к черту кролики! Ты только про кроликов и помнишь. Так вот. Слушай, и на этот раз запомни крепко, чтоб у нас не было неприятностей. Помнишь, как мы сидели в этой дыре на Говард-стрит и глядели на черную доску?

Лицо Ленни расплылось в радостной улыбке.

— Конечно, Джордж. Помню... Но... что мы тогда сделали? Я помню, мимо шли какие-то девушки и ты сказал... сказал...

— Плевать, что я там сказал. Помнишь, как мы пришли в контору Мэрри и Реди и нам дали расчетные книжки и билеты на автобус?

— Конечно, Джордж. Теперь помню.— Он быстро сунул обе руки в боковые карманы. Потом сказал тихо: — Джордж, у меня нет книжки. Я, наверно, потерял ее.

Он в отчаянье потупился.

— У тебя ее и не было, болван. Обе они у меня, вот здесь. Так я и отдам тебе твою книжку, жди.

Ленни вздохнул с облегчением и улыбнулся.

— Я... я думал, она здесь.

И снова полез в карман.

Джордж подозрительно взглянул на него.

— Что это у тебя в кармане?

— В кармане — ничего,— схитрил Ленни.

— Знаю, что в кармане ничего нет. Теперь эта штука у тебя в руке. Что у тебя в руке?

— Ничего, Джордж, честное слово.

— Ну-ка, давай сюда.

Ленни спрятал сжатую в кулак руку.

— Это просто мышь, Джордж.

— Мышь? Живая?

— Ну да, мышь. Просто дохлая мышь, Джордж. Я ее не убивал. Честное слово! Я нашел ее. Так и нашел — дохлую.

— Дай сюда! — сказал Джордж.

— Пожалуйста, не отбирай ее у меня, Джордж.

— Дай сюда!

Ленни неохотно разжал руку. Джордж взял мышь и швырнул ее через заводу на другой берег, в кусты.

— И на что тебе сдалась дохлая мышь?

— Я гладил ее пальцем, пока мы шли,— ответил Ленни.

— Не смей этого делать, когда ходишь со мной. Так ты запомнил, куда мы идем?

Ленни в растерянности уткнулся лицом в колени.

— Я опять забыл.

— Вот наказание,— сказал Джордж покорно.— Слушай же. Мы будем работать на ранчо, как там, на севере, откуда мы пришли.

— На севере?

— В Уиде.

— Ах да. Я помню. В Уиде.

— Ранчо вон там, в четверти мили отсюда. Мы придем туда и спросим хозяина. Слушай внимательно— я отдам ему наши расчетные книжки, а ты молчи. Стой себе и молчи. Если он узнает, какой ты полоумный дурак, мы останемся без работы, а если увидит, как ты работаешь, прежде чем ты рот откроешь, дело в шляпе. Понял?

— Конечно, Джордж. Конечно, понял.

— Ладно. Так вот, когда мы придем к хозяину, что ты должен делать?

— Я... я...— Ленни задумался. Лицо его стало напряженным.— Я... должен молчать, стоять и молчать.

— Вот молодец. Очень хорошо. Повтори это раза два-три, чтобы лучше запомнить.

— Я должен молчать... Я должен молчать... Я должен молчать...

— Ладно,— сказал Джордж.— И смотри не натвори чего-нибудь, как в Уиде.

На лице Ленни появилось недоумение.

— Как в Уиде?

— Ах, так ты и про это забыл? Ладно уж, не буду тебе напоминать, а то чего доброго опять такую же штуку выкинешь.

Лицо Ленни вдруг стало осмысленным.

— Нас выгнали из Уида! — выпалил он с торжеством.

— Выгнали, как бы не так! — сказал Джордж с возмущением.— Мы сами сбежали. Нас искали, но не нашли.

Ленни радостно хихикнул.

— Вот видишь, я не забыл.

Джордж лег навзничь на песок и закинул руки за голову. Ленни тоже лег, подражая ему, потом приподнялся, чтобы убедиться, что все сделал правильно.

— О господи! От тебя, Ленни, одни неприятности,— сказал Джордж.— Я бы горя не знал, если б ты не висел у меня на шее. Как бы мне хорошо жилось. И, может, у меня была бы девушка.

Мгновение Ленни лежал молча, потом сказал робко:

— Мы будем работать на ранчо, Джордж.

— Ладно. Это ты запомнил. А вот ночевать будем сегодня здесь, у меня на это свои причины.

Быстро смеркалось. Долина погрузилась в тень, и только вершины гор были освещены солнцем. Водяная змейка скользнула по заводи, держа голову над водой, словно крошечный перископ. Камыш колыхался, волнуемый течением. Где-то далеко, около шоссе, послышался мужской голос и ему откликнулся другой. Ветки сикомор зашелестели под легким порывом ветра, который сразу же улегся.

— Джордж, а отчего бы нам не пойти на ранчо и не поужинать? На ранчо ведь дают ужинать.

Джордж повернулся на бок.

— Это не твоего ума дело. Мне здесь нравится. Работать завтра начнем. Я видел, как туда везли молотилки. Значит, будем сыпать зерно в мешки, надрывать. А сегодня я хочу лежать здесь и глядеть в небо. Хочу, и все тут.

Ленни встал на колени и поглядел на Джорджа.

— Так мы не будем ужинать?

— Нет, будем; если ты соберешь хворосту. У меня есть три банки

бобов. Разложи костер. Когда соберешь хворост, я дам тебе спичку. А потом подогреем бобы и поужинаем.

— Но я люблю бобы с кетчупом,— сказал Ленни.

— Нет у нас кетчупа. Собирай хворост. Да пошевеливайся. А то скоро совсем стемнеет.

Ленни неуклюже встал на ноги и исчез в кустах. Джордж лежал, тихо посвистывая. В той стороне, куда ушел Ленни, послышался плеск. Джордж перестал свистеть и прислушался.

— Бедный дурак,— сказал он тихо и снова засвистел.

Вскоре вернулся Ленни, продираясь сквозь кусты. Он нес в руке одну-единственную ивовую ветку. Джордж сел.

— Ну-ка,— сказал он сурово.— Давай эту мышь сюда!

Ленни искусно притворился непонимающим.

— Какую мышь, Джордж? У меня нет никакой мыши.

Джордж протянул руку.

— Давай ее сюда. Меня не проведешь.

Ленни нерешительно попятился и бросил отчаянный взгляд на кусты, словно думал убежать. Джордж сказал сурово:

— Отдайшь ты мне эту мышь, или придется тебя вздуть хорошенько?

— Что отдать, Джордж?

— Ты отлично знаешь сам, черт тебя возьми. Давай мышь.

Ленни неохотно полез в карман. Голос его дрогнул:

— А почему мне нельзя ее оставить? Она ведь ничья. Я ее не украл. Я просто нашел ее на дороге.

Джордж по-прежнему решительно протягивал руку. Медленно, как собачонка, которая несет хозяину палку, Ленни подошел, попятился, потом подошел снова. Джордж нетерпеливо щелкнул пальцами, и Ленни сразу положил мышь ему в руку.

— Но я не сделал ничего плохого, Джордж. Я просто гладил ее.

Джордж встал и забросил мышь далеко, в темнеющий кустарник, потом подошел к воде и вымыл руки.

— Дурак полоумный. Не понимаешь разве — я увидел, что у тебя ноги мокрые, ведь ты же ходил за ней через реку.

Он услышал, как заскулил Ленни, и обернулся.

— Ньюни распустил, как маленький? Ах ты господи! Такой здоровенный детина, и плачет.— Губы Ленни кривились, глаза были полны

Джон Эрнест Стейнбек (род. в 1902 г.) — один из известнейших писателей современной Америки, лауреат Нобелевской премии 1962 года.

Советский читатель познакомился со Стейнбеком более двадцати лет назад, когда на русский язык была переведена его замечательная книга «Гроздь гнева». В СССР были опубликованы и другие произведения Стейнбека — «Рыжий пони», «Луна зашла», «Жемчужина», многие рассказы. Огромный интерес вызвал его новый разоблачительный роман «Зима тревоги нашей». За последний год в периодических изданиях (журнал «Иностранная литература», журнал «Звезда», газеты «Известия» и «Литература и жизнь») напечатаны отрывки из лирического дневника писателя — «Путешествие с Чарли в поисках Америки», где он показывает подлинную современную Америку со всеми ее многочисленными противоречиями, делится теми раздумьями и сомнениями, которые вызывает у него американская современность.

Повесть «О мышах и людях» (которую, несмотря на малый объем, сам Стейнбек, а вслед за ним и американские критики называют романом) написана в 1937 году. Эта повесть принесла Стейнбеку, впервые после нескольких неудач, широкую известность сначала в американской, а потом и в мировой литературе. Писатель изображает в ней судьбы простых тружеников, сельскохозяйственных рабочих, жизнь которых он хорошо знал, так же как и место действия — окрестности города Салинас в Калифорнии, где он родился и в юности сам, как и его герои, немало поработал на ранчо.

Повесть Стейнбека написана с большой любовью к обездоленным американцам, с сочувствием к их трагическим судьбам.



слез.— Ну, Ленни! — Джордж положил руку ему на плечо.— Я отобрал ее у тебя не по злобе. Эта мышь давным-давно издохла, Ленни, и кроме того, ты, когда гладил ее, сломал ей хребет. Ну ничего, ты найдешь другую мышь, свеженькую, и я позволю тебе оставить ее у себя ненадолго.

Ленни сел на землю и уныло понурил голову.

— Я не знаю, где найти другую мышь. Я помню, одна женщина отдавала мне мышей, как поймает. Но ее здесь нет.

Джордж усмехнулся.

— Одна женщина, да? Ты даже не помнишь, кто она такая. А ведь это была твоя тетка Клара. Она потом перестала давать их тебе. Ты их всегда убивал.

Ленни поднял голову и печально поглядел на него.

— Они были такие маленькие,— сказал он виновато.— Я их гладил, а потом они кусали меня в палец, и чуть их ущипнешь, они ужедохнут, потому что они такие маленькие. Поскорей бы у нас были кролики, Джордж. Они не такие маленькие.

— К черту кроликов. Тебе нельзя давать живых мышей. Тетка Клара купила тебе резиновую мышь, но ты не хотел ее брать.

— Ее не так приятно гладить,— сказал Ленни.

Багрянец заката исчез с горных вершин, и сумерки сползли в долину, а меж ивами и сикоморами уже царил полумрак. Крупный карп всплыл на поверхность заводи, глотнул воздуха и снова таинственно погрузился в темную воду, оставляя на ее глади разбегающиеся круги. Листва над головой снова зашелестела, и белый пух слетел с ив, опускаясь на воду.

— Соберешь ты, наконец, хворосту? — спросил Джордж.— Вон у той сикоморы целая куча сучьев, река принесла в разлив. Тащи их сюда.

Ленни пошел к дереву и принес охапку сухих сучьев и листьев. Он бросил ее на старое кострище, сходил к дереву еще раз, потом еще. Была уже почти ночь. Над водой с шумом пролетел голубь. Джордж подошел к куче хвороста и поджег сухие листья. Сучья затрещали и занялись. Джордж развернул одеяло и вынул три банки бобов. Он поставил их у самого костра, но так, чтобы огонь их не касался.

— Этих бобов хватило бы на четверых,— сказал он.

Ленни смотрел на него, стоя по другую сторону костра. Он сказал смиренно:

— Я люблю бобы с кетчупом.

— Но у нас нет кетчупа! — рассердился Джордж.— Вечно ты хочешь того, чего нет. Боже праведный, будь я один, я бы и горя не знал. Работал бы себе спокойно. Никаких забот, получал бы каждый месяц свои пятьдесят долларов, ехал в город и покупал что хотел. А ночь проводил бы с девчонками. И обедал бы где хотел, в гостинице или еще где, и заказывал бы, что только в голову взбредет. Каждый месяц. Брал бы галлон виски, играл бы в карты или на бильярде.

Ленни присел на корточки и глядел через костер на рассерженного Джорджа. Лицо у него перекошилось от страха.

— А так, что у меня есть? — продолжал Джордж свирепея.— У меня есть ты! Нигде ты не можешь удержаться, и из-за тебя я все время теряю работу. Из-за тебя я вечно мыкаюсь по всей стране. И это еще не самое худшее. Ты то и дело попадаешь в беду. Натворишь что-нибудь, а я тебя вызволяю.

Он повысил голос почти до крика.

— Ты полоумный сукин сын! Из-за тебя я все время как на иголках! И он передразнил Ленни, как передразнивают друг друга маленькие девочки:

— «Я только хотел пощупать ее платье, только хотел погладить его, как мышку...» Но откуда ей, к черту, знать, что ты хотел только погладить ее платье? Она пробовала вырваться, но ты держал ее, как мышь. Она — кричать, и вот пришлось нам спрятаться и сидеть в оросительной канаве весь день, покуда нас искали, а когда стемнело, унести ноги. И так все время, все время! Посадить бы тебя в клетку вместе с миллионом мышей, радуйся тогда сколько душе угодно!

И вдруг он перестал сердиться. Он поглядел через костер на страдальческое лицо Ленни, а потом, устыдясь, стал смотреть на огонь.

Было уже совсем темно, но костер освещал стволы деревьев и кривые ветки над головой. Ленни медленно и осторожно пополз на четвереньках вокруг костра, пока не очутился рядом с Джорджем. Он присел на корточки. Джордж повернул банки другим боком к огню. Он делал вид, будто не замечает Ленни.

— Джордж,— позвал Ленни едва слышно. Ответа не было.— Джордж.

— Чего тебе?

— Я просто пошутил, Джордж. Я не хочу кетчупа. Я бы не стал есть кетчупа, даже если б он был вот здесь, прямо передо мной.

— Если б он был, ты мог бы поесть.

— Но я не стал бы, Джордж. Я весь отдал бы тебе. Ты залил бы им себе бобы, а я б к нему и не притронулся.

Джордж все так же мрачно смотрел в огонь.

— Как подумаю о том, до чего хорошо мне жилось бы без тебя, с ума сойти можно. А так у меня нет ни минуты покоя.

Ленни все еще сидел на корточках. Он поглядывал в темноту за рекой.

— Джордж, ты хочешь, чтоб я ушел?

— Куда ты, к черту, пойдешь?

— Вон туда, в горы. Найду какую-нибудь пещеру.

— Да? А что ты будешь есть? У тебя ведь не хватит соображения найти себе поесть.

— Я могу что-нибудь найти, Джордж. Мне не нужна вкусная еда с кетчупом. Буду лежать себе на солнышке, и никто меня не тронет. А если найду мышь, то оставлю ее себе. Никто ее не отберет.

Джордж бросил на него быстрый испытующий взгляд.

— Я тебя обидел, да?

— Если я тебе не нужен, пойду в горы и найду пещеру. Могу хоть сейчас уйти.

— Нет... Послушай, Ленни, я просто пошутил. Конечно же, я хочу, чтобы ты остался со мной. Беда в том, что ты всегда убиваешь этих мышей.— Он помолчал.— Вот что я сделаю, Ленни. При первой возможности подарю тебе щенка. Может, его ты не убьешь. Щенок лучше, чем мышь. И гладить его можно сильнее.

Но Ленни не поддался на удочку. Он понимал свое преимущество.

— Если я тебе не нужен, ты только скажи, и я уйду туда, прямо в горы, и буду там жить один. И никто не отберет у меня мышь.

Джордж сказал:

— Я хочу, чтоб ты остался со мной, Ленни. Господи, да ведь тебя кто-нибудь подстрелит, приняв за койота, если бросить тебя. Нет уж, оставайся со мной. Твоя тетя Клара, покойница, огорчилась бы, если б узнала, что ты остался один.

Ленни сказал лукаво:

— Расскажи мне... как тогда...

— Про что рассказать?

— Про кроликов.

— Не морочь мне голову,— огрызнулся Джордж.

— Ну, Джордж, расскажи. Пожалуйста, Джордж. Как тогда,— взмолился Ленни.

— Значит, тебе это нравится? Ну ладно, слушай, а потом будем ужинать...

Голос Джорджа стал проникновенным. Он произносил слова ритмично и быстро,— видно, рассказывал об этом уже много раз.

— Люди, которые батрачат на чужих ранчо, самые одинокие на свете. У них нет семьи. У них нет дома. Придут они на ранчо, отработают свое, а потом — в город, получку проматывать, и глядишь, уже опять плетутся куда-нибудь на другое ранчо. И впереди у них ничего нет.

Ленни ловил каждое слово.

— Вот-вот, правильно. А теперь расскажи про нас.

Джордж продолжал:

— Но мы не такие, как они. У нас есть будущее. И тебе и мне есть с кем поговорить, о ком позаботиться. Нам незачем сидеть в баре и накачиваться вином, только потому, что больше деваться некуда. Иной человек, если попадает в тюрьму, может сгнить там, никто и пальцем не шевельнет. Другое дело — мы.

— «Другое дело — мы!» — подхватил Ленни.— А почему? Да потому... потому, что у меня есть ты, а у тебя есть я, вот почему».— Он радостно засмеялся.— Говори же, Джордж.

— Но ведь ты и так все знаешь наизусть. Можешь сам рассказать.

— Нет, расскажи ты. Я могу что-нибудь забыть. Расскажи, как это будет.

— Ну ладно. Когда-нибудь мы сколотим денюжат и купим маленький домик, несколько акров земли, корову, свиней, и...

— И будем сами себе хозяева! — воскликнул Ленни.— И заведем кроликов. Говори дальше, Джордж! Расскажи про наш сад, и про кроликов в клетках, и про дожди зимой, и про печь, и про то, какие густые сливки мы будем снимать с молока, так что их придется резать ножом. Расскажи про это, Джордж.

— Отчего ты не расскажешь сам? Ведь ты все знаешь.

— Нет... Расскажи ты. У меня так не выходит... Говори, Джордж. Про то, как я буду кормить кроликов.

— Так вот,— сказал Джордж.— У нас будет большой огород, и кролики, и цыплята. А зимой, в дождь, мы плюнем на работу, затопим печь, будем сидеть около нее и слушать, как дождь стучит по крыше... А, черт! — Он вынул из кармана перочинный нож.— Дальше некогда рассказывать.— Он открыл ножом одну жестянку и передал ее Ленни. Потом открыл вторую. Из бокового кармана он достал две ложки и одну дал Ленни.

Они уселись у костра и стали дружно жевать, набивая рты бобами. Несколько бобов выпало у Ленни изо рта.

Джордж ткнул в его сторону ложкой.

— Что ты скажешь завтра, когда хозяин спросит тебя о чем-нибудь?

Ленни перестал жевать и проглотил бобы, которые были у него во рту. Лицо его стало сосредоточенным.

— Я... я... буду молчать.

— Молодец! Вот это хорошо, Ленни. Кажется, ты становишься умнее. Когда у нас будет свое ранчо, я позволю тебе ухаживать за кроликами. Особенно, если ты все вот так же хорошо будешь помнить.

У Ленни захватило дух от радости.

— Я все буду помнить,— сказал он.

Джордж снова взмахнул ложкой.

— Послушай, Ленни. Оглядишься хорошенько вокруг. Можешь ты

запомнить это место? Ранчо вот там, в четверти мили отсюда. Нужно все время идти вдоль реки.

— Конечно,— сказал Ленни.— Я могу запомнить. Разве я не запомнил, что нужно молчать?

— Конечно, запомнил. Так вот, Ленни, если ты что-нибудь натворишь, как раньше, сразу беги сюда и спрячься в кустах.

— Спрятаться в кустах,— медленно повторил Ленни.

— Да, спрячься в кустах и жди меня. Можешь это запомнить?

— Конечно, могу, Джордж. Спрятаться в кустах и ждать тебя.

— Но гляди ничего не натвори, потому что иначе я не позволю тебе кормить кроликов.

Он швырнул пустую жестянку в кусты.

— Я не натворю ничего, Джордж. Я буду молчать.

— Ладно. Неси свое одеяло к костру. Здесь хорошо спать. Видны небо и листья. Не подбрасывай больше хворосту. Пускай костер угасает.

Они постелили себе на песке. Костер догорал, и круг света суживался; кривые ветки исчезли, и только смутно маячили толстые стволы. Ленни спросил из темноты:

— Джордж, ты спишь?

— Нет. Чего тебе?

— Давай заведем всяких кроликов, Джордж, разноцветных.

— Само собой,— сказал Джордж сонным голосом.— Красных, и синих, и зеленых кроликов, Ленни. Миллионы всяких кроликов.

— И чтоб они были пушистые, Джордж, такие, каких я видел на ярмарке в Сакраменто.

— Да, конечно, пушистые.

— Но ведь я могу и уйти, Джордж, буду жить в пещере.

— И к черту тоже можешь идти,— сказал Джордж.— А теперь заткнись.

Раскаленные уголья постепенно тускнели. За рекой, в горах, завыл койот, и с другого берега отозвалась собака. Листья сикомор шелестели под легким ночным ветерком.

II

Барак был длинный, прямоугольный. Стены внутри побеленные, пол некрашенный. В трех стенах были маленькие квадратные оконца, а в четвертой — тяжелая дверь с деревянной щеколдой. У стен стояли восемь коек, из них пять были застелены одеялами, а на трех валялись лишь холстинные тюфяки. Над каждой койкой был прибит ящик из-под яблок, так что получались две полки для вещей жильца. И полки эти были завалены всякой всячиной — мылом и пачками талька, бритвами и ковбойскими журналами, которые на ранчо так любят читать, и хоть смеются над ними, а втайне верят каждому слову. А еще на полках были лекарства в пузырьках и гребни; кое-где на гвоздях, вбитых рядом, висели галстуки. У одной стены стояла черная чугунная печь, труба ее выходила наружу прямо через потолок. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол, на нем валялись истрепанные карты, а вокруг были расставлены ящики, чтобы сидеть игрокам.

Около десяти часов утра солнце заглянуло в одно из боковых окон, бросая на пол пыльный сноп света, и в этом свете яркими искрами закружились мухи.

Деревянная щеколда поднялась. Дверь отворилась, и вошел высокий сутулый старик. На нем были синие джинсы, в левой руке он держал большую швабру. За ним вошел Джордж, а за Джорджем Ленни.

— Хозяин ждал вас вчера вечером,— сказал старик.— Он здорово

разозлился, когда вы не пришли, хотел отправить вас на работу нынче утром.

Он вытянул правую руку, и из рукава высунулась круглая, как палка, культия без кисти.

— Занимайте вон те две,— сказал он, указывая на две койки возле печи.

Джордж шагнул вперед и бросил свои одеяла на мешок с соломой, служивший тюфяком. Он оглядел полку и взял с нее маленькую желтую баночку.

— Послушай, а это что такое?

— Не знаю,— сказал старик.

— Здесь написано «Лучшее средство от вшей, тараканов и других паразитов». Куда это ты нас привел? Нам неохота разводить у себя эту живность.

Старый уборщик сунул швабру под мышку, протянул руку и взял баночку.

— Вот какое дело,— сказал он наконец.— Здесь последним спал один кузнец, славный малый, и такой чистоплотный, каких поискать. Мыл руки даже после еды.

— Так где же он набрался этой дряни? — Джордж медленно закипал злобой. Ленни положил свой сверток на соседнюю койку и сел. Он смотрел на Джорджа, открыв рот.

— Вот какое дело,— сказал старик.— Этот самый кузнец, Уити, был такой чудак, что сыпал порошок, даже ежели клопов не было — просто так, для верности, понимаешь? И еще вот что делал... Всегда чистил за столом вареную картошку и каждое пятнышко с нее соскребал, прежде чем съесть. И если на крутом яйце бывали красные пятнышки, он их тоже соскребал. Он и ушел отсюда из-за харчей. Вот он какой был — чистоплотный и наряжался каждое воскресенье, даже если никуда не шел, галстук и то наденет, а потом сидит в бараке.

— Что-то не верится,— сказал Джордж подозрительно.— Из-за чего, говоришь, он ушел?

Старик положил баночку в карман и потер тыльной стороной ладони свои шетинистые щеки.

— Ну... просто ушел... как все уходят... Сказал, что из-за харчей. Наверно, хотел место переменить. Ни про что другое не сказал, только про харчи. Просто однажды вечером говорит: «Давайте расчет», как и все.

Джордж поднял тюфяк и заглянул под него. Наклонившись, он внимательно осмотрел холстину. Ленни тотчас встал и сделал то же самое. Джордж, наконец, как будто был удовлетворен. Он развернул свой сверток и положил на полку бритву, кусочек мыла, гребень, пузырек с какими-то пилюлями, мазь и ремень. Потом он аккуратно застелил койку одеялами. Старик сказал:

— Хозяин, наверно, сейчас придет. Ну и разозлился же он утром, как узнал, что вас нет. Мы как раз завтракали, а он приходит и говорит: «Где же эти новенькие, черт бы их взял?» И конюху от него крепко досталось.

Джордж расправил складку на одеяле и сел.

— Конюху досталось? — переспросил он.

— Ну да. Понимаешь, конюх у нас негр.

— Негр?

— Ну да. Славный малый. С тех пор, как его лошадь лягнула, он стал горбатый. Хозяин всегда на нем зло срывает. Но ему на это наплевать. Он все книжки читает. У него много этих самых книжек.

— А что он за человек, ваш хозяин? — спросил Джордж.

— Славный малый. Иногда, правда, зверь зверем, а так ничего,

славный малый. А знаешь, что он сделал на рождество? Принес галлон виски и говорит: «Пей, ребята, вволю. Рождество бывает раз в году».

— Вот это здорово! Целый галлон?

— Да, брат. Ну и потеха пошла. Негра тоже сюда позвали. Маленький погонщик Смитти стал приставать к негру. Вот дело было! Ребята не позволили ему бить ногами, и негр кое-как от него отвязался. Смитти говорит, что убил бы негра, ежели б ему позволили бить ногами. Но ребята сказали, что раз негр горбатый, ногами бить нельзя.— Он замолчал, припоминая.— А потом они поехали в Соледад и здорово там нашумели. Я не поехал. Где уж мне на старости лет.

Ленни тем временем застелил свою койку. Деревянная щеколда поднялась, и дверь отворилась. Вошел маленький, коренастый человек и остановился на пороге. На нем были синие джинсы, фланелевая рубашка, черный незастегнутый жилет и такой же черный пиджак. Большие пальцы он заткнул за пояс по обе стороны от квадратной стальной пряжки. На голове у него была засаленная коричневая стетсоновская шляпа, на ногах — башмаки с высокими каблуками и со шпорами, которые он носил, чтобы показать, что он не бездельничает.

Старик, увидев его, сразу пошел к двери, шаркая ногами и потирая на ходу щеку.

— Эти двое только что пришли,— сказал он и проскользнул мимо хозяина за дверь.

Хозяин вошел в комнату, мелко шагая толстыми ногами.

— Я написал Мэрри и Реди, что мне нужны два человека сегодня с утра. Направления при вас?

Джордж полез в карман, достал два листка и протянул их хозяину.

— Выходит, Мэрри и Реди тут ни при чем. Здесь написано, что вы должны выйти на работу сегодня с утра.

Джордж глядел себе под ноги.

— Шофер автобуса завез нас не в ту сторону,— сказал он.— Пришлось тащиться пешком десять миль. Он сказал, что это рядом, а оказывается, вон как далеко. И попутных машин все утро не было.

Хозяин прищурил глаза.

— Пришлось послать в поле на двух человек меньше. Теперь уж до обеда вам нет смысла идти.

Он достал из кармана записную книжку и открыл ее там, где она была заложена карандашом. Джордж бросил на Ленни многозначительный взгляд, и Ленни кивнул, показывая, что он понял. Хозяин поспешил карандаш.

— Имя, фамилия?

— Джордж Милтон.

— А ты?

— Он — Ленни Малыш.

Хозяин записал обоих в книжку.

— Так вот, сегодня двадцатое, полдень.— Он закрыл книжку.— А раньше вы где работали?

— Неподалеку от Уида.

— И ты тоже? — спросил хозяин, обращаясь к Ленни.

— Да, и он тоже,— сказал Джордж.

Хозяин с усмешкой указал на Ленни.

— Он, кажется, не очень-то разговорчивый?

— Не очень, зато работающий. И силен как бык.

Ленни улыбнулся.

— Силен как бык,— повторил он.

Джордж сердито поглядел на него, и Ленни, пристыженный, понурил голову.

Вдруг хозяин сказал:

— Послушай-ка, Малыш.— Ленни поднял голову.— Что ты умеешь делать?

Ленни испуганно поглядел на Джорджа, ожидая помощи.

— Он может делать все, что ему велят,— сказал Джордж.— Хорошо управляется с лошадьми. Может ссыпать зерно в мешки, работать на культиваторе. Все умеет. Вы его только попробуйте.

Хозяин повернулся к Джорджу.

— Так чего ж ты ему не даешь самому сказать? Голову мне морочишь?

Джордж громко перебил его:

— Я же не говорю, что у него ума палата. Нет. Я говорю только, что он работник, каких поискать. Может поднять кипу хлопка в чetyреста фунтов.

Хозяин аккуратно положил записную книжку в карман. Он засунул большие пальцы рук за пояс и сильно прищурил один глаз.

— Послушай, чего это ради ты его расхваливаешь?

— А?

— Я спрашиваю, что тебе за дело до этого малого. Отбираешь у него заработки?

— Да нет же, что вы. С чего вы взяли, что я его расхваливаю?

— Сроду не видел, чтоб кто-нибудь из вашего брата так заботился о другом. Я просто хочу знать, какая тебе от этого выгода?

— Он мой... мой двоюродный брат,— сказал Джордж.— Я обещал его мамаше присматривать за ним. Его в детстве лошадь лягнула в голову. Но он малый ничего, хоть и глуп. Может делать все, что ему велят.

Хозяин уже повернулся к двери.

— Ну что ж, видит бог, не нужно большого ума, чтобы ссыпать ячмень в мешки. Но смотри, не вздумай морочить меня, Милтон. Я буду за тобой присматривать. Отчего вы ушли из Уида?

— Работа кончилась,— поспешно ответил Джордж.

— Какая работа?

— Мы... мы рыли сточную яму.

— Ладно. Только не вздумай меня морочить, тебе это даром не пройдет. Видывал я таких умников. После обеда выйдете на работу вместе со всеми, ссыпать ячмень в мешки у молотилки. Будете под началом у Рослого.

— У Рослого?

— Да. Такой высокий, здоровый малый. Увидите его за обедом.

Он снова повернулся и пошел к двери, но прежде чем выйти, оглянулся и долго смотрел на обоих.

Когда его шаги замерли, Джордж напустился на Ленни:

— Ты должен был молчать! Не разевать свою пасть и предоставить мне разговаривать. Мы чуть не потеряли работу!

Ленни уныло разглядывал свои руки.

— Я забыл, Джордж.

— Забыл! Ты всегда все забываешь, а я должен тебя вызволять.— Джордж тяжело сел на койку.— А теперь он будет за нами присматривать! Теперь надо глядеть в оба, не дай бог промашку сделать. Теперь уж не смей и рта раскрыть.

Он угрюмо умолк.

— Джордж.

— Ну, чего тебе еще?

— Но ведь лошадь не лягнула меня в голову, правда, Джордж?

— И очень жаль,— сказал Джордж со злостью.— Это всех избавило бы от хлопот.

— А еще ты сказал, что я твой двоюродный брат, Джордж.

— Конечно, это неправда. К моему счастью. Будь я твоим родичем, я давно пустил бы себе пулю в лоб.— Он вдруг замолчал, быстро подошел к двери и выглянул наружу.— А ты какого дьявола здесь подслушиваешь?

Старик медленно вошел в барак. В руке он держал швабру. Следом за ним, ковыляя, вошла овчарка с седой мордой и блеклыми, ослепшими от старости глазами. Овчарка добрела до стены и улеглась, тихо ворча и вылизывая свою седую, изъеденную блохами шкуру. Старик глядел на нее, пока она не улеглась.

— Я не подслушивал. Просто остановился на минутку в тени и погладил собаку. Я только что кончил прибираться в умывальной.

— Нечего совать нос в наши дела,— сказал Джордж.— Терпеть не могу любопытных.

Старик беспокойно перевел взгляд с Джорджа на Ленни, потом снова на Джорджа.

— Я только что подошел,— сказал он.— Не слышал ни слова, о чем вы тут говорили. И меня это не интересует. У нас на ранчо никогда не подслушивают и не задают вопросов.

— И хорошо делают,— сказал Джордж, смягчившись.— А не то — и вылететь недолго.

Но старик убедил его, что и не думал подслушивать.

— Сядь, посиди с нами,— сказал Джордж.— Какая старая у тебя собака.

— Да. Я взял ее еще щенком. Хорошая была овчарка.

Он прислонил швабру к стене и тыльной стороной ладони потер белую щетину на щеке.

— Ну, как вам показался хозяин? — спросил он.

— Ничего. Хороший человек.

— Славный малый,— согласился старик.— Он только с виду такой сердитый.

В барак вошел молодой мужчина; он был худощавый, смуглый, с карими глазами и густыми вьющимися волосами. На левой руке у него была рукавица, а на ногах, как и у хозяина,— башмаки с высокими каблуками.

— Не видали моего старика? — спросил он.

— Он только что был здесь, Кудрявый,— сказал уборщик.— Наверно, пошел на кухню.

— Пойду догоню его,— сказал Кудрявый.

Но тут он заметил незнакомых людей и остановился. Он злобно поглядел на Джорджа, потом на Ленни. Руки его медленно согнулись в локтях, кулаки сжались. Он весь напрягся и слегка присел. Теперь он бросил на них одновременно оценивающий и вызывающий взгляд. Ленни съежился под этим взглядом и робко переминался с ноги на ногу. Кудрявый с опаской подошел к нему поближе.

— Вы, значит, и есть те новенькие, которых ждал мой старик?

— Мы только что пришли.

— Пусть говорит вот этот верзила.

Ленни в растерянности еще больше съежился.

— А если он не хочет говорить? — сказал Джордж.

Кудрявый резко повернулся к нему.

— Клянусь богом, я заставлю эту орясину отвечать, когда его спрашивают. А ты-то чего суешься?

— Мы с ним вместе работаем,— сказал Джордж неприязненно.

— Ах, вот как!

Джордж весь напрягся, но не двинулся с места.

— Да, вот так.

Ленни беспомощно поглядел на Джорджа, не зная, что делать.

— И ты не позволяешь ему говорить, так что ли?

— Пусть говорит, если хочет что-нибудь сказать.

Он едва заметно кивнул Ленни.

— Мы только что пришли,— тихо сказал Ленни.

Кудрявый, сразу успокоившись, поглядел на него.

— Так вот, в другой раз отвечай, когда тебя спрашивают.

Он повернулся и вышел. Руки его все еще были слегка согнуты в локтях.

Джордж проводил его взглядом, потом посмотрел на старика.

— Скажи, какого черта ему надо? Ленни ему ничего не сделал.

Старик опасливо покосился на дверь, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто.

— Это хозяйский сын,— сказал он тихо.— Ловко дерется. Боксом занимался. Выступал в легком весе, лихо дрался.

— Ну и пусть,— сказал Джордж.— Нечего ему приставать к Ленни. Ленни ему ничего не сделал. Что он имеет против него?

Старик подумал немного.

— Ну... вот какое дело... Кудрявый, как и многие, которые маленького роста, терпеть не может здоровых парней. Так и лезет в драку. Видно, они его бесят, потому что сам он низкорослый. Ты, наверно, не раз видел таких. Все время задираются.

— Конечно,— сказал Джордж.— Я много перевидал такой мелюзги. Но этот Кудрявый пусть лучше не думает, что Ленни ему спустит. Ленни не очень-то ловкий, но этому сопляку крепко достанется, если он ввяжется в драку с Ленни.

— Ну, Кудрявый ужас какой ловкий,— с сомнением сказал старик.— Я всегда считал, что он не по справедливости поступает. Положим, Кудрявый пристанет к такому вот здоровяку и вздует его. Тогда всякий скажет: «Какой молодец этот Кудрявый». Ну, а положим, он пристанет и его самого вздуют. Тогда все скажут — вот связался черт с младенцем, и, может, даже всем скопом вздуют того, большого. Я всегда считал, что это не по справедливости. А только Кудрявый никому не дает спуска.

Джордж посмотрел на дверь и сказал с угрозой:

— Ну, пускай лучше держится от Ленни подальше. Ленни не драчун, но он сильный и не знает этих ихних правил.

Он подошел к столу и сел на один из ящиков. Собрал карты, стащив их.

Старик присел на другой ящик.

— Не говори Кудрявому, что я тебе про него рассказывал. А то он с меня шкуру спустит. Ему что! Его-то не выгонят, он хозяйский сынок.

Джордж снял карты и начал поднимать их, глядя на каждую и бросая ее в кучу.

— Сдается мне, что этот Кудрявый — порядочный сукин сын,— сказал он.— Не люблю такую вот злобную мелюзгу.

— Он еще хуже стал в последнее время,— сказал старик.— Женится недели две назад. Живет с женой в хозяйском доме. Кудрявый, с тех пор как женился, совсем осатанел.

— Может, перед женой храбрость свою показать хочет,— проворчал Джордж.

Старик обрадовался случаю посплетничать.

— Видел рукавицу у него на левой руке?

— Да. Видел.

— Так вот она вся пропитана вазелином.

— Вазелином? На кой черт?

— Вот дело какое... Кудрявый говорит, что эту руку он умягчает для жены.

Джордж внимательно рассматривал карты.

— И не стыдно ему про это трепаться!

Старик оживился. Он все-таки заставил Джорджа сказать плохое о хозяйском сыне. Теперь ему нечего было опасаться, и он разоткровенничался.

— Вот погоди, увидишь его жену.

Джордж снова снял карты и стал медленно, старательно раскладывать пасьянс.

— Хорошенькая? — спросил он небрежно.

— Да, хорошенькая. Но...

Джордж внимательно рассматривал карты.

— Что «но»?

— Глазки мужчинам строит.

— Да ну? Две недели как замуж вышла и уже глазки строит? Может, поэтому Кудрявый и осатанел?

— Я видел, как она строила глазки Рослому. Рослый — это старший погонщик. Славный малый. Ему не надо носить башмаки на высоких каблуках, чтоб его слушались. Так вот, я видел, как она строила ему глазки. А Кудрявый не видел. И Карлсону она тоже глазки строила.

Джордж притворился, будто ему это не интересно.

— Кажется, будет потеха.

Старик встал с ящика.

— Знаешь, что мне сдается? — Джордж не ответил. — Сдается мне, что Кудрявый женился на... шлюхе.

— Не он первый, не он последний, — сказал Джордж.

Старик пошел к двери. Его старая собака подняла голову и огляделась, потом с трудом встала на ноги, собираясь идти за ним.

— Надо налить воду в умывальник для ребят. Они скоро придут. Вы будете ссыпать ячмень?

— Да.

— Смотрите же, не говорите ничего Кудрявому.

— Конечно, не скажем.

— Так вот, ты приглядишься к ней. Сам увидишь, шлюха она или нет. Он вышел в дверь на яркий солнечный свет.

Джордж задумчиво раскладывал карты кучками по три. Потом прикрыл туза четверкой треф. Сноп солнечных лучей падал теперь на пол, и мухи пронеслись сквозь него, как искры. Снаружи послышалось позвякивание сбруи и кряхтение тяжело нагруженных повозок. Издали донесся звонкий крик:

— Конюх, эй, конюх! Куда запропастился этот черномазый?

Джордж посмотрел на свой пасьянс, потом смешал карты и повернулся к Ленни. Ленни лежал на койке, глядя на него.

— Послушай, Ленни! Неладно здесь. Я что-то боюсь. Из-за этого Кудрявого ты попадешь в беду. Видел я таких. Он вроде бы тебя прощупывал. Думаает, что ты испугался, и теперь при первом случае захочет избить.

В глазах у Ленни появился страх.

— Не хочу попасть в беду, — сказал он жалобно. — Не давай ему бить меня, Джордж.

Джордж встал, подошел к Ленни и сел на его койку.

— Терпеть не могу таких гадов, — сказал он. — Я их много перевидал. Как сказал этот старик, Кудрявый ничем не рискует. Он всегда в выигрыше. — Джордж подумал немного. — Если он к тебе приставать будет, Ленни, придется нам уйти отсюда. Это яснее ясного. Он — хозяйский сынок. Послушай, Ленни. Постарайся держаться от него подальше, ладно? Никогда с ним не разговаривай. Если он придет сюда, сразу уходи в другой конец комнаты. Ладно, Ленни?

— Не хочу попасть в беду,— скулил Ленни.— Я его не трогал.

— Ну, это тебе не поможет, если Кудрявый захочет показать свою храбрость. Просто не имей с ним никакого дела. Запомнишь?

— Конечно, Джордж. Я должен молчать.

Шум приближался, нарастал — стук копыт по твердой земле, скрип тормозов и позвякивание упряжки. Люди перекликались между собой. Джордж, сидя на койке возле Ленни, задумчиво хмурился. Ленни спросил робко:

— Ты не сердисься, Джордж?

— На тебя нет. Сержусь на этого подлеца Кудрявого. Я надеялся, что мы подзаработаем здесь хоть сотню долларов.— В голосе его звучала решимость.— Держись подальше от Кудрявого, Ленни.

— Конечно, Джордж. Я буду молчать.

— Не давай ему втравить себя в драку, но уж если этот сукин сын полезет к тебе, дай ему хорошенько.

— Что ему дать, Джордж?

— Ну ладно, неважно. Я тебе тогда скажу. Не переносу таких подлецов. Послушай, Ленни, если случится беда, помнишь, что я велел тебе сделать?

Ленни приподнялся на локте. Его лицо напряглось. Потом он печально посмотрел Джорджу в глаза.

— Если случится беда, ты не позволишь мне кормить кроликов.

— Да я не об этом. Помнишь, где мы сегодня ночевали? Возле реки?

— Да. Помню. Ну конечно, помню! Я должен побежать туда и спрятаться в кустах.

— И сидеть там, покуда я не приду за тобой. Только гляди, чтоб тебя никто не видел. Спрячься в кустах у реки. Повтори.

— Спрячусь в кустах у реки, в кустах у реки.

— Если случится беда.

— Если случится беда.

Снаружи завизжали тормоза. Раздался крик:

— Ко-о-нюх! Э-э-й, конюх!

Джордж сказал:

— Повторяй это иногда про себя, Ленни, чтоб не забыть.

Оба подняли головы, потому что прямоугольник света в дверях вдруг померк. Там стояла молодая женщина. У нее были полные, ярко накрашенные губы и большие сильно подведенные глаза. Ногти были ярко-красные. Волосы висели мелкими локонами, похожими на колбаски. На ней было бумажное домашнее платье и красные домашние туфли, из которых торчали пучки красных страусовых перьев.

— Я ищу Кудрявого,— сказала она.

Голос у нее был какой-то ломкий и звучал чуть в нос.

Джордж отвернулся, потом снова поглядел на нее.

— Он был здесь минуту назад, но куда-то ушел.

— А! — Она заложила руки за спину и прислонилась к дверному косяку, слегка пригнув голову.— Вы — новенькие. Только что пришли, да?

Ленни оглядел ее с головы до ног, и хотя она, казалось, не смотрела на него, но едва заметно приподняла голову. Потом поглядела на свои ногти.

— Кудрявый иногда заходит сюда,— объяснила она.

— Но сейчас его здесь нет,— сказал Джордж решительно.

— Если нет, поищу его где-нибудь еще,— сказала она игриво.

Ленни смотрел на нее как замороженный.

— Если я его увижу, то скажу, что вы его искали,— проговорил Джордж.

Она лукаво улыбнулась и качнулась вперед всем телом.

— Что ж мне его и поискать нельзя? — сказала она.

Позади нее раздался шаг. Она обернулась.

— А, Рослый, здравствуй, — сказала она.

За дверью послышался голос Рослого:

— Здравствуй, красотка.

— Я ищу Кудрявого.

— Ну, не очень-то ты стараешься его найти. Я видел, как он пошел домой.

Она вдруг забеспокоилась.

— Пока, ребята, — бросила она через плечо и поспешила прочь.

Джордж посмотрел на Ленни.

— Господи, ну и штучка, — сказал он. — Так вот какую жену выбрал себе Кудрявый.

— Она хорошенькая, — вступился за нее Ленни.

— Да, и, конечно, не прочь этим попользоваться. У Кудрявого еще будет довольно хлопот. Провалиться мне, если ее нельзя сманить за двадцать долларов.

Ленни все смотрел на дверь, возле которой она недавно стояла.

— Ей-богу, она хорошенькая.

Он восторженно улыбнулся.

Джордж быстро взглянул на него, потом сильно дернул его за ухо.

— Послушай-ка ты, дурак полоумный, — сказал он со злобой. — Не смей даже глядеть на эту суку. Что бы она ни сделала и что бы ни сказала! Я видел чертову пропасть этих дряней, но такой арестантской шкуры еще не видывал. Держись от нее подальше.

Ленни попытался освободить ухо.

— Я ничего не сделал, Джордж.

— Правильно, не сделал. Но когда она стояла у двери, выставив напоказ свои ноги, ты не отвернулся.

— Я ничего плохого не думал, Джордж. Честное слово, не думал.

— Так вот, держись от нее подальше, потому что из-за нее в два счета пропадешь, если я вообще что-нибудь смыслю. Пускай Кудрявый отдувается. Он сам впутался. Перчатка с вазелином! — сказал Джордж презрительно. — Я уверен, он еще сырые яйца глотает и выписывает по почте всякие патентованные снадобья.

— Мне здесь не нравится, Джордж! — воскликнул вдруг Ленни. — Это плохое место. Я хочу уйти отсюда.

— Ничего не поделаешь, Ленни. Надо подождать до полочки. Мы уйдем, как только можно будет. Мне самому здесь нравится не больше, чем тебе. — Он вернулся к столу и снова стал раскладывать пасьянс. — Нет, не нравится мне здесь, — сказал он. — Я убрался бы отсюда с удовольствием. Если мы скопим хоть немного денег, непременно уйдем, доберемся до верховий Миссисипи и будем там мыть золото. Может, будем тогда зарабатывать по несколько долларов в день и набьем себе карманы.

Ленни живо наклонился к нему.

— Уйдем, Джордж. Уйдем отсюда. Здесь плохо.

— Придется подождать, — сказал Джордж отрывисто. — А теперь помолчи. Сюда идут.

Из умывальной послышался плеск воды и звон тазов. Джордж разглядывал карты.

— Может, надо бы и нам умыться, — сказал он. — Но мы ведь не пачкались.

В дверях появился выский человек. Под мышкой он держал измятую шляпу, а свободной рукой расчесывал длинные черные мокрые волосы. Как и все, он носил синие джинсы и короткую бумажную

куртку. Причесавшись, он вошел в комнату с достоинством, с каким ходит только король или подлинный мастер своего дела. Это был старший погонщик, король ранчо, который мог управлять разом десятью, шестнадцатью, а то и двадцатью мулами. Он мог убить кнутом муху на крупе коренника, не причинив ему ни малейшей боли. Держался он так спокойно и величественно, что стоило ему заговорить, и все умолкали. Авторитет его был до того велик, что ему принадлежало решающее слово во всем, будь то политика или любовь. Это был Рослый, старший погонщик. Его длинного лица, казалось, не коснулись годы. Ему можно было дать и тридцать пять и пятьдесят. Он умел угадывать недосказанное, говорил медленно и веско, с глубоким пониманием дела. Руки его, длинные и тонкие, всегда двигались изящно, как у танцовщицы где-нибудь в языческом храме.

Он разгладил мятую шляпу, сложил ее и швырнул на стол. Потом дружелюбно посмотрел на двоих незнакомых людей.

— На дворе яркое солнце,— сказал он приветливо.— А здесь ни зги не видать. Вы — новенькие?

— Только что пришли,— ответил Джордж.

— Будете сыпать ячмень?

— Так велел хозяин.

Рослый сел на ящик напротив Джорджа. Он оглядел пасьянс, лежавший к нему вверх ногами.

— Надеюсь, вы будете работать со мной,— сказал он дружелюбным тоном.— А то у меня есть там несколько молокососов, которые не отличат мешка с ячменем от воздушного шара. Вы, ребята, когда-нибудь ссыпали ячмень?

— А как же,— сказал Джордж.— Мне-то, правда, хвастаться нечем, но вот этот малый может один сыпать больше зерна, чем иные — вдвоем.

Ленни, который слушал этот разговор и переводил взгляд с одного на другого, самодовольно улыбнулся, услышав эту похвалу. Рослый одобрительно посмотрел на Джорджа — ему эта похвала тоже понравилась. Потом он наклонился над столом и взял за уголок карту, лежавшую в стороне.

— Вы, ребята, всюду работаете вместе?

Тон его был все такой же дружеский. Он располагал к откровенности, хоть и не был назойлив.

— Ну да,— сказал Джордж.— Помогаем друг другу.— Он указал на Ленни пальцем.— Ленни не очень-то много соображает. Но работает здорово. Хороший малый, только не соображает. Я его давно знаю.

Рослый поглядел куда-то сквозь Джорджа.

— У нас люди редко друг друга держатся,— сказал он задумчиво.— Не знаю, почему. Может, в этом проклятом мире все боятся друг друга.

— Вдвоем куда лучше,— сказал Джордж.

В комнату вошел толстяк с большим животом. С головы его еще стекала вода после умывания.

— Привет, Рослый,— сказал он и замолчал, разглядывая Джорджа и Ленни.

— Эти ребята только что пришли,— сказал Рослый, тем самым как бы представив их.

— Рад познакомиться,— сказал вошедший.— Я — Карлсон.

— А я — Джордж Милтон. А это вот — Ленни Малыш.

— Рад познакомиться,— снова сказал Карлсон.— Не такой уж он малыш.— И он тихонько рассмеялся своей шутке.— Совсем не малыш,— повторил он.— Я у тебя вот что хотел спросить, Рослый. Как там твоя собака? Я видел ее нынче утром под повозкой.

— Она оценилась вчера ночью,— сказал Рослый.— Девять щенков. Четверых я сразу утопил. Ей столько же все равно не выкормить.

— Значит, пять осталось?

— Да, пять. Оставил самых больших.

— А как думаешь, хорошие из них вырастут собаки?

— Не знаю,— сказал Рослый.— Наверно, овчарки. Когда у нее была течка, тут вокруг все больше кобели из овчарок вертелись.

— Значит, у тебя пять щенков,— продолжал Карлсон.— Думаешь всех оставить себе?

— Не знаю. Подержу их пока у себя, пусть пососут Лулу.

— Послушай, Рослый,— задумчиво сказал Карлсон.— Я вот что думаю. Собака Кэнди совсем старая, еле лапы волочит. Да и воняет от нее черт знает как. Зайдет она сюда,— потом два, а то и три дня псиной воняет. Давай заставим Кэнди ее пристрелить и дадим ему щенка, пускай растет. Эту собаку я за милую душу. Зубов нет, почти слепая, жрать и то не может. Кэнди ее молоком кормит. Ничего потверже ей не сжевать.

Джордж не сводил глаз с Рослого. На дворе начали бить в железный треугольник, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока удары не слились в сплошной звон. Звон прекратился так же внезапно, как и начался.

— Ну вот,— сказал Карлсон.

Снаружи раздались громкие голоса, и мимо прошла группа мужчин. Рослый встал медленно, с достоинством.

— Пошли, ребята, тут зевать не приходится. Через две минуты не останется ни крошки.

Карлсон посторонился, пропуская Рослого вперед, и оба вышли на двор.

Ленни взволнованно смотрел на Джорджа. Джордж смешал карты в кучу.

— Да,— сказал Джордж.— Я слышал, Ленни. Я его попрошу.

— Белого с коричневыми пятнами! — воскликнул Ленни.

— Пошли пообедаем. Не знаю, есть ли у него белый с коричневыми пятнами.

Ленни не двигался на своей койке.

— Попроси его сейчас, Джордж, а то он и этих утопит.

— Конечно. А теперь пойдем, вставай скорей.

Ленни прыгнул с койки, и оба пошли к двери. Когда они подошли к ней, в барак ворвался Кудрявый.

— Вы не видели здесь женщину? — спросил он резко.

— Заходила с полчаса назад,— ответил Джордж.

— Какого дьявола ей здесь было надо?

Джордж стоял, спокойно глядя на разъяренного человечка. Он сказал вызывающе:

— Говорила, что вас ищет.

Кудрявый словно увидел Джорджа впервые. Он сверкнул глазами, смерил его взглядом, прикинул расстояние, оглядел его стройную фигуру.

— Ну и куда она пошла? — спросил он наконец.

— Не знаю,— сказал Джордж.— Я ей вслед не глядел.

Кудрявый сердито посмотрел на него, повернулся и быстро пошел к двери.

— Знаешь, Ленни,— сказал Джордж.— Боюсь, что мне придется самому свести счеты с этим гадом. Мне не нравится его нахальство. Господи боже! Ну пойдем. А то нам ничего не достанется.

Они вышли на двор. Узкая полоска земли под окном была освещена солнцем. Издали доносился звон тарелок.

Вскоре старая собака, прихрамывая, вошла в открытую дверь. Она поглядела вокруг своими добрыми подслеповатыми глазами. Потом понохала воздух, легла и положила голову на лапы.

Кудрявый вернулся и теперь стоял, заглядывая в дверь. Собака встрепнулась, но как только Кудрявый ушел, ее седая голова снова опустилась на лапы.

III

Хотя за окнами барака еще не начинало смеркаться, внутри было темно. Через открытую дверь слышался топот, одобрителные или насмешливые возгласы и звон — там играли в подкову.

Рослый и Джордж вместе вошли в темный барак. Рослый протянул руку над столом, где валялись карты, и зажег электрическую лампочку под жестяным абажуром. Стол залил яркий свет, отвесно отбрасываемый вниз конусом абажура, а по углам барака по-прежнему было темно. Рослый уселся на ящик. Джордж сел напротив него.

— Это неважно, — сказал Рослый. — Все равно мне пришлось бы почти всех утопить. Не за что и благодарить.

— Может, для тебя это и неважно, — сказал Джордж, — а для него это много значит. Ей-богу, не знаю, как и загнать его сюда на ночь. Он захочет спать со щенками в конюшне. Так и норовит залезть прямо к ним в ящик.

— Неважно, — повторил Рослый. — Ты про него верно сказал. Может, он и не очень соображает, но работников таких я еще не видал. Он чуть не до смерти замучил своего напарника, когда ссыпал зерно. Никто не может за ним поспеть. Господи, первый раз вижу такого силача.

— Ленни только скажи, что делать, — ответил Джордж гордо, — и он все сделает, если только соображать не надо. Сам он не соображает, что делать, но прекрасно исполняет, что ему велено.

Со двора послышался звон подковы о железную стойку и негромкие одобрителные возгласы.

Рослый чуть отодвинулся от стола, чтобы свет не бил ему в глаза.

— Забавно, что вы с ним всегда вместе.

Этими словами Рослый как бы вызывал Джорджа на откровенность.

— Что ж тут забавного? — спросил Джордж вызывающе.

— Сам не знаю. Люди редко живут так. Я почти не видел, чтоб двое вместе жили. Сам знаешь, как делают работники на ранчо, — приходят, занимают койку, работают месяц, а потом берут расчет и уходят поодиночке. Им наплевать на других. Потому и забавно, что идиота вроде него и такого умного малого, как ты, водой не разольешь.

— Он не идиот, — сказал Джордж. — Он бессловесный, но не сумасшедший. Да и я не больно умен, не то я не гнул бы здесь спину за несчастные полсотни долларов. Будь я умен или хоть малость сообразителен, у меня было бы свое маленькое хозяйство, и я выращивал бы собственный урожай, заместо того чтобы работать на других.

Джордж неохотно замолчал. Он разговорился, ему хотелось говорить еще, а Рослый не поощрял и в то же время не останавливал его. Он просто сидел молча, готовый слушать.

— Это вовсе не забавно, что мы с ним всегда вместе, — сказал, наконец, Джордж. — Мы оба родом из Оберна. Я знал его тетку Клару. Она взяла Ленни к себе ребенком и вырастила его. А когда тетка померла, Ленни стал работать со мной. И мы вроде привыкли друг к другу.

— Гм, — хмыкнул Рослый.

Джордж поглядел на Рослого и встретился с его спокойным независимым взглядом.

— Забавно! — сказал Джордж. — Я над ним немало позабавился. Разыгрывал с ним всякие шутки, он ведь такой безответный, что не может постоять за себя. Он даже не понимал, что над ним смеются. Вот я и забавлялся. Ведь рядом с ним я выглядел бог весть каким умником. А он все сделает, что я ему ни велю. Если я велю ему залезть на вершину горы, он полезет. Но потом все это стало не так уж забавно. Он никогда не сердился. Я лупил его почем зря, а ведь он мог переломать мне все кости одной рукой, но никогда пальцем меня не тронул. — Тон Джорджа стал доверительным. — Я тебе скажу, почему я перестал над ним насмехаться. Однажды на берегу реки Сакраменто стояла толпа. Я разыгрывал из себя умника. Повернулся к Ленни и говорю: «Прыгай в воду». И он прыгнул. А плавает он как топор. Чуть не утонул, покуда мы его вытащили. И был так благодарен нам. Со всем позабыл, что я же и велел ему прыгнуть в воду. Ну, больше я такого не делал.

— Он хороший малый, — сказал Рослый. — Для этого ума не надо. Мне иногда кажется даже, что чаще бывает наоборот. Взять по-настоящему умного человека — такой редко окажется хорошим.

Джордж собрал разбросанные карты и принялся раскладывать пасьянс. Снаружи послышался звук шагов. В квадратах окон все еще серели вечерние сумерки.

— У меня ни роду ни племени, — сказал Джордж. — Я много видел людей, которые ходят с ранчо на ранчо в одиночку. Что ж тут хорошего? Тоска смертная. Тут и озлобиться недолго. Глотку друг другу готовы перегрызть.

— Да, они озлобляются, — согласился Рослый. — И ни с кем разговаривать не хотят.

— Конечно, с Ленни хлопот не оберешься, — сказал Джордж. — Но что делать, привыкаешь к человеку и уже не можешь с ним расстаться.

— Он не злой, — сказал Рослый. — Я же вижу, совсем не злой.

— Конечно, не злой, но он все время попадает в беду, потому что он бессловесный. Вот, скажем, в Уиде... — Джордж вдруг замолчал и не двигался с картой в руке. Он пристально смотрел на Рослого. — Ты никому не скажешь?

— А что он натворил в Уиде? — спокойно спросил Рослый.

— Но ты не скажешь?.. Нет, конечно, не скажешь.

— Что он натворил в Уиде? — снова спросил Рослый.

— Ну, увидел он девчонку в красном платье. Бессловесный дурак, — он хочет потрогать все, что ему нравится. Просто потрогать, и все. Вот он и протянул руку, чтобы потрогать это красное платье, девчонка давай визжать, а Ленни испугался и держит ее, не знает, что делать. Девчонка все визжит. Я был неподалеку, услышал крики и прибежал. Ленни уже совсем растерялся и все держит ее. Я выдернул из загородки жердину и огрел его по башке — только тогда он ее отпустил. Он был до того напуган, что просто не мог выпустить платье. А ведь он чертовски силен, сам знаешь.

Рослый спокойно, не мигая, смотрел на Джорджа. Он медленно кивнул.

— И что же дальше?

Джордж аккуратно уложил карты в ряд.

— Ну, эта девчонка побежала к судье и кричит, что ее изнасиловали. Мужчины в Уиде собрались, чтобы изловить и линчевать Ленни. Пришлось нам отсиживаться в оросительной канаве до самого вечера. Только головы высунули из воды среди камыша, что рос на краю канавы. А ночью — давай бог ноги.

Рослый помолчал немного.

— А он этой девчонке ничего не сделал? — спросил он наконец.

— Да нет же. Просто напугал ее, и все. Я и сам напугался бы, если б он вдруг сгреб меня. Но он ей ничего не сделал. Только хотел потрогать ее красное платье, как вот теперь все время хочет гладить щенков.

— Он не злой, — сказал Рослый. — Я злых за милую чую.

— Конечно, не злой. И сделает все, что я ему...

Тут вошел Ленни. Его синяя куртка была накинута на плечи, и он шел, наклонившись вперед.

— Ну как, Ленни, — сказал Джордж. — Нравится тебе щенок?

Ленни ответил, с трудом переводя дух:

— Он белый с коричневыми пятнами, как раз такого я и хотел.

Он пошел прямо к своей койке, лег, отвернулся к стене и подобрал колени.

Джордж аккуратно положил карты на стол.

— Ленни, — сказал он сурово.

Ленни повернул голову и поглядел на него через плечо.

— А? Чего тебе, Джордж?

— Я тебе сказал, чтоб ты не смел приносить щенка сюда.

— Какого щенка, Джордж? У меня нет никакого щенка.

Джордж быстро подошел к нему, взял его за плечо и заставил повернуться. Он протянул руку и вытащил крошечного щенка, которого Ленни прятал около себя.

Ленни быстро сел.

— Отдай мне его, Джордж.

— Ступай назад и положи щенка в ящик, — сказал Джордж. — Он должен спать с матерью. Ты что, погубить его хочешь? Он только вчера родился, а ты вынул его из ящика. Сейчас же отнеси его назад, а не то я скажу Рослому, чтоб он у тебя его забрал.

Ленни умоляюще протянул руки к Джорджу.

— Дай мне его, Джордж. Я отнесу его назад. Я не хотел сделать плохо, Джордж. Честное слово, не хотел. Я только хотел его немножко погладить.

Джордж отдал ему щенка.

— Ладно. Живо тащи его в конюшню и больше не выноси оттуда. А то ты в два счета его задушишь.

Ленни поспешно вышел.

Рослый не двигался с места. Он посмотрел Ленни вслед.

— О господи! — сказал он. — Настоящий ребенок, правда?

— Ну конечно, ребенок. И такой же безобидный, только силен не знаю как. Я уверен, что он теперь не придет ночевать. Будет спать в конюшне около этого ящика. Ну да ладно, пускай. Там он никому не помешает.

На дворе почти стемнело. Вошел старый Кэнди и направился к своей койке, а следом за ним плелась его старая собака.

— Привет, Рослый. Привет, Джордж. Вы что, не играли в подкову?

— Надоело — каждый вечер играем, — сказал Рослый.

— Ни у кого не найдется глотка виски, ребята? — спросил Кэнди. — У меня что-то живот разболелся.

— У меня нет, — сказал Рослый. — А то б я сам выпил, хоть у меня живот и не болит.

— До того разболелся, мочи нет, — пожаловался Кэнди. — А все это проклятая репа. Я знал, что так будет, прежде чем взял ее в рот.

Со двора, где сгушалась темнота, вошел толстяк Карлсон. Он прошел в дальний конец комнаты и зажег вторую лампочку под жестяным абажуром.

— Темно, как в преисподней,— сказал он.— Господи, до чего этот черномазый ловко играет.

— Да, играет хорошо.

— Еще бы,— сказал Карлсон.— Никому другому выиграть не дает...— Он замолчал, понюхал воздух и, все еще принюхиваясь, поглядел на старую собаку.— А черт, как от нее воняет. Выгони ее отсюда, Кэнди! Хуже нет, когда псиной разит. Гони ее, говорю тебе.

Кэнди пододвинулся к краю койки. Он протянул руку, потрепал старую собаку по голове и сказал виновато:

— Она у меня давно, и совсем я не замечал, чтоб от нее воняло.

— Вот что, я ее здесь терпеть не стану,— сказал Карлсон.— Эта вонь остается надолго.— Он тяжелыми шагами подошел к собаке и поглядел на нее.— Зубов нет,— сказал он,— лапы от ревматизма не гнутся. Зачем она тебе, Кэнди? Ведь она самой себе в тягость. Почему ты ее не пристрелишь?

Старик беспокойно заерзал на койке.

— Ну уж нет! Она у меня давно. Я взял ее еще щенком. Она помогала мне пасти овец,— сказал он с гордостью.— Теперь на нее поглядеть, не поверишь, но это была лучшая овчарка во всей округе.

— Я знавал одного человека в Уиде,— сказал Джордж.— У него был эрдель-терьер, который пас овец. Научился у других собак.

Но от Карлсона нелегко было отделаться.

— Послушай, Кэнди. Эта старая собака только зря мучается. Выведи ее на двор и выстрели ей в голову,— он наклонился и показал куда,— вот сюда, она даже не узнает, что произошло.

Кэнди печально посмотрел на него.

— Нет,— сказал он тихо.— Я не могу. Она у меня так давно.

— Ей самой свет не мил,— настаивал Карлсон.— И воняет от нее черт знает как. Ну вот что. Если хочешь, я сам ее пристрелю. Избавлю тебя от этого.

Кэнди спустил ноги с койки. Он нервно поскреб седую щетинистую щеку.

— Я так к ней привык,— сказал он тихо.— Взял ее еще щенком.

— Но ведь это жестоко — смотреть, как она мучается,— сказал Карлсон.— Послушай, у Рослого как раз сука оценилась. Я уверен, что он даст тебе одного щенка. Правда, Рослый?

Погонщик спокойно рассматривал старую собаку.

— Да,— сказал он.— Если хочешь, можешь взять щенка.— Он ожилился: — Карлсон прав, Кэнди. Эта собака сама себе в тягость. Если я стану таким вот дряхлым калекой, лучше пусть меня кто-нибудь пристрелит.

Кэнди беспомощно посмотрел на него, потому что слово Рослого — закон на ранчо.

— Но ведь ей будет больно,— сказал он неуверенно.— А я не прочь о ней заботиться.

— Я ее пристрелю так, что она ничего и не почувствует. Прицельсь вот сюда,— сказал Карлсон. Он указал ногой.— Прямо в голову. Она и не пошевелится.

Кэнди переводил взгляд с одного лица на другое — искал поддержки. На дворе уже совсем стемнело. Вошел молодой работник. Его плечи были сгорблены, и он шагал тяжело, словно нес невидимый мешок с зерном. Он подошел к своей койке и положил шляпу на полку. Потом взял с полки измятый журнал и положил его на стол под лампочку.

— Я не показывал тебе, Рослый? — спросил он.

— Что такое?

Вошедший перелистал журнал и ткнул пальцем:

— Читай вот здесь.— Рослый склонился над журналом.— Читай вслух.

— «Уважаемый редактор,— медленно начал Рослый,— я читаю ваш журнал уже шесть лет и считаю, что он самый лучший. Мне нравятся рассказы Питера Рэнда. По-моему, он ловко заливает. Печатайте побольше таких вещей, как «Черный всадник». Я не умею писать письма. Просто я решил сказать, что за ваш журнал не жалко отдать пять центов».

Рослый удивленно поднял голову.

— Для чего это было читать?

— Дальше,— сказал Уит.— Прочти подпись внизу.

Рослый прочел:

— «Желаю успеха, Уильям Теннер».

Он снова взглянул на Уита.

— Так для чего ж это было читать?

Уит с важным видом закрыл журнал.

— Разве ты не помнишь Билла Теннера? Он работал здесь месяца три назад.

Рослый задумался.

— Такой маленький? — спросил он.— Работал на культиваторе?

— Ну да! — воскликнул Уит.— Он самый!

— Так ты думаешь, это он написал?

— Я знаю точно. Однажды мы с Биллом сидели здесь, в этой комнате. У Билла был свежий номер журнала. Сидит он, читает и, не поднимая головы, говорит: «Я написал письмо в редакцию, интересно, поместили его или нет?» Но письма там не было. Билл и говорит: «Может, они его потом поместят». Так и вышло. Вот оно.

— Верно,— сказал Рослый.— Вот оно, в журнале.

Джордж протянул руку.

— Можно поглядеть?

Уит снова отыскивал нужную страницу, но не отдал журнала. Он указал на письмо пальцем. Потом пошел к своей полке и бережно положил на нее журнал.

— Интересно, видел ли это Билл? — сказал он.— Мы с ним работали на гороховом поле. На культиваторах оба. Билл чертовски славный малый.

Карлсон не принимал участия в разговоре. Он все глядел на старую собаку. Кэнди с беспокойством следил за ним. Наконец, Карлсон сказал:

— Если хочешь, я избавлю ее от страданий сейчас же, и дело с концом. Ничего другого не остается. Жрать она не может, ничего не видит, даже ходить ей больно.

— Но ведь у тебя нет револьвера,— сказал Кэнди с надеждой.

— Как бы не так. Есть, системы Люгера. Ей будет ни чуточки не больно.

— Может, лучше завтра... Подождем до завтра,— сказал Кэнди.

— А чего ради ждать? — сказал Карлсон. Он подошел к своей койке, вытащил из-под нее мешок и достал оттуда револьвер.

— Надо покончить с этим,— сказал он.— От нее так воняет, спать невозможно.

Он сунул револьвер в боковой карман.

Кэнди бросил на Рослого долгий взгляд, надеясь, что тот вмешается. Но Рослый молчал. Тогда Кэнди сказал тихо и безнадежно:

— Ну ладно, веди ее.

Он даже не взглянул на собаку. Снова улегся на койке, заложил руки за голову и стал глядеть в потолок.

Карлсон вынул из кармана короткий кожаный ремешок. Он на-

гнулся и надел ремешок на шею собаке. Все, кроме Кэнди, следили за ним.

— Пошли, милая. Пошли,— сказал он ласково. А потом как бы извиняясь, обратился к Кэнди: — Она ничего и не почувствует.

Кэнди не ответил и даже не пошевелился. Карлсон дернул за ремень.

— Пошли, милая.

Старая собака с трудом встала и пошла за Карлсоном.

— Карлсон,— сказал Рослый.

— А?

— Ты знаешь, что нужно сделать.

— О чем это ты?

— Возьми лопату,— коротко сказал Рослый.

— Да, конечно. Я понял.

И он вывел собаку в темноту.

Джордж подошел к двери, закрыл ее и осторожно опустил щеколду. Кэнди неподвижно лежал на койке, глядя в потолок.

Рослый сказал громко:

— У одного мула копыто треснуло. Надо бы замазать смолой.

Он замолчал. Снаружи было тихо. Шаги Карлсона смолкли. В комнате тоже стало тихо. Тишина затягивалась.

Джордж засмеялся.

— А ведь Ленни сейчас в конюшне со своим щенком. Он теперь сюда и войти не захочет, раз у него щенок есть.

— Кэнди,— сказал Рослый.— Ты можешь взять щенка какого захочешь.

Кэнди не ответил. В комнате снова наступила тишина. Она словно выползла из ночной тьмы и заполонила комнату.

Джордж сказал:

— Никто не хочет перекинуться в картишки?

— Я бы, пожалуй, сыграл,— сказал Уит.

Они сели друг против друга за стол, под лампочку, но Джордж не стасовал карты. Он нервно застучал пальцами по краю стола, и этот негромкий стук заставил всех обернуться. Джордж перестал стучать. Снова стало тихо. Прошла минута, потом другая. Кэнди лежал неподвижно, глядя в потолок. Рослый посмотрел на него, потом опустил глаза и уставился на свои руки; одной ладонью он прикрыл другую. Из-под пола раздался негромкий скребущий звук, и все сразу повернулись туда. Только Кэнди по-прежнему смотрел в потолок.

— Похоже, там крыса,— сказал Джордж.— Надо поставить крысоловку.

Уит, наконец, не выдержал:

— И чего он там возится? Ну, сдавай же карты! Этак мы ни одного кона не сыграем.

Джордж собрал карты и стал рассматривать их рубашки. Снова стало тихо.

Вдали раздался выстрел. Все быстро взглянули на старика. Головы разом повернулись в его сторону.

Еще мгновение он продолжал смотреть в потолок. Потом, не сказав ни слова, медленно повернулся лицом к стене.

Джордж с шумом стасовал карты и сдал их. Уит пододвинул к нему грифельную доску для записи очков и фишки. Он сказал:

— Кажется, вы, ребята, и в самом деле пришли сюда работать?

— Как так? — спросил Джордж.

Уит засмеялся.

— Ну, вы ведь пришли в пятницу. Два дня придется работать до воскресенья.

— Не понимаю,— сказал Джордж.

Уит снова засмеялся.

— Должен понять, если много бывал на больших ранчо. Кто хочет приглядеться, приходит в субботу под вечер. Он ужинает, и в воскресенье еще три раза поест, а в понедельник утром он может позавтракать и уйти, пальцем о палец не ударив. Но вы пришли в полдень в пятницу. Как ни клади, а выходит полтора дня.

Джордж спокойно посмотрел на него.

— Мы хотим здесь остаться на время,— сказал он.— Нам с Ленни надо подработать.

Дверь тихо отворилась, и конюх просунул в нее голову. Это была черная изможденная голова с печальным лицом и покорными глазами.

— Мистер Рослый...

Рослый отвел глаза от старого Кэнди.

— А? Это ты, горбун? Тебе чего?

— Вы мне велели растопить смолу, чтоб замазать копыто у мула. Так я ее растопил.

— Да, конечно, Горбун. Я сейчас приду и все сделаю.

— Если хотите, я сделаю.

— Нет, я сам.

Он встал.

— И еще одно,— сказал Горбун.

— Да?

— Этот верзила, новичок, возится в конюшне с вашими щенками.

— Не беда, он им ничего не сделает. Я ему подарил одного.

— Я решил сказать вам про это,— продолжал Горбун.— Он их вынимает из ящика и держит в руках. Это им не на пользу.

— Ничего он им не сделает,— сказал Рослый.— Ну, пошли.

Джордж поднял голову.

— Если этот болван там мешает, вышвырни его вон, Рослый, вот и все.

Рослый вслед за конюхом вышел из барака.

Джордж сдал, Уит взял свои карты и посмотрел в них.

— Видел новую крошку? — спросил он.

— Какую крошку? — сказал Джордж.

— Ну, новую жену Кудрявого.

— Да, видел.

— Ну что, разве она не красавица?

— Я не разглядел,— сказал Джордж.

Уит с таинственным видом положил карты.

— Так вот, не зевай и гляди в оба. Тогда много кой-чего разглядишь. Она ничего не скрывает. Я такой еще никогда не видел. Всем глазки строит. Ей-богу, даже конюху небось проходу не дает. И какого дьявола ей надо?

— Были какие-нибудь неприятности с тех пор как она здесь? — спросил Джордж как бы невзначай.

Было ясно, что Уита карты не интересуют. Он опустил руку, и Джордж, взяв у него карты, стал раскладывать свой обычный пасьянс — семь карт и шесть сверху, а поверх — еще пять.

Уит сказал:

— Понятно, о чем ты спрашиваешь. Нет, еще ничего не было. Кудрявый бесится, и покамест это все. Едва ребята вернутся с работы, она тут как тут. Ищет, мол, мужа или забыла здесь что-то. Похоже, ее тянет к мужчинам. А Кудрявый так и кипит, но сдерживается.

— Она еще заварит кашу,— сказал Джордж.— Из-за нее быть большой заварухе. В два счета можно угодить за решетку. У Кудрявого

здесь довольно помощников. Ранчо, где полно мужиков, не место для молодой женщины, особенно такой, как она.

— Если хочешь,— сказал Уит,— поедem завтра вечером с нами в город.

— А зачем? Что там делать?

— Как обычно. Пойдем к старухе Сюзи. Веселое местечко. Старуха Сюзи такая потешная — всегда отмочит какую-нибудь шутку. Вот, скажем, в прошлую субботу пришли мы на парадное крыльцо. Сюзи отворяет дверь и кричит: «Девочки, скорей одевайтесь, шериф приехал!» Но ни одного скверного слова, ни-ни. У нее там пять девочек.

— А во сколько это обходится? — спросил Джордж.

— Два с половиной доллара. А порция виски — двадцать центов. У Сюзи есть удобные кресла, можно посидеть, отдохнуть. Если не хочешь ничего другого, можешь просто посидеть в кресле, выпить рюмки две-три и приятно провести время. Сюзи никогда не против. Она не шпыняет гостей и не выставляет за дверь, если они не хотят девушки.

— Надо будет сходить с вами поглядеть,— сказал Джордж.

— Конечно, пойдem. Можно прекрасно развлечься — одни шуточки ее чего стоят. Как это она сказала один раз: «Я, говорит, знаю людей, которые положили тряпичный ковер на пол да лампу с абажуром поставили возле граммофона и думают, что у них настоящий салон». Это она про Клару. А еще она говорит: «Я знаю, чего вам, ребята, нужно,— говорит.— Мои девочки чистые,— говорит,— и в виски я не добавляю воды. А ежели кто из вас желает поглядеть на лампу с абажуром и обжечься, вы дорогу знаете». И еще она говорит: «Некоторые стали кривоногими, потому что любят глядеть на лампу с абажуром».

— У Клары, значит, другой такой же дом, так что ли? — спросил Джордж.

— Да,— сказал Уит.— Но мы туда не ходим. Клара берет три доллара за девочку и тридцать пять центов за виски. А шутить так здорово она не умеет. А у Сюзи чисто и удобные кресла, и она не пускает к себе всяких проходимцев.

— Нам с Ленни нужно скопить денег,— сказал Джордж.— Я мог бы пойти с вами, посидеть там и выпить, но отдать два с половиной доллара не могу.

— Ну, надо же человеку иногда развлечься,— сказал Уит.

Дверь открылась, и вошли вместе Ленни с Карлсоном. Ленни прокрался к своей койке и сел, стараясь не привлекать к себе внимания. Карлсон полез под свою койку и вытащил оттуда мешок. Он не смотрел на старого Кэнди, который все еще лежал, повернувшись к стене. Карлсон нашарил в мешке шомпол и баночку с ружейным маслом. Он положил их на койку, взял револьвер, вынул магазин и патрон из ствола. Потом стал чистить ствол шомполом. Когда щелкнул затвор, Кэнди повернулся и посмотрел на револьвер, потом снова отвернулся к стене.

— Кудрявый сюда не заходил? — спросил Карлсон как бы невзначай.

— Нет,— ответил Уит.— А что такое?

Карлсон посмотрел револьверный ствол на свет.

— Ищет свою красотку. Я видел, как он рыскал вокруг барака.

— Он всегда полдня ее ищет,— сказал Уит с насмешкой.— А вторые полдня она ищет его.

В этот миг в комнату ворвался Кудрявый.

— Никто не видел мою жену? — спросил он.

— Она сюда не заходила,— сказал Уит.

Кудрявый грозно оглядел комнату.

— А где Рослый?

— Пошел на конюшню,— сказал Джордж,— замазать смолой копыто мулу.

Кудрявый сразу весь съежился.

— Давно он ушел?

— Минут десять.

Кудрявый выскочил за дверь и побежал к конюшне.

Уит встал.

— Пойти, что ли, поглядеть,— сказал он.— Кудрявый нарывается на драку, а то бы он не побежал туда. А ведь он ловкий как черт. Выступал в финале за «Золотую перчатку». У него есть вырезки из газет.— Уит подумал немного.— Но все равно, лучше ему оставить Рослого в покое. От Рослого всего можно ждать.

— Он думает, что Рослый сейчас с его женой, так, что ли? — сказал Джордж.

— Похоже на то,— сказал Уит.— Но это, конечно, ерунда. Меньше всего я думаю, что Рослый станет с ней путаться. Но я хочу поглядеть на драку, ежели до нее дойдет. Пошли вместе.

— Нет уж, я останусь,— сказал Джордж.— Не хочу ни во что впутываться. Нам с Ленни надо скопить денег.

Карлсон вычистил револьвер, положил его в мешок и засунул мешок под койку.

— Пожалуй, пойду и я погляжу,— сказал он.

Старый Кэнди лежал не шевелясь, а Ленни с опаской поглядывал на Джорджа со своей койки.

Когда Уит и Карлсон ушли и дверь за ними закрылась, Джордж повернулся к Ленни.

— Ты что от меня скрываешь?

— Я ничего не сделал, Джордж. Рослый сказал, что лучше не гладить щенков так много сразу. Рослый сказал, им это вредно. Вот я и ушел сюда. Я хорошо себя вел, Джордж?

— Что ж, пожалуй,— сказал Джордж.

— Я не делал им больно. Я только посадил своего щенка на колени и гладил его.

— А ты видел Рослого в конюшне? — спросил Джордж.

— Конечно, видел. Он сказал мне, чтоб я лучше не гладил больше щенка.

— А женщину ты видел?

— Жену Кудрявого?

— Да. Она приходила в конюшню?

— Нет. Я ее не видел.

— И не видел, чтоб Рослый с ней разговаривал?

— Ну да. Ее там не было.

— Ладно,— сказал Джордж.— Я думаю, ребята не допустят до драки. А если будет драка, Ленни, ты держись в стороне.

— Я не хочу драться,— сказал Ленни.

Он встал с койки и сел к столу напротив Джорджа. Джордж по привычке стасовал карты и стал раскладывать пасьянс. Он делал это старательно, задумчиво, не спеша.

Ленни взял карту с картинкой и стал ее рассматривать, потом перевернул и снова стал рассматривать.

— Так и так одинаково,— сказал он.— Джордж, почему одинаково?

— Не знаю,— сказал Джордж.— Так их рисуют. А что Рослый делал в конюшне?

— Рослый?

— Ну да. Ты ведь видел его в конюшне, и он не велел тебе больше гладить щенков.

— А-а. Он принес банку со смолой и кисть. Не знаю зачем.

— И ты уверен, что эта женщина не приходила в конюшню, как, например, сегодня сюда?

— Не приходила.

Джордж вздохнул.

— Нет, уж лучше — веселый дом, — сказал он. — Туда можно пойти, выпить, получить все что требуется без всякого шума. И заранее известно, во сколько это влетит. А такие арестантские шкуры до добра не доведут.

Ленни внимательно слушал его и тихонько шевелил губами, повторяя каждое слово. Джордж продолжал:

— Помнишь Энди Кашмена, Ленни? Он учился в нашей школе.

— А его мать еще пекла для детей горячие пирожки? — спросил Ленни.

— Ну да. Он самый. Ты всегда запоминаешь, если речь об еде. — Джордж внимательно поглядел на карты. Он положил на грифельную доску туза, а сверху — двойку, тройку и четверку бубен. — Энди сейчас в Сан — Квентинской тюрьме, а все из-за бабы, — сказал он.

Ленни забарабанил пальцами по столу.

— Джордж.

— А?

— Джордж, скоро у нас будет маленькое ранчо, и мы будем сами себе хозяева... и заведем кроликов?

— Не знаю, — сказал Джордж. — Надо скопить много денег. Я знаю ранчо, которое можно купить задешево, но даром ведь его не отдадут.

Старик Кэнди медленно повернулся на койке. Глаза его были широко раскрыты. Он пристально посмотрел на Джорджа.

Ленни попросил:

— Расскажи про это ранчо, Джордж.

— Да ведь я тебе только вчера рассказывал.

— Ну расскажи... расскажи еще, Джордж.

— Так вот, там десять акров земли, — сказал Джордж. — Есть маленькая ветряная мельница. Маленький домик и курятник. А еще кухня, садик, а в нем — вишни, яблони, персики, орехи, всякая ягода. Есть место, где посеять люцерну, и много воды для полива. Есть свинарник...

— И кролики, Джордж.

— Крольчатника пока нет, но нетрудно сколотить несколько клеток, а кормить их можешь люцерной.

— Могу, конечно, могу! — подхватил Ленни. — Ей-богу, могу!

Джордж перестал раскладывать карты. Голос его постепенно теплел.

— И мы можем завести свиней. Я построю копильню, вроде той, какая была у моего деда, и мы, как заколем свинью, станем коптить сало и окорока, делать ветчину. А когда по реке поднимется лосось, мы будем ловить их сотнями и засаливать или коптить. Будем есть их на завтрак. Нет ничего вкуснее копченой лосося. Когда будут поспевать фрукты, мы станем их консервировать, и помидоры тоже, это очень легко. На воскресенье зарежем курочку или кролика. Может, заведем корову или козу, и у нас будут такие густые сливки, что их придется резать ножом и есть ложкой.

Ленни глядел на Джорджа, широко раскрыв глаза, и старый Кэнди тоже глядел на него. Потом Ленни сказал тихо:

— Мы будем сами себе хозяева.

— Конечно, — сказал Джордж. — У нас будут на огороде всякие овощи, а если захотим выпить виски, продадим десяток-другой яиц, или немного молока, или еще что-нибудь. Будем себе жить там, на своем ранчо. Не придется нам больше мыкаться и жрать стряпню какого-

нибудь япощки. Врешь, брат, у нас свой дом есть, нам незачем спать в бараке.

— Расскажи про дом, Джордж,— попросил Ленни.

— Ну, конечно же, у нас будет свой домик, и в нем удобная спальня. Пузатая железная печурка, зимой в ней всегда будет гореть огонь. Участок земли на ранчо небольшой, так что работать много не придется. Может, часов шесть-семь в день. Не нужно будет по одиннадцати часам сыпать ячмень. Когда поспеет урожай, мы его снимем. И всегда будем знать, ради чего работали.

— И кролики,— сказал Ленни нетерпеливо.— Я буду их кормить. Расскажи про это, Джордж.

— Очень просто,— пойдешь с мешком, накосишь люцерны. Набьешь мешок, принесешь люцерну и положишь кроликам в клетки.

— А они будут ее грызть! — сказал Ленни.— Я видел, как кролики грызут.

— Каждые полтора месяца,— продолжал Джордж,— они будут приносить приплод, так что нам хватит кроликов и для еды и на продажу. А еще заведем голубей, они будут летать вокруг мельницы, как у нас когда-то, когда я был ребенком.— Он мечтательно поглядел на стену через голову Ленни.— И все это будет наше, никто нас не сможет выгнать. А ежели нам самим кто не понравится, мы скажем: «Скатертью дорога» — и, ей-богу, ему придется убраться. А ежели придет друг, что ж, у нас всегда будет свободная койка, и мы скажем ему: «Отчего бы тебе не остаться переночевать?» — и, ей-богу, он останется. У нас будет сеттер и две полосатых кошки, но надо будет следить, чтоб они не таскали крольчат.

Ленни засопел.

— Пусть только попробуют тронуть. Я им все кости переломаю... я... я их палкой.

И он забормотал что-то себе под нос, угрожая несуществующим кошкам, если они посмеют тронуть несуществующих кроликов.

Джордж сидел, завороченный собственной выдумкой.

И когда Кэнди вдруг заговорил, оба вскочили, словно их застали на месте преступления. Кэнди сказал:

— Ты знаешь такое ранчо?

Джордж сразу насторожился.

— Ну, положим, знаю,— сказал он.— А тебе-то что?

— Я не спрашиваю, где оно. Это неважно.

— Ясное дело,— сказал Джордж.— Можешь быть спокоен... Тебе его и за сто лет не найти.

— А сколько нужно уплатить?!

Джордж подозрительно взглянул на старика:

— Ну... можно бы сторговаться за шестьсот долларов. Старики хозяева там здорово на мели, старуха больна, ее нужно оперировать. А тебе-то что до этого? Мы сами по себе, наши дела тебя не касаются.

Кэнди сказал:

— Конечно, я одорукий, от меня пользы мало. Руки я лишился здесь, на этом вот ранчо. Поэтому меня и держат тут уборщиком. И дали мне двести пятьдесят долларов за руку. И еще пятьдесят у меня накоплено в банке, готовенькие. Вот вам уже триста, а еще пятьдесят я получу в конце месяца. Вот что я вам скажу...— Он быстро подался вперед.— Можете, возьмете меня? Моя доля — триста пятьдесят долларов. Пользы от меня немного, но я могу стряпать, ухаживать за курами и копать в огороде. Ну как?

Джордж прищурился.

— Надо будет подумать об этом. Мы всегда хотели купить ранчо только вдвоем...

Кэнди перебил его:

— Я напишу завещание и оставляю свою долю вам, когда помру, потому что родных у меня никого нету. У вас, ребята, есть деньги? Может, купим это ранчо прямо сейчас?

Джордж с досадой сплунул на пол.

— У нас на двоих десять долларов.— Потом сказал задумчиво:— Послушай, если мы с Лении проработаем месяц и не потратим ни цента, у нас будет сотня долларов. Это уже четыреста пятьдесят. За эти деньги наличными они нам наверняка отдадут ранчо, остальное потом. Тогда вы с Лении устройтесь там и возьметесь за дело, а я найду себе место и заработаю остальное. Вы откуда будете продавать яйца и все прочее.

Все умолкли. Они смотрели друг на друга с удивлением. Они никогда не верили, что такое может сбыться. И Джордж сказал, едва дыша:

— Господи боже! Я просто уверен, что они его отдадут.— Он был ошеломлен.— Уверен, что отдадут,— повторил он тихо.

Кэнди сел на край койки. Он нервно почесал свою кулю.

— Меня искалечило четыре года назад,— сказал он.— Скоро меня выгонят отсюда, вышвырнут вон, как только я не смогу подметать барак. Может, если я отдам вам, ребята, свои деньги, вы позволите мне копаться в саду, даже когда толку от меня никакого не будет, и я стану мыть посуду и ухаживать за курами. Ведь я буду жить дома и работать дома,— сказал он с тоской.— Вы видели, что они сделали сегодня с моей собакой? Сказали, что от нее никому никакого прока и ей самой тоже. Когда меня выгонят, лучше бы кто меня пристрелил. Но этого они не сделают. Мне некуда будет идти, и я нигде не найду работы. До тех пор, пока вы, ребята, будете готовы, я получу еще тридцать долларов.

Джордж встал.

— Мы сделаем это,— сказал он.— Купим ранчо и будем там жить.

Он снова сел.

Теперь все сидели, не двигаясь, очарованные заманчивой картиной, и мысли их уносились в будущее, к тем дням, когда все это сбудется.

Джордж сказал задумчиво:

— А если в городе будет праздник, или бейсбольный матч, или приедет цирк, или еще что...— Старый Кэнди одобритительно кивнул.— Тогда мы пойдем туда,— сказал Джордж.— Никого не будем спрашивать. Просто скажем: «Ну, пошли»,— и пойдем. Подоим корову, подбросим зерна курам и пойдем.

— И дадим травы кроликам,— подхватил Лении.— Я не забуду их накормить. А когда это будет, Джордж?

— Через месяц. Подожди всего месяц. Знаешь, что я сделаю? Я напишу этим старикам, хозяевам ранчо, что мы его покупаем. А Кэнди пошлет сотню долларов в задаток.

— Конечно,— сказал Кэнди.— А печь там хорошая?

— Еще бы, прекрасная печь, можно топить и углем и дровами.

— Щенка я возьму с собой,— сказал Лении.— Ей же богу, ему там понравится.

Джордж прищурился.

Снаружи послышались голоса. Джордж быстро сказал:

— Но смотрите — никому ни слова. Только мы трое будем знать, больше никто. А то нас выгонят, и мы ничего не заработаем. Будем делать вид, будто собираемся всю жизнь ссыпать зерно, а потом вдруг в один прекрасный день возьмем свои денежки — и до свиданья.

Лении и Кэнди кивнули, радостно улыбаясь.

— Смотри, никому ни слова,— сказал сам себе Лении.

— Джордж,— сказал Кэнди.

— А?

— Я должен был сам пристрелить эту собаку, Джордж. Не надо было позволять чужому пристрелить мою собаку.

Дверь отворилась. Вошел Рослый, за ним Кудрявый, Карлсон и Уит. У Рослого все руки были в смоле, и он хмурился. Кудрявый шел за ним по пятам.

— Я не хотел тебя обидеть, Рослый. Я просто спросил,— сказал Кудрявый.

— Что-то ты слишком часто об этом спрашиваешь,— сказал Рослый.— Мне это осточертело. Если не можешь уследить за своей вертикальной, чего ж ты от меня хочешь? Оставь меня в покое.

— Я ж говорю тебе, что это я только так,— сказал Кудрявый.— Просто подумал, что, может, ты ее видел.

— Какого черта ты не велишь ей сидеть дома, как положено?— сказал Карлсон.— Позволяешь ей шляться по баракам. Глядишь, она поднесет тебе подарочек, тогда поздно будет.

Кудрявый круто повернулся к Карлсону.

— А ты не лезь не в свое дело, не то я тебя живо вышвырну.

Карлсон засмеялся.

— Ты, молокосос несчастный,— сказал он.— Ты хотел запугать Рослого, и ни черта у тебя не вышло. Он сам тебя напугал. Вон ты весь пожелтел, как лягушачье брюхо. Мне начхать, что ты лучший боксер в округе. Попробуй меня тронуть, я из тебя дух вышибу.

Кэнди живо поддержал его.

— Рукавица с вазелином,— сказал он презрительно.

Кудрявый сверкнул на него глазами. Потом его взгляд скользнул в сторону и остановился на Ленни; а Ленни все еще радостно улыбаясь, вспоминая про ранчо.

Кудрявый, как собачонка, набросился на Ленни.

— А ты какого дьявола смеешься?

Ленни растерянно взглянул на него.

— Чего?

И тут Кудрявый взорвался.

— А ну-ка ты, орясина этакая! Вставай! Я ни одному сукину сыну не позволю над собой смеяться! Я вам покажу, кто пожелтел со страха!

Ленни беспомощно поглядел на Джорджа, потом встал и хотел уйти. Но Кудрявый не зевал. Он ударил Ленни левой, а потом сильным ударом правой расквасил ему нос. Ленни испуганно закричал. Из носа у него текла кровь.

— Джордж!— крикнул он.— Скажи, чтоб он отстал от меня, Джордж!

Он пятился до тех пор, пока не уперся спиной в стену, а Кудрявый наступал на него и бил по лицу. Руки Ленни беспомощно висели. Он был слишком перепуган, чтобы защищаться.

Джордж вскочил и крикнул:

— Дай ему, Ленни! Не позволяй бить себя!

Ленни прикрыл лицо огромными ручищами и завизжал от страха. Он крикнул:

— Скажи, чтоб он перестал, Джордж!

Тут Кудрявый ударил Ленни под ложечку, и у того перехватило дыхание.

Рослый вскочил.

— Грязная крыса!— крикнул он.— Я сам с ним сейчас разделаюсь! Джордж схватил Рослого за плечо.

— Постой!— закричал он. Потом приложил руки ко рту рупором: — Покажи ему, Ленни!

Ленни отнял ладони от лица и поглядел на Джорджа, а Кудрявый

тем временем ударил его в глаз. Широкое лицо Ленни было все в крови. Джордж закричал снова:

— Покажи ему, тебе говорят!

Кудрявый снова занес кулак, но тут Ленни схватил его за руку. И Кудрявый сразу затрепыхался, как рыба на крючке, его кулак исчез в огромной ручище Ленни. Джордж подбежал к нему через весь барак.

— А теперь пусти его, Ленни. Пусти...

Но Ленни лишь смотрел со страхом на бьющегося человечка. Кровь текла у него по лицу, один глаз был подбит. Джордж ударил его по щеке раз, другой, но Ленни все не разжимал руку. Кудрявый побелел и скорчился. Он бился все слабее, но при этом отчаянно вопил — кулак его по-прежнему был зажат в руке Ленни.

А Джордж все кричал:

— Пусти его, Ленни! Пусти! Рослый, да помоги же, а то он вовсе без руки останется.

Вдруг Ленни разжал пальцы. Он присел у стены на корточки, чтобы быть как можно незаметнее.

— Ты сам мне велел, Джордж,— сказал он жалобно.

Кудрявый сел на пол, с удивлением глядя на свою изувеченную руку. Рослый и Карлсон наклонились над ним. Потом Рослый выпрямился и со страхом поглядел на Ленни.

— Надо отвезти его к доктору,— сказал он.— Похоже, что все кости переломаны.

— Я не хотел! — крикнул Ленни.— Я не хотел сделать ему больно! Рослый сказал:

— Карлсон, запрягай лошадей. Надо отвезти его в Соледад, там вылечат.

Карлсон выбежал на двор. Рослый повернулся к скулящему Ленни.

— Ты не виноват,— сказал он.— Этот сопляк сам полез на рожон. Но боже мой! Он и вправду чуть не остался без руки.

Рослый поспешно вышел и тут же вернулся с жестянкой воды. Он дал Кудрявому напиток.

Джордж сказал:

— Ну что, Рослый, теперь нас выгонят? А ведь нам позарез нужны деньги. Как думаешь, выгонит нас папаша Кудрявого?

Рослый криво усмехнулся. Он встал на колени возле Кудрявого.

— Ты соображаешь настолько, чтоб меня выслушать? — спросил он. Кудрявый кивнул.— Так слушай же,— продолжал Рослый.— Рука у тебя попала в машину. Если ты никому не скажешь, как дело было, мы тоже не скажем. А если скажешь и станешь требовать, чтоб этого малого выгнали, мы тоже всем расскажем, и над тобой будут смеяться.

— Я не скажу,— пробормотал Кудрявый. Он избегал смотреть на Ленни.

Снаружи затарахтели колеса повозки. Рослый помог ему встать.

— Ну, пошли. Карлсон отвезет тебя к доктору.

Он вывел Кудрявого за дверь. Стук колес затих вдали. Рослый сразу же вернулся в барак. Он поглядел на Ленни, который в страхе все еще жался к стене.

— Покажи-ка мне руки,— попросил он.

Ленни вытянул руки.

— Боже праведный, не хотел бы я, чтоб ты на меня рассердился,— сказал Рослый.

Вмешался Джордж.

— Ленни просто испугался,— объяснил он.— Он не знал, что делать. Я всем говорил, что его нельзя трогать. Или нет, кажется, я это говорил Кэнди.

Кэнди торжественно кивнул.

— Да, говорил,— сказал он.— Как раз нынче утром, когда Кудрявый в первый раз напустился на твоего друга, ты сказал: «Лучше пусть не трогает Ленни, если он сам себе не враг». Так и сказал.

Джордж повернулся к Ленни.

— Ты не виноват,— сказал он.— Не бойся. Ты сделал то, что я тебе велел. Иди-ка вымой лицо. А то ты бог знает на кого похож.

Ленни улыбнулся разбитыми губами.

— Я не хотел ничего такого,— сказал он.

Он пошел к двери, но не дойдя до нее, обернулся.

— Джордж.

— Чего тебе?

— Ты мне позволишь кормить кроликов, Джордж?

— Конечно. Ты не сделал ничего плохого.

— Я не хотел ничего плохого,— сказал он.

— Ну ладно, ступай умойся.

IV

Конюх Горбун жил при конюшне, в клетушке, где хранилась упряжь. В одной стене этой клетушки было квадратное, с четырьмя маленькими стеклами окошко, в другой — узкая дощатая дверь, которая вела в конюшню. Кроватью служил длинный ящик, набитый соломой и прикрытый сверху одеялами. У окошка были вбиты гвозди, на них висела рваная упряжь, которую Горбун должен был чинить, и полосы новой кожи; под окошком стояла низенькая скамеечка, на ней — шорный инструмент, кривые ножи, иголки, мотки шпагата и маленькое ручное приспособление для клепки. По стенам тоже висела всякая упряжь — порванный хомут, из которого торчал конский волос, сломанный крюк от хомута и лопнувшая постромка. На койке стоял ящичек, в котором Горбун держал пузырьки с лекарствами для себя и для лошадей. Здесь были коробки с дегтярным мылом и прохудившаяся жестянка со смолой, из которой торчала кисть. По полу были разбросаны всякие пожитки; в своей каморке Горбун мог не прятать вещи, а поскольку он был инвалид, служил конюхом и жил здесь довольно давно, он накопил больше добра, чем мог бы снести на себе.

У Горбуна было несколько пар башмаков, пара резиновых сапог, большой будильник и одноствольный дробовик. А еще у него были книги: истрепанный словарь и рваный томик гражданского кодекса Калифорнии 1905 года издания. Были у него старые журналы, и на специальной полке над койкой стояло еще несколько книг. Большие очки в золоченой оправе висели здесь же на гвозде.

Комната была чисто подметена. Горбун был гордый, независимый человек. Он сторонился людей и держал их на расстоянии. Из-за горба все тело у него было перекошено в левую сторону; взгляд блестящих, глубоко посаженных глаз был пристальным и острым. Его худое лицо избородили глубокие черные морщины; губы тонкие, горестно сжатые, были светлее, чем кожа на лице.

Был субботний вечер. Сквозь открытую дверь, которая вела в конюшню, были слышны удары копыт, хруст сена на зубах, позвякивание цепочек.

Маленькая электрическая лампочка скупно освещала комнату желтоватым светом.

Горбун сидел на койке. В одной руке он держал бутылку с жидкой мазью, а другой, задрав сзади рубашку, натирал себе спину. Время от времени он выливал несколько капель мази на свою розоватую ладонь,

а потом лез рукой под рубашку и тер спину. Он поеживался и вздрагивал.

В открытой двери бесшумно появился Ленни и остановился, оглядываясь. Его широкая фигура совсем заслонила дверной проем. Сначала Горбун его не видел, потом, подняв голову, сердито уставился на него. Он высвободил руку из-под рубашки.

Ленни робко и дружелюбно улыбнулся.

Горбун сказал резко:

— Ты не имеешь права входить сюда. Это моя комната. Никто кроме меня не смеет сюда входить.

Ленни проглотил слюну, и улыбка его стала еще более заискивающей.

— Я ничего. Просто пришел поглядеть своего щенка. И увидел здесь свет,— объяснил он.

— Я имею полное право зажигать свет. Уходи из моей комнаты. Меня не пускают в барак, а я не пускаю никого из вас сюда.

— А почему вас не пускают? — спросил Ленни.

— Потому что я негр. Они там играют в карты, а мне нельзя, потому что я негр. Они говорят, что от меня воняет. Так вот что я тебе скажу, по мне, от вас всех тоже воняет.

Ленни беспомощно всплеснул своими ручищами.

— Все уехали в город,— сказал он.— И Рослый, и Джордж — все. Джордж велел мне оставаться здесь и вести себя хорошо. А я увидел свет...

— Ну, чего тебе нужно?

— Ничего... Я просто увидел свет. Я думал, мне можно зайти и посидеть.

Горбун поглядел на Ленни, протянул руку, снял с гвоздя очки, надел их и снова поглядел на Ленни.

— Никак не пойму, чего тебе надо в конюшне,— сказал он с недоумением.— Ты не погонщик. А тем, кто ссыпает зерно, незачем сюда и заходить. На что тебе сдались лошади?

— Щенок,— снова объяснил Ленни.— Я пришел поглядеть щенка.

— Ну и иди гляди щенка. И не суйся, куда тебя не просят.

Улыбка исчезла с лица Ленни. Он шагнул в комнату, потом сообразил, что ему говорят, и снова попятился к двери.

— Я уже поглядел. Рослый сказал, чтоб я не гладил их слишком много.

— Ты все время вынимал их из ящика,— сказал Горбун.— Удивительно, как это собака не перенесла их куда-нибудь в другое место.

— Ну, она ничего. Она позволяет мне их брать.

Ленни снова вошел в комнату.

Горбун нахмурился, но улыбка Ленни обезоружила его.

— Ладно уж, входи и посиди малость,— сказал Горбун.— Раз не хочешь уйти и оставить меня в покое, так и быть, посиди здесь.— Тон его стал немного дружелюбнее.— Значит, все уехали в город?

— Все, кроме старого Кэнди. Он сидит в бараке, чинит карандаш и все подсчитывает.

Горбун поправил очки.

— Подсчитывает? Что же это Кэнди подсчитывает?

— Кроликов! — почти закричал Ленни.

— Ты сумасшедший. Каких кроликов?

— Кроликов, которые у нас будут, и я буду кормить их, косить для них траву и носить воду.

— Ты сумасшедший,— повторил Горбун.— Зря тот второй, с которым ты пришел, оставляет тебя без присмотра.

Ленни сказал тихо:

— Это правда. Мы это сделаем. Купим маленькое ранчо и будем сами себе хозяева.

Горбун поудобнее уселся на койке.

— Садись,— сказал он.— Вот сюда, на бочонок из-под гвоздей.

Ленни, скрючившись, сел на низкий бочонок.

— Вы мне не верите,— сказал Ленни.— Но это правда. Чистая правда, спросите у Джорджа.

Горбун подпер розоватой ладонью черный подбородок.

— Ты живешь вместе с Джорджем, да?

— Конечно. Мы с ним всегда вместе.

— Иногда он говорит, а ты не можешь взять в толк, о чем это он,— продолжал Горбун.— Правильно? — Он наклонился вперед, вперив в Ленни свой острый взгляд.— Правильно?

— Да... иногда.

— Он говорит, а ты в толк не можешь взять, о чем?

— Да... иногда... Но не всегда...

Горбун еще больше наклонился вперед, сдвинувшись на край койки.

— А я не с Юга родом,— сказал он.— Родился здесь, в Калифорнии. У моего отца было ранчо — акров десять земли, он там кур разводил. К нам иногда приходили белые дети, и я играл с ними. Среди них были славные ребята. Моему старику это не нравилось. Я только потом, через много лет, понял, почему. Но теперь-то я знаю.— Он неуверенно замолчал, а когда снова заговорил, голос его стал мягче.— На много миль вокруг нашего ранчо не было другой цветной семьи. И здесь, на этом ранчо, нет кроме меня ни одного цветного, и в Соледаде только одна семья.— Он засмеялся.— И если я что говорю, невелика важность — черномазый сказал.

— А как вы думаете,— спросил Ленни,— скоро щенков можно будет гладить?

Горбун снова засмеялся.

— Когда с тобой разговариваешь, можно быть уверенным, что ты ничего не разболтаешь. Так вот, пройдет недели две — и щенки подрастут. А Джордж себе на уме. Говорит, а ты ничего не понимаешь.— В волнении он подался вперед.— Все это тебе черномазый говорит, черномазый горбун. На это нечего и внимание обращать, понял? Да ладно, ты все равно ничего не запомнишь. Я видел это много раз, без счету — один разговаривает с другим, и ему неважно, слышит ли тот, понимает ли его. И так всегда, разговаривают ли они или сидят молча. Это все едино, все едино.— Все больше приходя в волнение, он хлопнул себя по колену.— Джордж может рассказывать тебе всякую чепуху, все что угодно. Важно, что есть с кем поговорить. Ему просто нужно, чтоб кто-то был рядом. Вот и все.

Он замолчал. Потом заговорил тихо и уверенно:

— А что, ежели Джордж больше не придет? Ежели он забрал свои пожитки и не вернется? Что ты тогда будешь делать?

Постепенно смысл его слов дошел до Ленни.

— Как это? — спросил он.

— Я сказал — а что, ежели Джордж уехал сегодня в город и поминай как звали? — Горбун вроде бы торжествовал.— Что тогда? — повторил он.

— Он этого не сделает! — крикнул Ленни.— Джордж этого не сделает! Мы с ним давно вместе. Он вернется... — Но сомнения уже начали одолевать его.— А вы думаете — он может не вернуться?

Горбун усмехнулся, радуясь его отчаянью.

— Никто не знает, что может человек сделать,— сказал он спо-

койно.— Иной раз он, положим, и хотел бы вернуться, да не его воля. Вдруг его убьют или ранят и он не сможет вернуться.

Ленни мучительно пытался понять это.

— Джордж этого не сделает,— повторил он.— Джордж осторожный. Его не ранят. Его ни разу не ранили, потому что он осторожный.

— Ну а вдруг, вдруг он не вернется. Что ты тогда будешь делать?

Лицо Ленни сморщилось от напряжения.

— Не знаю. А вы что это? — крикнул он.— Это неправда! Джорджа не ранили.

Горбун пристально поглядел на него.

— Хочешь, я скажу тебе, что тогда будет? Тебя схватят и упекут в сумасшедший дом. Наденут на тебя ошейник, как на собаку.

Глаза Ленни вдруг помутились, в них застыла ярость. Он встал и грозно шагнул к Горбуну.

— Кто ранил Джорджа? — спросил он.

Горбун сразу понял опасность. Он отодвинулся в сторону.

— Я просто говорю — вдруг его ранили,— сказал он.— Джорджа никто не трогал. Он цел и невредим. Он вернется.

Ленни стоял над ним.

— Зачем тогда говорить — вдруг? Никто не смеет говорить, что тронет Джорджа.

Горбун снял очки и провел рукой по глазам.

— Садись,— сказал он.— Джорджа никто не трогал.

Ленни ворча вернулся на свой бочонок.

— Никто не должен говорить, что тронет Джорджа,— повторил он.

Горбун сказал мягко:

— Может, теперь ты поймешь. У тебя есть Джордж. Ты знаешь, что он вернется. А допустим, у тебя никого нет. Допустим, ты не можешь пойти в барак и играть в карты, потому что ты негр. Как бы тебе это понравилось? Допустим, тебе пришлось бы сидеть здесь и читать книги. Конечно, покуда не стемнеет, ты мог бы играть в подкову, но потом пришлось бы читать книги. А только книги не помогают. Человеку нужно, чтоб кто-то был рядом.— Голос его звучал жалобно: — Можно сойти с ума, если у тебя никого нет. Пусть хоть кто-нибудь, лишь бы он был рядом. Я тебе говорю! — крикнул он.— Я тебе говорю, жить одному очень тяжело!

— Джордж вернется,— испуганно убеждал себя Ленни.— Может, он уже вернулся. Я пойду посмотрю.

Горбун сказал:

— Я не хотел тебя пугать. Он вернется. Я говорил про себя. Сидишь тут один по вечерам, читаешь книги, или думаешь, или еще чем займешься. Иногда думаешь вот так, и некому тебе сказать, что правильно, а что нет. Или увидишь что-нибудь, а не знаешь, так это или не так. И нельзя повернуться к другому человеку и спросить, видит ли он то же самое. Ничего не поймешь. И некому объяснить. Я здесь много чего перевидал. И не был пьян. Но я не знаю, может, это было во сне. Если бы рядом со мной был кто-нибудь, он сказал бы мне, спал я или нет, и тогда все было бы ясно. А так я просто ничего не знаю.

Горбун теперь смотрел в окно.

Ленни сказал с тоской:

— Джордж меня не бросит. Я знаю, Джордж этого не сделает.

Горбун продолжал задумчиво:

— Помню, как я еще ребенком жил у своего старика на ранчо, где он кур разводил. У меня было два брата. Мы никогда не расставались, никогда. Спали в одной комнате, на одной кровати — все трое. У нас росла клубника в саду. Было поле люцерны. По утрам, в хорошую по-

году, мы выгоняли кур на это поле. Мои братья садились на заго-родку и присматривали за ними, а куры все были белые.

Постепенно Ленни заинтересовался.

— Джордж говорит, что у нас будет люцерна для кроликов.

— Для каких кроликов?

— У нас будут кролики и ягоды.

— Ты сумасшедший.

— Будут. Спросите у Джорджа.

— Ты сумасшедший,— снова повторил Горбун презрительно.— Я видел, как сотни людей приходили на ранчо со свертками, и головы у них были набиты таким же вздором. Сотни людей. Они приходили и уходили; и каждый мечтал о клочке собственной земли. И ни черта у них не вышло. Ни черта. Всякий хочет иметь свой клочок земли. Я здесь много книг перечитал. Никому не попасть на небо, и никому не иметь своей земли. Все это только мечты. Люди все время об этом говорят, но это только мечты.

Он замолчал и поглядел на открытую дверь, потому что лошади беспокойно зашевелились и цепи зазвенели. Послышалось ржание.

— Кажется, там кто-то есть,— сказал Горбун.— Может быть, это Рослый. Иногда он заходит сюда раза два, а то и три за вечер. Рос-лый — настоящий погонщик. Он заботится о своих мулах.

Горбун с трудом встал и подошел к двери.

— Это Рослый? — спросил он.

Отозвался голос Кэнди:

— Рослый уехал в город. Скажи, ты не видел Ленни?

— Это ты про здорового малого спрашиваешь?

— Да. Не видел его?

— Он здесь,— сказал Горбун отрывисто. Потом вернулся к койке и лег.

Кэнди остановился в дверях, почесывая свою культю и шурясь от света.

В комнату он не вошел.

— Слушай, Ленни. Я тут думал про кроликов...

— Можешь войти, если хочешь,— ворчливо сказал Горбун.

Кэнди, казалось, смутился.

— Не знаю, право. Конечно, если ты позволишь...

— Входи. Раз другие входят, значит, можно и тебе.

Горбуну трудно было скрыть свое удовольствие под сердитой гри-масой.

Кэнди вошел, все еще смущенный.

— А у *тебя тут уютно,— сказал он Горбуну.— Наверно, хорошо иметь отдельную комнату.

— Конечно,— сказал Горбун.— И навозную кучу под окном. Чего уж лучше.

— Скажи про кроликов,— вмешался Ленни.

Кэнди прислонился к стене около рваного хомута и снова почесал культю.

— Я здесь уже давно,— сказал он.— И Горбун тоже давно. А ведь я в первый раз в этой комнате.

— Кто ж заходит в комнату цветного,— хмуро сказал Горбун.— Сюда никто не заходил, кроме Рослого. Он да еще хозяин, больше ни-кто.

Кэнди быстро переменял разговор.

— Рослый — лучший погонщик, какого я знал.

Ленни наклонился к старому Кэнди.

— Скажи про кроликов,— потребовал он.

Кэнди улыбнулся.

— Я все обдумал. Если как следует взяться за дело, можно заработать и на кроликах.

— Но я буду их кормить,— перебил его Ленни.— Джордж так сказал. Он обещал мне.

Горбун резко вмешался в разговор:

— Вы, ребята, просто морочите себя. Болтаете об этом чертову пропасть, но все равно своей земли вам не видать. Ты будешь тут уборщиком, Кэнди, пока тебя не вынесут ногами вперед. Эх-ма, многих я тут перевидал. А Ленни недели через две или три возьмет расчет и уйдет. Эх, каждый только о земле и думает.

Кэнди сердито потер щеку.

— Можешь быть уверен, мы это сделаем. Джордж говорит, что сделаем. У нас уже и деньги готовы.

— Да неужто? — сказал Горбун.— А где сейчас Джордж? В городе, в публичном доме. Вот куда пойдут ваши денежки. Господи, да я уже видел это столько раз. Много я перевидал людей, у которых только и мыслы в голове, что о земле. Но в руки им ничего не доставалось.

— Конечно, все этого хотят! — воскликнул Кэнди.— Всякий хочет иметь клочок земли, хоть небольшой, да свой. Иметь кров над головой, и чтобы никто не мог его выгнать. У меня никогда этого не было. Я работал чуть не на всех хозяев в этом штате, а урожай доставался не мне. Но теперь у нас будет своя земля, можешь не сомневаться. Джордж не взял с собой денег. Эти деньги лежат в банке. У меня, Ленни и Джорджа будет свой дом. У нас будет собака, кролики и куры. Будет кукурузное поле и, может, корова или коза.

Он замолчал, увлеченный этой картиной.

— Говоришь, у вас есть деньги? — спросил Горбун.

— Можешь быть спокоен. Большая часть уже есть. Остается добыть совсем пустяки. Мы добудем их за один месяц. И Джордж уже присмотрел ранчо.

Горбун пощупал свою спину.

— Никогда не видел, чтоб кто-нибудь и в самом деле купил ранчо,— сказал он.— Я видел людей, которые чуть с ума не сходили от тоски по земле, но всегда публичный дом или игра в очко брали свое.— Он поколебался.— Если вы, ребята, захотите иметь дарового работника, только за харчи, я с охотой пойду к вам. Не такой уж я калека, могу работать как зверь, если захочу.

— Вы не видели Кудрявого, ребята?

Они быстро повернули головы. В дверь заглядывала жена Кудрявого. Лицо ее было сильно нарумянено. Губы приоткрыты. Дышала она тяжело, как после бега.

— Кудрявый сюда не заходил,— сказал Кэнди, поморщившись.

Она стояла в дверях, улыбаясь им, и терла ногти на одной руке пальцами другой. Взгляд ее скользнул по их лицам.

— Они оставили здесь всех немощных,— сказала она наконец.— Думаете, я не знаю, куда они все уехали? И Кудрявый тоже. Я знаю, где они.

Ленни смотрел на нее с восхищением, но Кэнди и Горбун хмуро отводили глаза, избегая ее взгляда.

Кэнди сказал:

— Ну, а ежели вы знаете, тогда зачем спрашиваете, где Кудрявый?

Она, забавляясь, смотрела на них.

— Смешно,— сказала она.— Если я застаю кого-нибудь из мужчин одного, мы с ним отлично ладим. Но если их двое, они и разговаривать со мной не хбтят. Только злятся.— Она перестала тереть ногти и уперла руки в бедра.— Вы все боитесь друг друга, вот что. Всякий боится, что остальные против него что-нибудь замышляют.

Наступило молчание. Потом Горбун сказал:

— Пожалуй, вам лучше уйти домой. Мы не хотим неприятностей.

— А какие вам от меня неприятности? Думаете, мне не хочется хоть иногда поговорить с кем-нибудь? Думаете, охота мне дома сиднем сидеть?

Кэнди положил свою кулю на колено и осторожно потер ее ладонью. Он сказал сердито:

— У вас есть муж. Нечего вам тут ходить и заигрывать с другими мужчинами, от этого одни неприятности.

Молодая женщина разозлилась:

— Ну конечно, у меня есть муж. Вы все его знаете. Хорош, правда? Все время говорит, как он расправится с теми, кого не любит, а он никого не любит. Думаете, мне охота сидеть в этом паршивом домишке и слушать, как Кудрявый врежет два раза левой, а потом как следует правой? «Врезать ему разок,— говорит,— и он с копыт долой».— Она замолчала, и ее лицо вдруг оживилось.— Скажите, что у Кудрявого с рукой?

Наступило неловкое молчание. Кэнди украдкой поглядел на Ленни. Потом он кашлянул.

— Ну... Кудрявый... Рука у него в машину попала, мэм. Он ее цоранил.

Она посмотрела на них и засмеялась.

— Враки! Что вы мне голову морочите! Кудрявый заварил какую-то кашу, которую не мог расхлебать. Попала в машину—враки! Да ведь он никому больше не врезал с тех пор, как у него рука изуродована. Кто ее изуродовал?

Кэнди угрюмо повторил:

— У него рука попала в машину.

— Ну ладно,— сказала она презрительно.— Ладно, покрывайте его, если хотите. Мне-то что? Вы, бродяги, много о себе думаете. По-вашему, я ребенок? Я могла уехать и играть на сцене. И не раз. Один человек обещал мне, что я буду сниматься в кино.— Она тяжело дышала от возбуждения.— Субботний вечер. Никого нет, все как-нибудь развлекаются. Все! А я как развлекаюсь? Стою здесь и болтаю с бродягами—с негром, с дураком и со старым вонючим козлом, и радуюсь, потому что кроме них здесь нет ни души.

Ленни смотрел на нее, открыв рот. Горбун скрылся под своей защитной оболочкой холодного достоинства. Но старый Кэнди вдруг преобразился. Он решительно встал и пнул ногой бочонок, на котором сидел.

— С меня довольно,— сказал он сердито.— Вас сюда никто не звал. Мы вам сразу так и сказали. И я хочу вам еще сказать, что у вас скверное понятие о том, что мы за люди. У вас меньше мозгов, чем у курицы, она и то поняла бы, что мы не дураки. Пускай вы нас выгоните. Пускай. Думаете, мы станем бродить по дорогам искать другую грошовую работу вроде этой? Вам и невдомек, что у нас есть собственное ранчо и собственный дом. Нам незачем здесь и оставаться. У нас есть дом, и куры, и сад, и там в сто раз лучше, чем здесь. И друзья у нас тоже есть. Может, было время, когда мы боялись, что нас выгонят, а теперь не боимся. У нас есть свое ранчо, оно наше, и мы можем туда переехать.

Женщина засмеялась.

— Враки,— сказала она.— Много я вас тут перевидала. Если б у вас был хоть цент за душой, вы бы купили на него самогонки и выпили ее всю до последней капли. Знаю я вас.

Лицо Кэнди быстро покраснело, но прежде чем она замолчала, он овладел собой. Он был хозяином положения.

— Так я и знал,— сказал он тихо — Пожалуй, вам лучше идти во-сво-яси. Нам не о чем разговаривать. Мы свое знаем, и нам наплевать, что вы об этом думаете. Так что вам лучше просто уйти отсюда. Кудря-вому, наверно, не понравится, что его жена в конюшне с бродягами.

Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были за-мкнуты. Дольше всего она смотрела на Ленни, и, наконец, он в смуще-нии потупился. Вдруг она сказала:

— Откуда у тебя ссадины на лице?

Ленни виновато поднял голову.

— У кого — у меня?

— Да, у тебя.

Ленни поглядел на Кэнди, не зная, что сказать, потом снова уста-вился в пол.

— У него рука в машину попала,— сказал он.

Она расхохоталась.

— Ну ладно. Пускай в машину. Я с тобой еще поговорю. Люблю машины.

— Оставьте его в покое,— вмешался Кэнди.— Не вздумайте втра-вить его в историю. Я скажу Джорджу, что вы тут наболтали. Джордж не даст вам травить Ленни в историю.

— Кто это — Джордж? — спросила она Ленни.— Тот маленький, с которым ты вместе пришел?

Ленни радостно улыбнулся и сказал:

— Да, это он. Он позволит мне кормить кроликов.

— Ну, если тебе только этого и хочется, я сама могу раздобыть пару кроликов.

Горбун встал с койки и повернулся к ней.

— Ну, хватит,— сказал он неприязненно.— Вы не имеете права вхо-дить в комнату цветного. Вы не имеете права подымать здесь шум. А теперь — уходите, да поживей. А если не уйдете, я попрошу хозяина, чтоб он вовсе запретил вам ходить на конюшню.

Она презрительно посмотрела на него.

— Послушай ты, черная образина,— сказала она.— Знаешь, что я могу сделать, если ты еще хоть раз рот раскроешь?

Горбун бросил на нее безнадежный взгляд, потом сел на койку и замолчал.

Но она не отставала:

— Знаешь, что я могу сделать?

Горбун словно стал меньше ростом и прижался к стене.

— Да, мэм.

— Ну, тогда помни свое место, черномазый. Мне до того легко устроить так, чтоб тебя вздернули на сук, что это даже не интересно.

Горбун совсем сник. Он стал каким-то незаметным, безликим.

— Да, мэм,— сказал он, и голос у него был какой-то пустой.

Мгновение она глядела на него, словно ждала, не шевельнется ли он, чтоб снова на него напустить, но Горбун сидел неподвижно, глядя в сторону, и словно оделся защитной броней. Наконец, она повернулась к двум остальным.

Старый Кэнди смотрел на нее, не отводя глаз.

— Если вы это сделаете, мы тоже скажем,— сказал он спокойно.— Скажем, что вы лжете про Горбуна.

— Ну и черт с тобой! — закричала она.— Никто не станет тебя слу-шать, ты сам это знаешь. Никто!

Кэнди притих.

— Да,— согласился он.— Нас никто не слушает.

— Хочу к Джорджу,— захныкал Ленни.— Хочу к Джорджу.

Кэнди подошел к нему.

— Не бойся,— сказал он.— Я только что слышал шум, они возвращаются. Джордж сейчас будет в бараке.— Он повернулся к женщине.— А вы шли бы лучше домой,— сказал он спокойно.— Если уйдете, мы не скажем Кудрявому, что вы были здесь.

Она смерила его взглядом.

— А почему я знаю, может, ты ничего и не слышал.

— Зачем же рисковать,— сказал он.— Если не знаете, лучше подалеже от греха.

Она повернулась к Ленни.

— Я рада, что ты малость проучил Кудрявого. Он сам на это нарывался. Иногда и мне хочется его проучить.

Она проскользнула в дверь и исчезла в темной конюшне. И когда она шла через конюшню, зазвенели цепи, лошади зафыркали, забили копытами.

Горбун постепенно как бы освобождался от своей защитной брони.

— Это правда, что они возвращаются? — спросил он.

— Конечно. Я слышал.

— А я вот ничего не слышал.

— Хлопнули ворота,— сказал Кэнди и продолжал: — Ну да ничего, она умеет проскользнуть тихонько. Ей не привыкать.

Горбуну не хотелось больше разговаривать про нее.

— Лучше вам уйти,— сказал он.— Я не хочу, чтоб вы тут оставались. Должны же и у цветного быть какие-то права, даже если ему от них только хуже.

— Эта сука не должна была так с тобой говорить,— сказал Кэнди.

— Какая разница,— сказал Горбун равнодушно.— Вы сюда пришли, сидели тут и заставили меня забыть, кто я такой. А ведь она правду сказала.

Лошади в конюшне снова зафыркали, зазвенели цепи, и громкий голос позвал:

— Ленни, а Ленни! Ты где?

— Это Джордж! — воскликнул Ленни и сразу же отозвался: — Я здесь, Джордж! Здесь!

Через секунду Джордж появился в дверях и недовольно огляделся.

— Что ты делаешь у Горбуна? Тебе нельзя здесь быть.

Горбун кивнул.

— Я им говорил, но они все равно вошли.

— Так почему же ты их не выгнал?

— Мне не жалко,— сказал Горбун.— Ленни — славный малый.

Кэнди вдруг встрепенулся.

— Ах, Джордж! Я все обдумал! Я даже подсчитал, как мы можем заработать на кроликах.

Джордж сердито поглядел на него.

— Я, кажется, предупреждал вас обоих, чтоб вы никому не говорили про это.

Кэнди оробел.

— Мы и не говорили никому, кроме Горбуна.

— Ну ладно, пошли отсюда. Господи, на минуту и то нельзя отлучиться.

Кэнди и Ленни встали и пошли к двери.

Горбун окликнул старика:

— Кэнди!

— А?

— Помнишь, что я говорил насчет огорода и всякой мелкой работы?

— Да,— сказал Кэнди.— Конечно, помню.

— Так вот, забудь про это,— сказал Горбун.— Я просто пошутил. Я не хочу на ваше ранчо.

— Ладно, дело твое. Спокойной ночи.

Трое мужчин вышли. Когда они проходили через конюшню, лошади зафыркали и цепи зазвенели.

Некоторое время Горбун сидел на койке и глядел им вслед, потом потянулся за бутылкой с мазью. Он задрал рубашку на спине, налил на ладонь немного мази и начал медленно тереть себе спину.

V

Один конец огромной конюшни был завален почти до потолка свежим сеном, тут же висели вилы с четырьмя зубьями. Сено высилось горой, полого спускавшейся к другому концу конюшни, и здесь было свободное место, не доверху заваленное сеном. По бокам тянулись ясли, и между перегородками виднелись лошадиные головы.

Было воскресенье. Лошади отдыхали. Они тыкались мордами в кормушки, били копытами в деревянные перегородки и звенели цепями. Солнце пробивалось сквозь щели в стенах и яркими полосами ложилось на сено. В воздухе летали мухи, лениво жужжа в эту послеполуденную пору.

Снаружи раздавался звон подковы о железную стойку и ободряющие или насмешливые крики игроков. Но в конюшне было тихо, тепло и жужжали мухи.

Ленни был один. Он сидел на сене около ящика со щенками в том конце конюшни, где сено было навалено не доверху. Сидел на сене и глядел на мертвого щенка, лежавшего перед ним. Глядел долго, потом протянул свою огромную ручищу и погладил его с головы до хвостика. И тихо сказал щенку:

— Отчего ты издох? Ты же не такой маленький, как мышка. И я не сильно тебя гладил.— Он приподнял голову щенка, поглядел на его морду и сказал: — Джордж, наверно, не позволит мне кормить кроликов, если узнает, что ты сдох.

Он вырыл рукой ямку, положил туда щенка и прикрыл его сеном, но продолжал, не отрываясь, смотреть на маленький холмик. Он сказал:

— Но я не натворил ничего такого, чтоб бежать и прятаться в кустах. Нет, ~~это~~ еще ничего. Скажу Джорджу, что он сам издох.

Он откопал щенка, осмотрел его и снова погладил от головы до хвоста. Потом горестно продолжал:

— Но Джордж все равно узнает. Он всегда все узнает. Он скажет: «Это ты сделал. Не вздумай морочить мне голову». И скажет: «За это ты не будешь кормить кроликов!»

Вдруг он рассердился.

— Как тебе не стыдно! — воскликнул он.— Почему ты издох? Ты не такой маленький, как мышь.— Он схватил щенка, отшвырнул его в сторону и повернулся к нему спиной. Потом сел, наклонившись вперед, и прошептал: — Теперь я не буду кормить кроликов. Джордж мне не позволит.

От горя он раскачивался взад и вперед.

Снаружи послышался звон подковы, а потом — хор голосов. Ленни встал, принес щенка назад, положил его на сено и сел. Он опять погладил щенка.

— Ты еще маленький,— сказал он.— Они мне говорили сколько раз, что ты маленький. Но я не знал, что тебя так легко убить.— Он потрогал пальцами мягкое ухо щенка.— Может, Джордж не рассердится,— сказал он.— Ведь про того сукина сына он сказал — это ничего.

Из-за крайнего стойла появилась жена Кудрявого. Она шла очень тихо, и Ленни ее не видел. На ней было все то же яркое бумажное платье и мягкие туфли, украшенные страусовыми перьями. Лицо ее

было нарумянено, и все локоны-колбаски были на месте. Она молча подошла вплотную к Ленни, и только тогда он поднял голову и увидел ее.

В испуге он быстро забросал щенка сеном. Потом хмуро поглядел на нее.

— Что ты здесь делаешь, сынок? — спросила она.

Ленни смотрел на нее сердито.

— Джордж велел держаться от вас подальше. Не разговаривать с вами или другое что.

Она засмеялась.

— Джордж всегда над тобой командует?

Ленни опустил глаза.

— Он сказал, что не позволит мне кормить кроликов, если я буду с вами разговаривать.

— Бойтсся, как бы Кудрявый не разозлился,— тихо сказала она.— Ну так вот, у него рука на перевязи, а если он к тебе пристанет, ты сможешь сломать ему и другую. И не рассказывай мне, будто рука у него попала в машину.

Но Ленни стоял на своем.

— Ну нет. Я не буду с вами разговаривать.

Женщина опустилась на колени рядом с ним.

— Послушай,— сказала она.— Сейчас все играют в подкову. Еще четырех нет. Они ни за что не бросят игру, пока не доиграют кон. Почему же мне нельзя поговорить с тобой? Мне ведь не с кем разговаривать. Я такая одинокая.

— Но я не должен говорить с вами,— сказал Ленни.

— Я одинокая,— повторила она.— Ты можешь разговаривать с кем хочешь, а я — ни с кем, кроме Кудрявого. Иначе он бесится. Как думаешь, весело это — ни с кем не разговаривать?

— Но я не должен,— сказал Ленни.— Джордж боится, что я попаду в беду...

Она переменила разговор:

— Что это у тебя там зарыто?

И тогда Ленни снова охватила тоска.

— Это мой щенок,— сказал он горестно.— Мой щеночек. И он смахнул со щенка сено.

— Да ведь он мертвый! — воскликнула она.

— Он был такой маленький,— сказал Ленни.— Я хотел только поиграть с ним... И он притворился, будто хочет укусить меня... а я — будто хочу его шлепнуть... и... и шлепнул его. А потом он был уже мертвый.

Она стала его утешать.

— Не огорчайся. Это ведь всего-навсего щенок. Возьмешь другого. Здесь их полным-полно.

— Я не про это,— сказал Ленни жалобно.— Теперь Джордж не позволит мне кормить кроликов.

— А почему?

— Он сказал, что ежели я еще что натворю, он не позволит мне кормить кроликов.

Она придвинулась ближе к нему и заговорила успокаивающе:

— Ты не бойся, это ничего, что ты со мной разговариваешь. Слышишь, как они там кричат? У них на кону четыре доллара. Ни один не отойдет, покуда игра не кончится.

— Если Джордж увидит, что я разговариваю с вами, он мне задаст жару,— проговорил Ленни опасливо.— Он так и сказал.

Лицо ее стало злым.

— Почему со мной так обращаются? — крикнула она.— Почему я не имею права ни с кем поговорить? За кого они меня считают? Ты

такой славный. Отчего ж мне нельзя поговорить с тобой? Я тебе ничего плохого не сделаю.

— Но Джордж говорит, что из-за вас мы попадем в беду.

— Глупости,— сказала она.— Что я тебе плохого делаю? Ну, конечно, им всем наплевать, они и знать не хотят, каково мне здесь живется. А я тебе вот что скажу — я не привыкла так жить. Я могла бы кой-чего добиться в жизни. И, может, еще добыюсь,— добавила она мрачно.

И она заговорила быстро, с увлечением, словно спешила высказаться, пока ее кто-то слушает.

— Я жила в самом Салинасе. Меня туда еще ребенком привезли. Однажды в Салинас приехал театр, и я познакомилась с одним актером. Он сказал, что я могу поехать с их театром. Но мать меня не отпускала. Говорила, что я еще маленькая — мне тогда всего пятнадцать лет было. Но тот актер звал меня. И будь уверен, если бы я уехала, не жила бы вот так, как сейчас.

Ленни гладил мертвого щенка.

— У нас будет маленькое ранчо... и кролики,— сказал он.

А она все спешила рассказать о себе, прежде чем ее прервут.

— А в другой раз я встретила одного человека, он в кино работал. Я ходила с ним танцевать в «Риверсайд Пэлес». Он сказал, что поможет мне устроиться в кино. Сказал, что я — самородок. Что он скоро вернется в Голливуд и напишет мне.— Она испытующе посмотрела на Ленни, ей хотелось знать, произвело ли это на него впечатление.— Но я так и не дождалась письма,— сказала она.— Мне кажется, мать его украла. Ну, я не хотела оставаться там, где ничего нельзя достичь в жизни, да еще письма крадут. Я спросила мать, украла она письмо или нет,— она стала отпираться. А потом я вышла за Кудрявого. Мы как раз в тот вечер познакомились с ним в «Риверсайд Пэлесе». Ты слушаешь меня?

— Я? Конечно.

— Сейчас я тебе такое скажу, чего ни одной живой душе не говорила. Может, и не надо бы, да уж ладно. Я не люблю Кудрявого. Он плохой человек.— После этого признания она пододвинулась к Ленни еще ближе и села рядом с ним.— Я могла бы сниматься в кино и носить красивые платья, как все актрисы. Могла бы жить в роскошных отелях, и меня снимали бы фотографы. И я ходила бы на все просмотры и выступала по радио, и это не стоило бы мне ни цента, потому что я была бы киноактрисой. И носила бы красивые платья, как все они. Ведь тот человек сказал, что я — самородок.

Она посмотрела на Ленни и сделала рукой изящный жест, показывая, что умеет играть. Пальцы ее описали плавную дугу в воздухе, мизинец изящно оттопырился.

Ленни глубоко вздохнул. На дворе раздался звон подковы и одобрительные крики.

— Кто-то хорошо сыграл,— сказала она.

Солнце закатывалось, и светлые полосы поднялись по стене выше яслей и лошадиных голов.

— Может, если я унесу щенка и выброшу его, Джордж ничего не узнает,— сказал Ленни.— И тогда я смогу кормить кроликов.

— Неужели ты ни о чем, кроме кроликов, думать не можешь? — сердито спросила женщина.

— У нас будет маленькое ранчо,— терпеливо объяснил Ленни.— Будет сад и луг, а на нем люцерна для кроликов, и я буду брать мешок, набивать его люцерной и нести кроликам.

— А почему ты так любишь кроликов? — спросила она.

Ленни пришлось подумать, прежде чем он нашел объяснение. Он осторожно подвинулся к ней вплотную.

— Я люблю гладить все приятное. Один раз на ярмарке я видел пушистых кроликов. И я знаю, их приятно гладить. Иногда я гладил даже мышей, если не было ничего лучше.

Женщина с беспокойством отодвинулась от него.

— По-моему, ты сумасшедший,— сказала она.

— Нет,— серьезно возразил Ленни.— Джордж говорит, что нет. Просто я люблю гладить пальцами все приятное, мягкое.

Она немного успокоилась.

— А кто не любит? — сказала она.— Это всякий любит. Я вот люблю шупать шелк и бархат.

Ленни радостно засмеялся.

— А то как же! — воскликнул он.— И у меня был бархат. Мне его дала одна женщина, и эта женщина была... моя тетьа Клара. Она дала мне его вот такой кусок. Хорошо бы мне иметь его сейчас.— Он нахмурился.— Я его потерял,— сказал он.— Его уже давно нет.

Женщина засмеялась.

— Ты сумасшедший,— сказал она.— Но все равно, кажется, ты славный малый. Совсем как большой ребенок. Кажется, я тебя понимаю. Иногда я как стану причесываться, долго сижу и глажу свои волосы, потому что они такие мягкие.— И чтобы показать, как она это делает, женщина провела рукой по своей голове.— У некоторых волосы жесткие,— сказала она самодовольно.— Вот, скажем, у Кудрявого. Совсем как проволока. А у меня — мягкие и тонкие. Потому что я их часто расчесываю. От этого они делаются мягче. Вот пощупай.— Она взяла руку Ленни и положила ее себе на голову.— Пощупай, и увидишь сам, какие они мягкие.

Огромная ручища Ленни начала гладить ее волосы.

— Только не растрепи меня,— сказала она.

— Ах, как приятно! — сказал Ленни и стал гладить сильнее.— Как приятно!

— Осторожней, ты меня растреплешь.— А потом она сердито закричала: — Да перестань же, ты меня совсем растрепал!

Она мотала головой, но пальцы Ленни были крепко прижаты к ее волосам.

— Пусти! — крикнула она.— Слышишь, пусти!

Ленни был в смятении. Лицо его исказилось. Она завизжала, и тогда Ленни другой рукой зажал ей рот и нос.

— Пожалуйста, не кричите,— попросил он.— Ну пожалуйста, не надо. Джордж рассердится.

Она отчаянно билась в его руках. Ее ноги колотили по суну, она извивалась, пытаясь освободиться, и из-под ладони Ленни вырывались заглушенные вопли. Ленни заплакал от страха.

— Ну, пожалуйста, не надо! — просил он.— Джордж скажет, что я опять чего-то натворил. Он не позволит мне кормить кроликов.

Он слегка отпустил руку, и сразу же раздался ее хриплый крик. Тогда Ленни рассердился.

— Перестаньте,— сказал он.— Я не хочу, чтоб вы кричали. Из-за вас я попаду в беду, Джордж так и сказал. Перестаньте.

А она все вырывалась, и глаза у нее были полны ужаса. Тогда он встряхнул ее, все больше сердясь.

— Не кричите,— сказал он и снова встряхнул ее. И она забилась как рыба. А потом вдруг затихла, потому что Ленни сломал ей шею.

Он посмотрел на нее и осторожно убрал руку с ее рта.

— Я не хотел сделать вам больно,— сказал он.— Но Джордж рассердится, если вы будете кричать.

Она не отвечала, не двигалась, и тогда он склонился над ней. Он поднял ее руку, отпустил... Сначала он, видимо, был удивлен. Потом прошептал со страхом:

— Я чего-то натворил. Я опять чего-то натворил.

И стал забрасывать ее сеном, пока не завалил почти всю.

Со двора донеслись крики и двойной удар подковы. И тут Ленни впервые подумал о том, что происходит на дворе. Он присел на корточки и прислушался.

— Я натворил настоящую беду,— сказал он.— Не нужно было это делать. Джордж рассердится. И... он сказал... спрячься в кусты и жди меня. Он рассердится... В кусты и жди меня. Так он сказал.

Ленни повернулся и посмотрел на мертвую женщину. Щенок лежал рядом с ней. Ленни взял его в руки.

— Я его выброшу,— сказал он.— И без того плохо...

Он сунул щенка за пазуху, подполз к стене и поглядел в щель на играющих. Потом ползком обогнул крайнее стойло и скрылся.

Солнечные полосы поднялись теперь высоко по стене, конюшня была залита мягким светом. Жена Кудрявого лежала на спине, прикрытая сеном.

В конюшне было тихо, и на всем ранчо царил послеполуденная тишина. Даже звон подковы и крики игроков, казалось, стали тише. Полумрак постепенно окутывал конюшню, хотя на дворе было светло. В открытую дверь влетел голубь, покружил под потолком и снова вылетел наружу. Из-за крайнего стойла вышла овчарка, длинная, поджарая, с тяжелыми отвисшими сосцами. Не дойдя до ящика, где были щенки, она почуяла мертвеца, и шерсть у нее на спине встала дыбом. Она заскулила, подползла к ящику и прыгнула в него, к щенкам.

Жена Кудрявого лежала, прикрытая желтым сеном. Ожесточение, тревога, тщеславие — все исчезло с ее лица. Она была теперь очень милая, простая, лицо у нее стало нежным и юным. Нарумяненные щеки и покрашенные губы оживляли его, словно она лишь задремала. Локонь, похожие на колбаски, рассыпались по сему вокруг головы, губы были приоткрыты.

Как иногда бывает — время вдруг на мгновение остановилось, застыло. И звон смолк, и движение замерло, и это длилось много, много долгих мгновений.

Потом время постепенно ожило и медленно двинулось дальше. Лошади забили копытами в своих стойлах, и цепи зазвенели. Голоса снаружи стали громче и звонче.

Из-за крайнего стойла послышался голос старого Кэнди:

— Ленни,— позвал он.— Эй, Ленни! Ты здесь? Я придумал еще кое-что. Вот что мы можем сделать, Ленни...— Старый Кэнди появился из-за крайнего стойла.— Эй, Ленни! — позвал он снова и вдруг остановился как вкопанный. Он потер культей белую щетину на щеке.— Я не знал, что вы здесь,— сказал он жене Кудрявого.

Она не ответила. Тогда он подошел ближе.

— Не дело вам здесь спать,— сказал он неодобрительно; а потом он подошел вплотную и...

— О господи! — Он беспомощно огляделся и потер подбородок. Затем повернулся и выбежал из конюшни.

Конюшня уже ожила. Лошади били копытами, фыркали, жевали соломенную подстилку и звенели цепями. Через мгновение Кэнди вернулся.

Следом за ним вошел Джордж.

— Так что ты хотел мне сказать? — спросил Джордж.

Кэнди указал на лежащую женщину. Джордж удивленно уставился на нее.

— Что с ней? — спросил он. Потом подошел поближе и сказал точь-в-точь как Кэнди: — О господи!

Он опустился рядом с ней на колени и приложил руку к ее груди. А когда он, наконец, встал, медленно и с трудом, лицо его было словно из дерева и взгляд застыл.

— Кто это сделал? — спросил Кэнди.

Джордж посмотрел на него пустыми глазами.

— А ты не понимаешь? — спросил он. И Кэнди умолк. — Я должен был предвидеть это, — сказал Джордж беспомощно. — В душе я чувствовал, что так будет.

— Что же нам теперь делать, Джордж? — спросил Кэнди. — Что делать?

Джордж долго не отвечал.

— Вот что... Надо сказать... им всем. Надо поймать его и посадить под замок. Нельзя позволить ему убежать. Ведь этот бедный дурак умрет с голоду. — Он попытался ободрить себя: — Может, они его не тронут, просто посадят под замок, и все.

Но Кэнди сказал взволнованно:

— А по-моему, надо помочь ему убежать. Ты не знаешь Кудрявого. Кудрявый захочет линчевать его. Он его убьет.

Джордж внимательно смотрел, как шевелятся губы у Кэнди.

— Да, — сказал он наконец. — Да, Кудрявый это сделает. И другие тоже.

И он снова посмотрел на мертвую женщину.

Тогда Кэнди заговорил о том, что беспокоило его больше всего:

— Но мы с тобой все равно купим это ранчо, правда, Джордж? Переедем и заживем там, правда, Джордж? Правда?

Но еще прежде чем Джордж ответил, Кэнди потупил голову и устал вился в пол. Он все понял.

Джордж сказал тихо:

— Мне кажется, я знал это с самого начала. Кажется, я знал, что этому не бывать. Он любил слушать про это, и я сам поверил...

— Значит... все кончено? — спросил Кэнди с тоской.

Джордж не ответил. Он сказал:

— Поработаю до конца месяца, получу свои пятьдесят долларов и закачусь на всю ночь к девочкам. Или буду сидеть в бильярдной до тех пор, пока все не разойдутся по домам. А потом вернусь и буду работать еще месяц, и получу еще пятьдесят долларов.

Кэнди сказал:

— Он такой славный малый. Никогда не думал, что он может такое сделать.

А Джордж все смотрел на женщину.

— Ленни сделал это без злого умысла, — сказал он. — Он, бывало, часто натворит чего-нибудь, но всегда без умысла. — Он выпрямился и повернулся к Кэнди. — А теперь слушай. Нужно сказать всем. Они, наверно, его поймут. Ничего не поделаешь. Может, они его не тронут. — И добавил резко: — Я не дам им тронуть Ленни. Слушай же. Они могут подумать, что я тоже в этом замешан. Я пойду в барак. А немного погодя ты выйдешь и скажешь всем про нее, и я тоже приду, будто ничего не видел. Сделаешь это? Тогда никто на меня не подумает.

— Конечно, Джордж, — сказал Кэнди. — Конечно, я это сделаю.

— Ну ладно. Тогда обожди несколько минут, а потом выбежишь и скажешь, будто только что ее нашел. А я пойду.

Джордж повернулся и быстро вышел из конюшни.

Старый Кэнди проводил его взглядом. Потом он беспомощно поглядел на женщину, и вся его досада вылилась наружу.

— Ты, шлюха несчастная,— сказал он злобно.— Добилась своего? Теперь небось рада? Все знали, что с тобой не миновать беды. Какой от тебя был толк? И теперь нет никакого толку, дрянь ты последняя.— Он всхлипнул, и голос его задрожал.— А я мог бы работать на огороде и мыть посуду для ребят.— Он помолчал, потом продолжал монотонно, снова повторяя все те же слова:— «А если придет цирк или будет бейсбольный матч... мы пойдем туда... скажем: «К черту работу»,— и пойдем. Никого не будем спрашивать... У нас будет свинья и куры... а зимой... пузатая печка... и дождь... И мы будем сидеть у печки»...

Глаза его затуманились слезами, он потер культией щетинистую щеку, повернулся и поплелся к двери.

Шум игры смолк. Послышались удивленные крики, топот бегущих ног, и в конюшню ворвались люди — Рослый, Карлсон, молодой Уит, Кудрявый и Горбун, который держался позади всех. Потом вошел Кэнди, а последним — Джордж. Джордж успел надеть свою синюю куртку, застегнулся на все пуговицы и низко надвинул на лоб черную шляпу. Мужчины, обогнув крайнее стойло, в полумраке отыскивали глазами женщину и остановились.

Потом Рослый тихонько подошел и пощупал у нее пульс. Он коснулся пальцами ее щеки, потом подsunул руку и ощупал ее вывернутую шею. Когда он выпрямился, все, толпясь, подступили ближе. Чары были разрушены.

Кудрявый вдруг встрепенулся.

— Я знаю, кто это сделал! — заорал он.— Это тот здоровенный сукин сын! Кроме него никому. Ведь все остальные играли в подкову.

И он начал себя распалывать:

— Ему от меня не уйти. Вот только возьму ружье! Своей рукой пристрелю этого сукина сына! Кишки ему выпущу. Пошли, ребята!

Он в ярости выбежал из конюшни.

Карлсон сказал:

— Возьму револьвер,— и выбежал вслед за ним.

Рослый медленно повернулся к Джорджу.

— Видно, это и вправду Ленни сделал,— сказал он.— У нее шея сломана. С Ленни это случится.

Джордж не ответил, только медленно кивнул. Шляпа его была надвинута низко, на самые глаза.

— Может, это было как тогда, в Уиде, помнишь, ты рассказывал,— продолжал Рослый.

И Джордж снова кивнул. Рослый вздохнул.

— Что ж, надо его поймать. Как думаешь, где он?

Джордж сказал, помедлив, с трудом выдавливая из себя слова:

— Он... наверно, пошел на юг. Мы пришли с севера, так что теперь он должен был пойти на юг.

— Надо его поймать,— повторил Рослый.

Джордж подошел к нему поближе.

— Нельзя ли привести его сюда и посадить под замок? Он ведь ненормальный. Он сделал это без умысла.

Рослый кивнул.

— Можно,— сказал он.— Если только удержать Кудрявого. Но Кудрявый хочет его пристрелить. Кудрявый еще не забыл про свою руку. Но даже если его посадят под замок, то отхлещут ремнем и навсегда упекут за решетку. Хорошего мало, Джордж.

— Знаю,— сказал Джордж.— Знаю.

В конюшню вбежал Карлсон.

— Этот подлец украл мой револьвер! — крикнул он.— Его нет в мешке!

Вслед за ним вошел Кудрявый, неся в здоровой руке ружье. Он теперь был спокоен.

— Ничего, ребята,— сказал он.— У черномазого есть дробовик. Возьми, Карлсон. Как увидишь его, смотри не упусти. Стреляй прямо в брюхо. Он сразу и свалится.

— А у меня нет ружья,— сказал Уит с досадой.

— Ты поезжай в Соледад и сообщи в полицию,— сказал Кудрявый.— Привези сюда Ола Уилтса, помощника шерифа. Ну, пошли.— Он подозрительно повернулся к Джорджу.— Ты тоже пойдешь с нами.

— Да,— сказал Джордж.— Пойду. Но послушай, Кудрявый. Он, бедняга, сумасшедший. Не убивай его. Он сам не знал, что делает.

— Не убивать? — крикнул Кудрявый.— Да у него револьвер Карлсона! Пристрелим его, и конец.

— А что, если Карлсон сам потерял револьвер? — слабо возразил Джордж.

— Я его видел сегодня утром,— сказал Карлсон.— Нет, ясное дело, его украли.

Рослый все стоял, глядя на жену Кудрявого. Он сказал:

— Кудрявый... может, тебе лучше остаться здесь, с ней?

Кудрявый побагровел.

— Нет, я пойду,— сказал он.— Я выпущу этому подлецу все кишки. Сам это сделаю, хотя у меня только одна рука. Ему от меня не уйти.

Рослый повернулся к Кэнди.

— Ну, тогда останься ты с ней, Кэнди. А мы пойдем.

И они ушли. Джордж помешкал около Кэнди — оба они смотрели на мертвую женщину. Но тут Кудрявый крикнул:

— Эй ты, Джордж, не отставай, а то как бы мы про тебя чего не подумали!

Джордж медленно побрел вслед за ними, с трудом волоча ноги.

Когда они ушли, Кэнди сел на корточки, глядя на мертвое лицо.

— Бедняга,— сказал он тихо.

Шаги и голоса затихли вдаль. В конюшне становилось все темнее, лошади в стойлах били копытами и звенели цепями. Старый Кэнди лег на сено и прикрыл глаза рукой.

VI

В эту предвечернюю пору глубокая зеленая заводь реки Салинас была недвижна. Солнце уже не освещало долину, его лучи скользили по склонам хребта Габилан, и горные вершины розовели в этих лучах. А на заводь, окруженную пятнистыми стволами сикомор, падала благодатная тень.

Водяная змейка бесшумно скользнула по воде, поворачивая голову, как перископ, из стороны в сторону; она переплыла заводь и очутилась у самых ног цапли, неподвижно стоявшей на отмели. Клюв цапли метнулся вниз, она ухватила извивающуюся змейку за голову и проглотила ее.

Порыв ветра налетел откуда-то издалека и волной прокатился по кронам деревьев. Листья сикомор обернулись против ветра своей серебристой подкладкой, бурая палая листва поднялась в воздух и, пролетев несколько футов, снова опустилась на землю. Зеленая вода подернулась мелкой рябью.

Ветер улегся так же мгновенно, как и поднялся, и на поляне снова все замерло. Цапля стояла у берега, неподвижная, выжидающая. Другая водяная змейка плыла по заводи, поворачивая голову, как перископ, из стороны в сторону.

Вдруг из кустов появился Ленни. Он шел тихо, как медведь, под-

крадывающийся к улью. Цапля замахала крыльями, поднялась над водой и полетела к низовьям реки. Змейка скрылась в прибрежном камыше.

Ленни тихо подошел к заводу. Он встал на колени и напился, припав губами к воде. Какая-то птичка зашелестела позади него в сухих листьях. Он вздрогнул и прислушался, озираясь, потом увидел птичку, опустил голову и снова стал пить.

Напившись, он сел на землю, боком к реке, чтобы видеть тропу. Обхватил колени руками и положил на них подбородок.

Свет медленно уходил из долины, и поэтому вершины гор, казалось, сверкали еще ярче.

Ленни сказал тихо:

— Я не забыл, нет. Спрятаться в кустах и ждать Джорджа.— Он низко надвинул шляпу на лоб.— Джордж задаст мне жару,— прошептал он.— Скажет: «Ах, если б я был один и ты не висел у меня на шее»...— Он повернул голову и поглядел на залитые солнцем вершины гор.— Я могу пойти туда и найти пещеру,— сказал он и печально добавил:— И никогда не есть кетчупа. Но все равно. Если Джорджу я не нужен... Я уйду, уйду.

И тут Ленни показалось, будто прямо из его головы появилась полная старушка. На ней были очки с толстыми стеклами и большой полосатый фартук с карманами. Вся одежда ее была чистая, накрахмаленная. Она стояла перед Ленни подбоченьясь и неодобрительно хмурилась.

И она заговорила голосом самого Ленни:

— Сколько раз я тебе толковала, чтоб ты слушался Джорджа,— сказала она.— Он такой хороший человек и так добр к тебе. Но ты и ухом не повел. Ты одно знал— как бы чего-нибудь натворить.

И Ленни ответил:

— Я старался, тетя Клара, мэм. Все время старался. Но у меня ничего не выходило.

— Ты совсем не думал о Джордже,— продолжала она голосом Ленни.— А он все время о тебе заботился. Когда у него был кусок пирога, он всегда отдавал тебе половину или даже больше половины. А если был кетчуп, он отдавал тебе весь.

— Я знаю,— сказал Ленни жалобно.— Я старался, тетя Клара, мэм. Все время старался.

Она перебила его:

— А ведь если б не ты, он и горя не знал бы. Получил бы свои деньги и развлекался бы с девочками или на бильярде играл. Но ему нужно было о тебе заботиться.

Ленни застонал от раскаянья.

— Я знаю, тетя Клара, мэм. Я уйду в горы, найду пещеру и стану жить в ней и больше не буду доставлять хлопот Джорджу.

— Ты это только так говоришь,— сказала она резко.— Ты всегда так говорил, а сам знаешь, распросукин ты сын, что никогда этого не сделаешь. Так и будешь тянуть из Джорджа жилы.

— Но я могу уйти. Все равно Джордж теперь не позволит мне кормить кроликов.

Тетя Клара исчезла, и у Ленни из головы выпрыгнул огромный кролик. Он присел на задние лапы, пошевелил ушами и сморщил нос. И тоже заговорил голосом Ленни:

— Кормить кроликов,— сказал он презрительно.— Дурак полоумный! Да ты недостойн пятки кроликам лизать. Ты позабудешь про них, и они останутся неокормленные. Вот и все. Что тогда скажет Джордж?

— Я не позабуду!— крикнул Ленни.

— Нет, позабудешь,— сказал кролик.— Ты не стоишь тех ржавых гвоздей, которыми черти тебя в аду распнут. Бог свидетель, Джордж

сделал все, чтоб вытащить тебя из грязи, да без толку. Если ты думаешь, что Джордж позволит тебе кормить кроликов, значит, ты совсем с ума спятил. Черта с два. Он выбьет из тебя дурь палкой, вот что он сделает.

Ленни возразил вызывающе:

— Он не сделает этого. И не подумает. Я знаю Джорджа с... не помню уж, с каких пор... и он никогда на меня палкой даже не махнул. Он меня любит. Он добрый.

— Но ты ему осточертел,— сказал кролик.— Он из тебя выбьет дурь, а потом бросит тебя и уйдет.

— Он этого не сделает! — крикнул Ленни отчаянно.— И не подумает. Я знаю Джорджа. Мы с ним вместе живем.

Но кролик все повторял тихо:

— Он бросит тебя, дурак ты полоумный. Бросит здесь одного. Он бросит тебя, дурак полоумный.

Ленни зажал уши.

— Не бросит, говорю тебе, не бросит.

И он закричал:

— Эй! Джордж, Джордж, Джордж!

Джордж тихо вышел из кустов, и кролик юркнул обратно в голову Ленни.

Джордж сказал тихо:

— Чего ты кричишь?

Ленни привстал.

— Ты ведь не бросишь меня, правда, Джордж? Я знаю, не бросишь. Джордж медленно подошел и сел рядом с ним.

— Нет.

— Я знал это! — воскликнул Ленни.— Ты не такой!

Джордж молчал.

Ленни сказал:

— Джордж.

— А?

— Я опять натворил беду.

— Это неважно,— сказал Джордж и снова замолчал.

Лишь самые макушки гор были теперь освещены солнцем. В долине царил голубоватый и мягкий сумрак. Вдалеке послышался мужской голос, и ему откликнулся другой. Джордж повернул голову и прислушался.

Ленни сказал:

— Джордж.

— Да?

— Ты не задашь мне жару?

— Тебе жару?

— Ну конечно, как всегда. Вот так: «Если б не ты, я взял бы свои полсотни долларов...»

— Господи, Ленни! Ты не помнишь ничего, что с тобой случается, но помнишь каждое мое слово.

— Разве ты не скажешь мне это?

Джордж сделал над собой усилие. Он сказал деревянным голосом:

— Будь я один, я бы и горя не знал.— Голос у него был монотонный, безжизненный.— Работал бы себе, и никаких неприятностей...

Он замолчал.

— Дальше,— сказал Ленни.— «А в конце месяца...»

— А в конце месяца я получал бы свои полсотни долларов и шел развлекаться с девочками...

Он снова замолчал.

Ленни нетерпеливо посмотрел на него.

— Говори дальше, Джордж. Разве ты не задашь мне еще жару?
— Нет,— сказал Джордж.
— Что ж, я могу уйти,— сказал Ленни.— Если я тебе не нужен, пойду в горы и найду пещеру.
Джордж снова сделал над собой усилие.
— Нет,— сказал он.— Я хочу, чтоб ты остался со мной.
Ленни сказал лукаво:
— Тогда расскажи мне, как раньше...
— Про что рассказать?
— Про других и про нас.
Джордж сказал:
— У таких людей нет семьи. Они заработают немного, а потом все промотают. Они без роду, без племени, никто о них не заботится...
— «Другое дело — мы!» — радостно воскликнул Ленни.— Расскажи теперь про нас.
Джордж помолчал немного.
— Другое дело — мы,— сказал он.
— «Потому что...»
— Потому что у меня есть ты...
— «А у меня — ты. Мы с тобой всегда вместе, мы друг о друге заботимся!» — воскликнул Ленни с торжеством.
Легкий вечерний ветерок пронесся по поляне, зашелестели листья, и рябь пошла по зеленой заводи.
И снова раздалась крики, теперь уже гораздо ближе.
Джордж снял шляпу. Он сказал дрожащим голосом:
— Сними и ты шляпу, Ленни. Сегодня тепло.
Ленни послушно снял шляпу и положил ее на землю перед собой. Сумрак в долине стал голубым — быстро вечерело. Ветер донес до них треск кустов.
Ленни попросил:
— Расскажи, как это будет.
Джордж прислушивался к дальним звукам. Вид у него теперь был сосредоточенный.
— Гляди вон туда за реку, Ленни, а я буду рассказывать, и ты как будто увидишь все своими глазами.
Ленни отвернулся от него и стал смотреть через заводь на темнеющие склоны гор.
— У нас будет маленькое ранчо,— начал Джордж. Сунув руку в боковой карман, он вынул револьвер Карлсона; взвел курок и положил револьвер на землю за спиной у Ленни. Он поглядел Ленни в затылок.
Со стороны реки донесся мужской голос, и другой откликнулся.
— Говори дальше,— сказал Ленни.
Джордж поднял револьвер, но рука его задрожала и опустилась.
— Дальше,— сказал Ленни.— Расскажи, как это будет. У нас будет маленькое ранчо...
— У нас будет корова,— сказал Джордж.— А еще, пожалуй, свинья и куры... а на лугу... посеем люцерну...
— Для кроликов! — подхватил Ленни.
— Для кроликов,— повторил Джордж.
— И я буду кормить кроликов.
— И ты будешь кормить кроликов.
Ленни радостно засмеялся.
— И мы будем сами себе хозяева.
— Да.
Ленни обернулся.
— Нет, Ленни, гляди туда, за реку, ты все увидишь своими глазами. Ленни повинился. Джордж посмотрел на револьвер.

В кустах послышался треск и громкие шаги. Джордж повернулся на шум.

— Говори же, Джордж. Когда все это будет?

— Скоро.

— Мы будем там жить с тобой вдвоем.

— Да. Мы... вдвоем... Тебя никто не обидит, и никаких неприятностей. Никто не будет у тебя ничего отбирать.

Ленни сказал.

— А я думал, ты рассердишься на меня, Джордж.

— Нет,— сказал Джордж.— Нет, Ленни. Я не сержусь. Я никогда не сердился на тебя, и теперь тоже. Я хочу, чтоб ты это знал.

Голоса раздавались уже совсем близко. Джордж поднял револьвер и прислушался.

Ленни попросил:

— Давай купим ранчо сейчас. Прямо сейчас.

— Ну конечно, сейчас. Я... мы...

Джордж уставил дуло прямо Ленни в затылок. Рука у него тряслась, но лицо было решительно, и он совладал с дрожью. Он спустил курок. Грохот выстрела прокатился по долине и отдался эхом в горах. Ленни дернулся, потом медленно повалился вперед, на песок, и замер.

Джордж вздрогнул, посмотрел на револьвер, потом отшвырнул его назад, на кучу золы.

На поляне послышались крики и быстрый топот ног. Раздался голос Рослого:

— Джордж! Ты где, Джордж?

Но Джордж недвижимо сидел на берегу и смотрел на свою правую руку, которой отшвырнул револьвер. Люди выбежали на поляну. Кудрявый был впереди. Он увидел Ленни, лежавшего на песке.

— Готов,— сказал он, подходя. Он поглядел на Ленни, потом на Джорджа.— Прямо в затылок,— добавил он тихо.

Рослый подошел к Джорджу и сел рядом с ним, почти касаясь его плечом.

— Что ж,— сказал он.— Бывает, и такое приходится делать.

Карлсон стоял тут же.

— Как это ты сделал? — спросил он.

— Просто сделал, и все,— ответил Джордж устало.

— У него был мой револьвер?

— Да.

— А ты отобрал револьвер и застрелил его?

— Да.— Джордж говорил почти шепотом. Он снова поглядел на свою правую руку.

Рослый взял Джорджа за плечо.

— Пойдем, Джордж. Пойдем, мы с тобой выпьем чего-нибудь.

Он помог Джорджу встать. Тот не сопротивлялся.

— Выпьем.

Рослый сказал:

— Ты должен был сделать это, Джордж. Должен. Пойдем.

И он повел Джорджа по тропе в сторону шоссе.

Кудрявый и Карлсон поглядели им вслед. Карлсон сказал:

— И что это их так гложет обоих, не пойму.

Перевод с английского В. Хинкиса



«ЧАЙКА»

1

Шар земной! Поверни ближе
Левую щеку, профиль орлиный,
Ту, на которой стоят Парижи,
Лондоны и Берлины.

* * *

Ночь еще посапывала бурно.
Публика взволнована, как буря.
Закипает вся цивилизация,
Недавно у столиков сонная:
По Парижу гордо идет

сенсация —
Лучшая женщина сезона.
Над пьяными, над барами,
над крышами:
«Вы слышали? Вы слышали?
Вы слышали?
В космосе, в космосе, в космосе,
Женские волосы, волосы, волосы...
Русые, русые, русые, русые,
Русские, русские, русские,
русские».
«Русские?!» — губы в улыбке
узкие...

«Ах, эти русские...»
«О, эти русские!»

Ходит сенсация, дышит сенсация,
Голосом прессы гудит...
И, запрокинув голову, Франция
В звездное небо, в спокойное
небо,
в парижское небо глядит.

* * *

Гордым, чопорным, выбритым
лордом
Спит спокойно холодный Лондон.
Равнодушием лица одеты...
Но защелкиваются двери,
И стекло прилипает к портьере —
Злостью корчатся кабинеты:
«Вы слышали, сэр?
Опять СССР!»
Но сквозь эти вопли отчаянные
С космического корабля
Летят позывные:
«Я «ЧАЙКА», Я «ЧАЙКА»,
Слушай мой рапорт, Земля!»
И далекие, может, от всяких
партий,

С нищетою наедине,
Улыбнутся простые английские
парни
Женщине в космосе, как жене.

* * *

Июнь, весь пестрый от ситца.
За окнами русское лето.
И трудно поверить, что где-то
Над картами до рассвета
Просиживают убийцы
В мундирах черного цвета.
У них одна забота,
Чтоб грянул над миром гром.
Небо — для самолетов,
Земля — для бомб!
Желания их просты:
Чтоб на мундирах — кресты,
Чтоб на могилах — кресты.
Да, мужчина родится воином.
Не убийцей, прощенным кодексом.
Да, мужчине участвовать в войнах
С необъятным могучим космосом.
Так бросьте ж бессонницы
желчные
И расчеты свои большие,
Поклонитесь бесстрашной
женщине,
Повидавшей миры иные!

* * *

Нью-Йорк вечерами красен
и желт
Свыше всякой нормальной мерки.
Статуя Свободы факелом жжет
Темное небо Америки.
Спит Нью-Йорк и не спит
Нью-Йорк.

Отчего Нью-Йорку не спится?
Ночь. В Нью-Йорке работает
морг
И полиция.
А утром любая натянута мысль,
Читая газетные колкости:
«Русская мисс
В космосе!»
«Конечно, она говорит на Марсе
Марсианам о Марксе?!»
Небоскребы карабкаются
к космосу ближе,
Языки реклам небо лижут.
И бизнесмены поглядывают косо

На такой необъятно доходный
космос.

Будто там, за мирами долгими,
Растут на планетах доллары.

А тут вдруг в широкие дали
космоса,

Как птица, гордая, вещая,
Улетает русская женщина.
Глаза у сэрвов круглее компаса,
Улыбки — на лицах трещины:
Кто эта женщина?

Единственный шанс проигранного
тура —

А-ген-ту-ра!

Но только банкиры мучают зря
Агентов и глаза телескопа:

О ней говорит вся земля,
У всех на устах лишь одно:

ТЕРЕШКОВА!

* * *

Не приходят холодные зимы
Хрустеть здесь лютым морозом...

Почему же у Хиросимы
В раскосых глазах — слезы?

Люди падали молча замертво
Под смертельной взрывной
волной...

Вот она, наука Запада,
Названная войной!

Небо ласково, небо сине,
Будто смерч никогда здесь
не был...

«Что от неба ждешь, Хиросима?»
«Только бомбы падают с неба...»

Верю в дело умных и сильных,
Тех, кто делает былью небыль...
Нагасаки и Хиросима!

Вы еще поверите в небо!
В небо светлое, в самое светлое,
Где не бомбы, а журавли.

Для того корабли советские.
Отрываются от земли.

2

Люди! Слушайте мой голос!
Голос моих девятнадцати лет!
Я захочу — улечу в космос
Читать стихи людям

других планет.
Пусть их нет, или вовсе они

не люди,
Но с прилетом первого корабля

Знаю, самым святым для них
будет

Незнакомое слово ЗЕМЛЯ.

* * *

Женщины, как ветер мая, легкие,
Первые комбайнеры и летчицы,

Медики, конструкторы, радистки,
Космонавтов Родине родившие,

А сейчас в космической дали
Понесли вас чудо-корабли.

Это не мечта и не мистерия.
Это факт. Вселенная, держись!

И бессмертна, как сама материя,
Мать, дарующая миру жизнь.

А моя Россия дарит миру мир,
Облетая его на космической

скорости.
Воспевай мою Россию, целый

мир.
Эту первую женщину в космосе!

О голос завистника, смолкни,
замри,

Послушай, кого я славлю!
Взгляни, я кланяюсь до земли
Городу Ярославлю!

Кланяюсь я народу всему
За технику, за науку.

Я крепко и благодарно жму
Моему комсомолу руку.

И пусть гремит оркестровая медь
Во все духовые силы,

Такая «Чайка» могла взлететь
Только с земли России.

Когда-то, много лет тому назад, Горький писал мне: «Мне кажется, что Вам пора бы перенести Ваше внимание из областей и стран неведомых в русский, современный, достаточно фантастический быт. Он подсказывает превосходные темы, например: о черте, который сломал себе ногу,— помните: «Тут сам черт ногу сломит», о человеке, который открыл лавочку и продает в ней мелочи прошлого,— человек этот может быть антикваром, которого нанял Сатана для соблазна людей, для возбуждения в них бесплодной тоски о вчерашнем дне...»

Уже не раз в других произведениях я пытался осуществить мысль Горького. Я написал, например, сказку о великом завистнике. Один из ее героев носит железный пояс, чтобы не лопнуть от зависти, а другой так ловко попадает соседу «не в бровь, а в глаз», что приходится вызывать «скорую помощь».

Кажется, в новом рассказе мне удалось подойти к замыслу Горького несколько ближе, чем прежде. В его основе — традиционная русская сказка о Снегурочке. Но действие его происходит в наши дни, в Москве, его герои обыкновенные советские люди. В подавляющем большинстве это — хорошие люди, иначе они, без сомнения, не беспокоились бы так сильно о том, что весной моя Снегурочка растет! Я заботился на этот раз не только о характерах отнюдь не сказочных, а вполне реальных. И не только о том, чтобы сказочный сюжет опирался на современную бытовую основу. Мне хотелось написать веселую вещь — такую, чтобы ее, улыбаясь, читали и взрослые и дети.

ЛЕГКИЕ ШАГИ

Фантастический рассказ

Рисунки Б. Шейнеса

I

Шум приближающегося поезда послышался издалека, круглый столб расширяющегося света несся перед ним, и вдруг стали видны станция, ларек «Пиво-воды», знакомый возчик из дома отдыха Престарелых Грачей, который стоял у ларька, держа кружку с пивом, и даже вылезавшая из кружки лопающаяся пена. Поезд налетел, пролетел, оставив всех в темноте, в тишине. Но прежде чем он пролетел, Петька ясно увидел какую-то девочку, перемахнувшую по воздуху через рельсы перед самым фонарем электрички. Он ахнул, возчик тоже сказал: «Ух ты!» Но когда улеглись поднятые поездом снежные вихри, на той стороне не оказалось никого, кроме двух баб, закутанных так, что их можно было принять за двигающиеся мешки с картошкой.

Теперь до Немухина было недалеко, и Петька прибавил шагу. О девочке он подумал научно: «Обман чувств». Он любил обо всем думать научно. Но это не было обманом чувств, потому что через несколько минут он увидел ее на углу Нескорой и Малинового переулка. Она стояла, поглядывая по сторонам, точно размышляя, куда бы ей еще слетать,— такой у нее был воздушный вид. На ней было короткое ситцевое платье с большим бантом на спине, а за плечами что-то вроде на-

кидочки. Она была без пальто, и это показалось Петьке интересным, но тоже не вообще, а с научной точки зрения.

— Хрю-хрю,— сказал он.

Девочка обернулась. Пожалуй, надо было поздороваться, но он поздоровался в уме, а вслух сказал:

— А пальто где? В школе забыла?

— Извините,— сказала девочка и присела.— Я еще не знаю, что такое «пальто».

Она, конечно, шутила. Любила же Петькина тетка говорить: «Я не знаю, что такое «насморк».

— А где ты живешь?

— Нигде.

— А конкретно?

— Извините,— сказала девочка.— Я еще не знаю, что такое «конкретно».

— Между тем пора бы и знать,— рассудительно заметил Петька.— Тебе сколько лет?

— Второй день.

Петька засмеялся. Девочка была беленькая, а ресницы — черные, и каждый раз, когда она взмахивала ими, у Петьки — ух! — с размаху куда-то ухало сердце.

— Теперь я вас хочу спросить,— сказала девочка.— Скажите, пожалуйста, что это за штука?

Она показала на луну.

— Тоже не знаешь?

— Нет.

— Эта штука называется Луна,— сказал Петька.— Ты случайно с нее не свалилась?

Девочка покачала головой.

— Нет, я из снега,— серьезно объяснила она.— Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил какой-то старик с бородой. Он посмотрел на меня... то есть не на меня, потому что меня тогда еще не было, а на снежную бабу и сказал сердито: «Ну нет, и без тебя на дворе довольно бабья».

Она рассказывала спокойно, неторопливо, и Петька заметил, что когда он говорит, изо рта идет пар, а у девочки не идет.

— Мальчишки ушли, а он меня переделал. На голове у меня было дырявое ведро,— он его сбросил, в руках — швабра,— он ее вынул. Все время он бормотал: «В этом деле я не специалист»,— когда делал прическу. «А теперь устроим ей ножки»,— когда устраивал ножки. Я не слышала, потому что меня еще не было, но, наверно, я уже отчасти была, потому что я все-таки слышала. С глазами не получалось,— сказала она с огорчением.— А потом получилось. Вот.

Она взмахнула ресницами, и у Петьки — ух! — куда-то с размаху ухнуло сердце.

— В общем, я получилась у него так хорошо, что открыть глаза и заговорить — это было не так уж и трудно.

— И ты заговорила?

— Не сразу. Сперва вздохнула.

— Что же ты сказала?

— Не помню. Кажется: «Добрый вечер».

— А он?

— Он? «Ах ты, моя душенька!» И ушел.

— Странная история,— сказал Петька.

Они были теперь недалеко от Немухина. Впрочем, Петька — то далеко, то близко. У него были очень длинные ноги, и он, задумываясь, уходил от девочки, а потом спохватывался и возвращался.

По Нескорой всегда плелись нехотя, вразвалку. Такая уж была улица, располагавшая к лени! Немухинский сельсовет переименовал ее было в Какпулясовсебнопроносященскую, но из этого ничего не вышло — все сразу начинали плестись, едва сворачивали на нее с Машиного переулка. Но Петька, устроив девочку в деревянном сарае, где было так холодно, что даже дрова покряхтывали и, чтобы согреться, толкали друг друга боками, действительно пролетел эту улицу как пуля. Дело в том, что на этой улице жил Трубочный Мастер. Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым — тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел в кресле, скрестив короткие ножки.

Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо: «Внимание! Злая собака», было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии медицинских наук вход запрещен». Всех он спрашивал: «Простите, а вы случайно не врач?» Когда Петька влетел к нему, запыхавшись, он тоже начал было: «Простите, а вы случайно...»

— Дяденька, необыкновенный случай! — закричал Петька. — Морозоустойчивая девчонка!

И он рассказал о девочке, которая не знает, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно».

— Любопытно, — сказал, подумав, Трубочный Мастер. — Очевидно, Снегурочка. Подождем до весны.

— Почему до весны?

— Потому что весной Снегурочки тают.

— Дяденька, — помолчав, сказал Петька, — а нельзя ли, чтобы она все-таки как-нибудь...

— Ну, знаешь! Это уж слишком. Ты же сам говоришь, что она из снега.

— Да, дяденька! Но все-таки как-нибудь... Ведь есть же на свете, например, вечная мерзлота. Она не тает?

— Мерзлота — нет. А Снегурочки — да.

Мастер, набив в трубку табаку, умял его коротким желтым пальцем, закурил и стал думать. Пуф-пуф! Большие важные кольца дыма стали медленно подниматься в воздух, а за ними — пуф-пуф — покати-

Первые книги Вениамина Александровича Каверина — это сборники фантастических рассказов. В 1928 году он написал свой первый роман «Скандалист или Вечера на Васильевском острове». Затем вышли роман «Исполнение желаний» (1934 г.) и трилогия «Открытая книга» (1946—1956 гг.).

В 1938 году В. Каверин начал печатать роман «Два капитана». Этот роман, законченный писателем в 1944 году, был удостоен Государственной премии.

Во время войны В. Каверин работал военным корреспондентом газеты «Известия» на Северном флоте.

За последние годы вышли книги «Неизвестный друг», «Избранное» и напечатаны повести «Семь пар нечистых» и «Косой дождь».



лись мохнатые голубые клубочки. Это значило, что вопрос сложный. Когда Трубочный Мастер обдумывал несложный вопрос, он просто пускал дым из ноздрей.

— Не знаю, не знаю, — наконец сказал он. — Разве что послать ее в Институт Вечного Льда? Я немного знаком с директором. Он, кстати, сам из бывших Дедов Морозов.

И он написал: «Уважаемый Павел

Георгиевич! Поручаю Вашему вниманию прилагаемую к сему девочку без пальто. По-видимому, морозоустойчива. Есть опасение, что растает к весне. Не хотелось бы».

Он отдал записку Петьке.

— Спасибо, дяденька!

Но Мастер уже забыл о нем. Он открыл окно, дым повалил наружу, и соседи, как всегда, испугались, что в поселке пожар, а потом, как всегда, успокоились, вспомнив о старом Мастере Трубок.

3

Директор Института Вечного Льда был плотный румяный человек с седеющей бородой и бесформенным носом между розовых щек. О нем говорили: «Хорош, но со странностями». И действительно — странности были. Летом он чувствовал себя не в своей тарелке, а зимой — в своей. Летом был зол и нетерпелив, а зимой — свеж и болтлив. В отпуск он уходил в январе и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом. Фамилия его была Тулупов.

— Как-никак это все-таки чудо, — прочитав записочку, сказал он Петьке. — А чудеса надо изучать, потому что это — воздух науки.

И он приказал поместить девочку в холодильник Номер Один.

Это был самый обыкновенный холодильник, только очень большой. Так что там, где было написано «Мясо», лежало много мяса, а где «Фрукты» — очень много фруктов и овощей. Над дверью, когда она открывалась, зажигался большой голубой шар, а на стенках внутреннего шкафа был такой толстый иней, что Снегурочка могла бы писать на нем, если бы она умела писать. Для удобства кто-то предложил называть ее И. О. (исполняющая обязанности) Снегурочки, но директор сказал, что это вздор, и девочку стали называть просто Настей.

Но была ли она Снегурочкой? Вот вопрос, который интересовал решительно всех, но больше всех, разумеется, ученых. Это было время, когда много писали о Снежном человеке, который будто бы живет в Гималаях, и один из ученых предположил, что Настенька — дальняя родственница этого дикаря, который только и делает что ходит, оставляя огромные следы на снегу. Другой, много лет изучавший «Сказку о Золотом Ключике», пытался доказать, что неизвестный старик, вылепивший девочку из снега, не кто иной, как папа Карло, который вырезал Буратино из полена.

Почти каждый день ученые, надев шубы и валенки, отправлялись в холодильник, и Настенька терпеливо рассказывала им свою историю. Ох, как они ей надоели! Особенно один с синим носом, который то и дело дышал на пальцы и хлопал в ладоши, чтобы согреться. Глаза у него почему-то бегали, но когда ему говорили об этом, он отвечал, что это ничего, потому что иногда они бегают даже у великих людей.

Теперь Настенька знала, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно». В холодильнике у нее был порядок. Все хорошо, едва попадало к ней в руки. Соленое мясо начинало выглядеть свежим, рыба — живой, а на сыре выступали аппетитные слезы. Что касается холода — нечего и говорить! В холодильнике было холодно, как на Северном полюсе или даже как на Южном, потому что на Южном, говорят, еще холоднее.

Плохо было только одно: она очень скучала. Правда, Петька рассказывал Настеньке о своих делах, а она ему — о своих. Он — о том, что у них злющая завуч и что, когда Настенька научится читать, он принесет ей «Тайнственный остров», а она — что ей очень скучно. Холодильник зашумит, а ей кажется, что это ветер шумит. Ученые надоели, осо-

бенно один с синим носом, который все старается ковырнуть ее пальцем. Луны в холодильнике нет, а ведь говорят, что кроме луны есть еще и какое-то солнце. Правда, ученые говорят, что она должна бояться солнца, но ей все-таки хочется на него посмотреть.

Петьке было страшно дотронуться до Настеньки, но он легонько хлопал ее по плечу и говорил:

— Ничего, Настасья, держись!

Потом она говорила ласково:

— Идите, Петенька. Вы замерзли.

Но он сидел, пока ноги у него не становились как деревянные.

И вот однажды, нарочно вскочив пораньше, чтобы приготовить уроки (ему хотелось поехать к Настеньке прямо из школы), Петя включил радио и услышал: «Внимание, внимание! Пропала девочка по имени Настенька из породы Снегурочек, очень хорошенькая, в ситцевом платье, вежливая, ходит легко. О местонахождении просьба сообщить в Институт Вечного Льда».

4

Широко известно, что как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное, сразу же появляются слухи. В тот же день весь город заговорил о том, что некий Персональный Пенсионер, почтеннейший человек со множеством медалей, своими глазами видел девочку в легком платье, которая катилась по улице, как на коньках, а потом — раз! — и взлетела. Не высоко и не из шалости, полагал Персональный Пенсионер, а просто потому, что не могла не взлететь. Его спрашивали: «Почему же все-таки не могла?» Он отвечал, подумав: «Видите ли, она так плавно шла, что положительно не могла не взлететь».

Второй слух касался ласточки, которой надоело каждый год улетать в жаркие страны. Она осталась на зиму в Москве, а в этот день стоял сильный мороз, и нет ничего удивительного в том, что она стала замерзать на лету.

— Падаю,— сказала она и, без сомнения, упала бы, если бы ее не подхватила девочка в легком платье, хорошенькая и очень вежливая: даже с ласточкой она заговорила на «вы».

— Что с вами?

— Я умираю.

— Я бы положила вас за пазуху,— задумчиво сказала девочка,— но боюсь, что там вам будет еще холоднее.

И с ласточкой в руках она побежала дальше.

Третий слух касался Пекаря, который любил говорить о себе: «Я — как одинокий мужчина...» Он любил похвастаться, а похвастаться было не перед кем — ни жены, ни детей. Так вот этот Пекарь только что вытащил из печки минский хлеб и только что сказал другому пекарю: «Я — как одинокий мужчина...», когда какая-то девочка легко вбежала в пекарню и сунула ему за пазуху ласточку. А у Пекаря за пазухой, как известно, тепло, как на Юге.

Но самый интересный слух касался Петькиного дяди. Его звали Костя Лапшин, и он как раз в этот день приехал в Москву.

5

Дядя Костя был хорош тем, что ему до всего было дело. Он только и смотрел, куда бы сунуть свой нос,— это называлось у него поразяться. Нос, кстати сказать, у него был здоровенный.



Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке, сломавшей ногу, с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Все у дяди Кости было на своем месте, как вообще у людей, но почему-то казалось, что не на своем. Глаза у него, например, не смотрели в разные стороны, а казалось как раз, что смотрели. Ногами он, кажется, не загребал или не очень, а казалось, что очень. Волосы он причесывал, как все люди, а казалось, что они у него стоят дыбом. Он был ученый не хуже того с синим носом, который дышал на пальцы и прыгал, а на вид он был вроде Снежного человека — во всяком случае на снегу от него оставались такие же большие следы.

Еще по дороге в Москву он узнал, что пропала девочка из породы Снегурочек и, конечно, сразу же решил сунуть нос в это дело. Но когда он приехал в Немухин и узнал, что Петька, родной племянник, схватил уже не одну, а четыре двойки, потому что только и думал, как бы ему найти эту девочку, дядя Костя не просто сунул нос в это дело, а нырнул в него с головой.

Когда он узнавал, что нужно кому-нибудь помочь, он прежде всего составлял план: как помочь, чем помочь и что делать, чтобы помочь не на словах, а на деле.

Петьке он тоже предложил план: 1. Поговорить с ласточкой, которую спасла Настенька. У ласточки должны быть знакомства среди птиц, а птицы летают повсюду. 2. Опросить всех московских мороженщиц, потому что Настенька, без сомнения, любит все холодное, в частности, эскимо и пломбир. Деньги у нее есть. Пока она жила в холодильнике, считалось, что она как бы в командировке, и Институт Вечного Льда выплачивал ей суточные — 2.60 в день.

6

К сожалению, ласточку найти не удалось, хотя дядя Костя дал объявление в «Вечерку»: «Разыскивается единственная ласточка, оставшаяся на зиму в Москве».

Что касается мороженщиц — не было ничего легче, как опросить их, если бы их не было так много. Они стояли на каждом углу и сердились, что мороженое зимой раскупается хуже, чем летом. Все как одна они были сердитые, и это до крайности затрудняло задачу. Их, конечно, тоже можно было понять: мало радости стоять в замерзшем, твердом фартуке на улице в лютый мороз и кричать как на смех: «А вот кому мороженого!», когда и без мороженого ни у кого зуб не попадает на зуб.



Когда Петька и дядя Костя спрашивали у них: «Простите, пожалуйста, не покупала ли у вас эскимо или пломбир девочка по имени Настенька, сбегавшая из Института Вечного Льда?» — они обычно отвечали: «Пломбира нет». А когда Петька или дядя Костя объясняли, что Настенька не простая девочка, а из породы Снегурочек и что мороженщицы должны принять в ней участие хотя бы

по этой причине, они отвечали: «Девочек много».

День за днем, так и прошла зима. Дядя Костя, хотя и продолжал искать Настеньку, но понемногу начал заниматься своими делами, а Петька начал вздыхать. Сперва он вздыхал два-три раза в день, но чем ближе к весне, тем чаще. Двоек у него больше не было, но он все-таки вздыхал и вздыхал. По вечерам, возвращаясь из школы, он долго стоял у переезда, нарочно дожидаясь, пока стрелочник опустит шлагбаум,— все надеялся, что Настенька мелькнет перед ярким фонарем электрички. Но поезд проходил, наступала тишина, темнота. Вздыхая, Петька возвращался домой и, вздыхая, садился за книжку.

Нельзя сказать, он старался с научной точки зрения объяснить себе, почему он так часто вздыхает. Но наука — наукой, а скука — скукой!

Ближе к весне начались снегопады. Мягкий, медленный снег падал с утра до вечера, а по ночам снова падал и падал. В поселке он свисал с крыш, а в поле — не торопясь, трудился над сугробами, все старался, чтобы они были помягче, повыше. Петька выходил во двор, и в медленном, плавном кружении снежинок ему все чудилась Настенька — тоненькая, вежливая, в легком платье. Вот она катится, как на коньках, и вдруг взлетает, скрестив стройные ножки. Вот она говорит: «Извините, мальчик» — и приседает, касаясь краешка платья руками.

Снегопады прошли, началась оттепель, а потом — снова метели, теперь уже весенние, мокрые. Тяжелый снег гнался за кем-то, переваливаясь, подгоняемый ветром, и нехотя, мягко валился на землю.

Еще неделя-другая — и больше нельзя ходить в школу на лыжах. Весна! «А весной,— сказал старый Трубочный Мастер,— Снегурочки тают».



7

Куда же все-таки девалась Настенька? Ученый с синим носом предположил, что она улетела в холодные страны. Видел же Персональный Пенсионер, как она шла, шла и взлетела!

— Но взлететь одно,— сказали другие ученые,— а улететь другое.

Он возразил, что в таком случае она просто ушла — не ленится же птица коростель каждый год ходит пешком в Африку и обратно.



Спор не затянулся бы надолго, если бы ученые знали, что Настенька всю зиму прожила у Пекаря, того самого, который любил говорить: «Я — как одинокий мужчина...»

Он не очень удивился, когда Настенька сунула ему за пазуху ласточку.

— Позвольте представиться — и Пекарь и печка, — сказал он и пригласил Настеньку к себе выпить чаю с теплым минским хлебом.

Пекарь считал, что на свете много важных дел, но хлеб, если его хорошо испечь, поважнее. В пекарне у него был порядок, а дома — кавардак, о котором он говорил, что по-своему это — тоже порядок. Все же он обрадовался, когда Настенька, недолго думая, взялась за тряпку и швабру.

— Ах ты, моя душенька! — сказал он.

Всем почему-то хотелось называть ее душенькой.

Конечно, ему и в голову не пришло, что Настенька из Снегурочек, а когда она стала убеждать его, — смеялся и долго не верил. Потом поверил, ужаснулся и уж тут оказался на высоте: он поселил ее в такой холодной комнате, что каждый, входя, непременно говорил «бр-р»; на обед он приносил ей что-нибудь холодное — окрошку со льдом или холодец, на третье — снежки; есть на свете такое вкусное блюдо.

Когда девочки успевают научиться шить, мыть и прибираться? Неизвестно. Но научилась и Настенька, да так, что Пекарь, приходя домой, просто не верил глазам. Натирая полы, она кружилась и пела, а застывая кровати, учила слова. Некоторые слова казались ей очень странными, и она много раз произносила их, чтобы привыкнуть. «Ненаглядный» — это, оказывается, был не тот, на которого не надо глядеть, а наоборот, очень надо. «Бессонница» — это, оказывается, не значило спать без снов, а наоборот, не спать.

— Вы не можете устроить, чтобы я увидела сон? — попросила она Пекаря. — Со мной этого еще никогда не случалось.

— Ладно, сделаем, — сказал Пекарь.

Конечно, он пошутил, но в ту же ночь она действительно увидела сон — и это было прекрасно. Она не верила, что снег может растаять совсем, до последней снежинки, хотя Петька клялся, что может. Теперь она поверила, потому что увидела лето. Да, очевидно это было лето. Солнце стояло низко над полем, и Настенька изо всех сил бежала к нему среди высокой травы. Петька говорил, что солнце закатывается, а ей не хотелось, чтобы оно закатилось. Она бежала, а потом взлетела и подхватила солнце как раз, когда оно уже легло на тонкую линию, разделявшую небо и землю.

Она проснулась и написала Петьке: «Мой ненаглядный». Это значило, что ей очень хотелось на него поглядеть. «Я видела сон». Это значило, что ей снилось лето. «Пекарь любит хлебнуть». Это значило, что Пекарь иногда выпивал. «Я тебя люблю». Это значило, что она его любит. «Приходи. Твоя Настя».

Ей хотелось попросить ласточку слетать к Петьке с этим письмом, но она не решилась. Стояли морозы.



Так она и жила у Пекаря день за днем, неделя за неделей. Молодая зима стала пожилой, а потом и старой — не то что в декабре, когда она была еще совсем девчонкой. Уже апрель был на носу, когда однажды, прибирая квартиру, Настенька услышала, как в переулке кричит точильщик. А у Пекаря как раз затупились ножи.

8

На этот раз чужое дело, которым занялся дядя Костя, касалось старого Мастера — у него сломался станок для вытачивания трубок из виноградного корня. С утра дядя Костя таскал по мастерским этот станок, спрашивая заходом, не видел ли кто-нибудь вежливую девочку в ситцевом платье, сбежавшую из Института Вечного Льда.

День был весенний, конец марта. Кое-где лежал еще снег, но уже почерневший, хрупкий. Дядю Костю принимали за точильщика, и это ему так нравилось, что он с трудом удерживался, чтобы не закричать: «А вот кому точить ножи, ножницы?» В конце концов он не удержался,

закричал. И вот тут произошло то, что иногда происходит в сказках: девочка лет двенадцати выглянула из окна и тоже закричала: «Точильщик!»

Почему-то он сразу подумал, что это Настенька, хотя невозможно было вообразить, что Настенька, как обыкновенная девочка, живет в обыкновенном доме. Но все-таки это была она! Кто же еще мог выйти из дома с большим китайским зонтиком, который, как известно, защищает не от дождя, а от солнца? Кто же еще мог так вежливо спросить:

— Извините, но вы, кажется, совсем не точильщик?

— Конечно, нет, — весело сказал дядя Костя. — Это я просто в шутку кричал. А ведь правда,



здорово получилось? Извините, а вы случайно не Настенька?

Настенька кивнула.

— Не может быть! — закричал дядя Костя. — Какое счастье! Боже мой милостивый, да ведь мы с Петькой ищем вас целую зиму!

Она засмеялась.

— Так вы дядя Костя? — спросила она, и между ними начался длинный вежливый разговор — длинный, потому что вежливый, а вежливый, потому что длинный. Почти каждая фраза начиналась: «Простите, а не думаете ли вы?» Или: «Извините, а не кажется ли вам?» Но вот они договорились до Петьки, и дело пошло веселее.

— Извините, а как сейчас Петя?

— Помилуйте, да он просто места себе не находит. Он очень боится, чтобы вы... как бы сказать... Мне это кажется странным... Он боится, как бы вы...

— А почему вам это кажется странным?

— Ну как же! Нельзя же все-таки! — волнуясь, сказал дядя Костя. — Существуют холодильники, очень хорошие. Еще вчера я читал, что выпущен новый, кажется, «Юность».

Настенька покачала головой.

— Вы даже не можете себе представить, что это за скука! Мертвая рыба лежит, а мне ее жалко; ученые приходят в шубах и валенках, а я их боюсь. Нет, нет! Лучше растаять. Если бы не Пекарь — это мой хозяин, — я бы давно растаяла. Я у него всю зиму провела. А теперь он меня отхлопотал до апреля.

— Отхлопотал?

— Да. В Министерство ходил. Но, знаете, как это было трудно! Только потому и удалось, что он очень влиятельный Пекарь. Он сейчас уехал в Минск. Там живет гроссмейстер по выпечке хлеба и будет состязание. Но все равно мой хозяин его победит, потому что минский хлеб он печет лучше всех в Советском Союзе.

— Позвольте, как же так? — спросил дядя Костя. — Вы сказали — до апреля? Но до апреля осталось только несколько дней.

Настенька вздохнула.

— Разве? Ах да. Простите, не можете ли вы передать Петеньке это письмо? Я ему написала, что видела сон, что Пекарь любит хлебнуть и что он — мой ненаглядный. Не Пекарь, конечно, а Петя.

9

Снегурочками, снежными бабами, снежными вершинами занималось Министерство Вьюг и Метелей. Это дядя Костя выяснил точно. Петька едва ли мог ему пригодиться. В лучшем случае он рассказал бы, как он скучает без Настеньки и как ему хочется почитать ей «Таинственный остров». Для Министерства Вьюг и Метелей подобные доводы не имели значения. Поэтому дядя Костя послал Петьку к Настеньке, а сам отправился на прием. Он надел свой лучший костюм и добрых полчаса простоял перед зеркалом, стараясь, чтобы все у него было как у людей, глаза не смотрели в разные стороны, а волосы не торчали дыбом. Насчет ног он тоже постарался, чтобы они не очень загребали и чтобы от них, по меньшей мере, не оставались такие большие следы.

Ну и холодно же было в Министерстве Вьюг и Метелей! Сотрудники



безучастно смотрели на посетителей. Те, у которых был искренний, симпатичный взгляд, носили темные снеговые очки, чтобы никто не заметил, что они в сущности сердечные люди. От них, что называется, веяло холодом. И хотя это был не тот холод, от которого кутаются и надевают шубы, дядя Костя, войдя в Министерство, почувствовал, что у него зуб не попадает на зуб.

— Да, Снегурочка, очень любопытно. Желаю успеха,— выслушав, его, нетерпеливо сказал Старший Советник.— Но мы, к сожалению, ничем не можем помочь.

— Извините, но ведь речь идет только о продлении срока. Ну, скажем, до осени.

— Знаем мы эти продления! Сперва до осени, потом до зимы, а зимой... Нет, нет, не могу. И потом, хотите выслушать совет опытного человека? Не связывайтесь. У нее нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Она числится давно растаявшей, и то, что она сидит где-то под зонтиком, вообще бессмыслица, противоречащая всем законам природы.

— Природу следует исправлять, если это возможно.

— В данном случае это невозможно. Обратитесь в Министерство Необыкновенных Вьюг и Метелей, может быть, там заинтересуются этим вопросом.

Целый час дядя Костя упрямо доказывал, что Настенька вовсе не бессмыслица, а как раз наоборот — чудо природы. Все было напрасно. Он ушел расстроенный, не заботясь больше ни о глазах, которые смотрели в разные стороны, ни о ногах, которыми он нарочно загребал из всей силы.

10

Дядя Костя был умный, даром что всю жизнь занимался чужими делами. «Если уж в Министерстве Обыкновенных Метелей дело вышло табак,— подумал он,— чего же ждать от Министерства Необыкновенных Метелей?»

И он поехал в Институт Вечного Льда.

Это была уже не зима, когда Тулулов чувствовал себя в своей тарелке, но еще и не лето, когда он чувствовал себя не в своей. Приближалась весна, и хотя он погрузтел, помрачнел, но крепкий бесформенный нос еще бодро торчал картошкой между розовых щек.

— Не может быть! Нашлась! — так же, как дядя Костя, закричал он.— Какое счастье! Где она?

— Дома.

— Как дома? Надо немедленно отправить ее в холодильник.

— Вы понимаете,— волнуясь, сказал дядя Костя,— она говорит, что в холодильнике — скука.

Тулулов обиделся.

— Что значит — скука? — холодно спросил он.— У нас лучшие холодильники в мире. Свежая курица сохраняет свежесть в течение пятнадцати лет.

Дядя Костя хотел сказать: «То курица», но вовремя удержался.

— В таком случае извините,— сказал Тулулов; он становился все холоднее,— ничем не могу помочь.

Дядя Костя замолчал. Все у него разъехалось от огорчения. Глаза уже смотрели в разные стороны, а ноги, даром что он сидел, стали заходить одна за другую. Тулулов посмотрел на него и смягчился.

— Ладно, куда ни шло,— вдруг сказал он.— Поехали.

— Куда?

— В Министерство. Не думайте, что из-за вашей Настеньки. Они там такое напутали с мартовскими метелями, что сам черт голову сломит!

Что случилось с мартовскими метелями, этого дядя Костя так и не понял, хотя Тулупов дорогой старался объяснить ему, что к ним нужен умелый подход, а в Министерстве считают, что они должны начинаться только с ведома и согласия начальства.

Очевидно, именно об этом шел громкий разговор, доносившийся из-за двери кабинета министра,— дядя Костя ждал Тулупова в приемной. Потом послышался смех, и еще через несколько минут Тулупов вышел в приемную с подписанным приказом. Вот он:

«Пункт 1. Разрешаю с 1 апреля 1962 года считать Снегурочку, сбежавшую из Института Вечного Льда, самой обычной девочкой без особых примет.

Пункт 2. Имя, отчество, фамилия: Снежкова Анастасия Павловна. Время и место рождения: поселок Немухин. 1962 год.

Социальное положение: служащая.

Отношение к воинской повинности: не подлежит».

— А почему Снежкова? — спросил дядя Костя.

— Их всех выписывают Снежковыми. Ну, а как еще: Снегурочкина? Если ей не понравится, переделаем. Но ведь она же все равно со временем замуж выйдет.

— А почему служащая?

— Поправим, если хотите. Домашняя хозяйка?

— Нет уж, пускай служащая. А почему Павловна?

— Это я виноват,— немного смутившись, ответил Тулупов.— Но ведь в сущности они все мои дети. Другое нехорошо.

— А именно?

— Долго объяснять. Пошли к секретарю, может быть, он не заметит.

11

Но секретарь заметил, даром что он был в снеговых очках. Внимательно прочитав приказ, он вернул его Тулупову.

— Не выйдет,— холодно сказал он.

— Почему? Ведь министр подписал.

— Да. Очевидно, забыл, что Снежные Красавицы еще не цветут.

— Ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста,— попросил дядя Костя.

— Да что там, чиновники проклятые,— отводя его в сторону, проворчал Тулупов.— Вы понимаете, к таким приказам вместо печати прикалывается веточка Снежной Красавицы. А сейчас середина марта, а она еще не цветет. Послушайте, а может быть, веточку можно нарисовать? — повернувшись к секретарю, попросил он.— У меня в институте парень рисует, что твой Репин. Как живая будет.

— Вы же на основании этого приказа будете метрику хлопотать?

— Да.

— Ну вот. Милиция не позволит.

Секретарь снял очки, зажмурился от света и поманил Тулупова поближе: У него был симпатичный взгляд, и сразу стало ясно, что снеговые очки он носит просто для приличия.

— Попробуйте наведаться к Башлыкову,— оглянувшись по сторонам, тихо сказал он.— Он всю жизнь возится со снежными деревьями. Может быть, он вам поможет.

— Какой Башлыков?

— Из Отдела Узоров на Оконном Стекле.

— Он же на пенсии.

— Вот об этом с ним как раз не стоит разговаривать,— улыбнувшись, сказал секретарь.— О чем угодно, кроме пенсии. А то вы получите не

снежное дерево, а фиговое. Вообще к нему стоит заглянуть, у него сад прекрасный.

Он надел снеговые очки и, чтобы все его пугались, свирепо выдвинул нижнюю челюсть.

— Понятно,— сказал Тулупов.— Пошли.

Тут произошли два события, одинаково важных. Во-первых, выходя из Министерства, дядя Костя оступился и сильно подвернул левую ногу. Во-вторых, случилось то, чего никто не ожидал, кроме Тулупова, утверждавшего, что в Министерстве напутали с мартовскими метелями: по радио сообщили, что завтра начнется шквал. О шквалах обычно не сообщают, а тут не только сообщали, но и посоветовали: птицам сидеть по гнездам, а милиционерам привязать к ногам что-нибудь тяжелое, потому что они, как известно, не могут уйти с поста даже в самую плохую погоду.



12

Пока дядя Костя хлопотал о Настеньке, Петька читал ей «Таинственный остров». Слушая, она штопала что-нибудь или шила. В интересных местах она поднимала глаза, взмахивала ресницами, и у Петьки — ух! — с размаху куда-то ухало сердце.

Они ходили в магазины, и на солнечной стороне Петька держал над Настенькой китайский зонтик. Она говорила: «Петенька, я сама», но держал все-таки он — просто потому, что это было приятно.

Они разговаривали. Настенька рассказала ему свой сон, и Петька сказал, что ей еще повезло: он лично никогда не видит снов, как корова.

— Но с научной точки зрения,— объяснил он,— люди, которые видят сны, почти ничем не отличаются от людей, которые их не видят.

Потом Настенька рассказала о Пекаре, как он заботится о ней, не топит в ее комнате, а по вечерам заставляет принимать ледяную ванну.

— Главное, чтобы душа была горячая,— говорил он,— а прочее — кино. Вот ты вроде прохладная, а от тебя в доме теплота. В чем же дело?

Когда он хотел похвалить что-нибудь, он говорил: «Рояль». «Уж я сегодня кренделя выдал — рояль!»

Так они сидели и разговаривали, когда дядя Костя вошел, сильно хромая, и плюхнулся в кресло.

— Беда, братцы, подвернул ногу.

Пока Настенька бегала за полотенцем и холодной водой, он разулся и долго горестно рассматривал распухшую ногу.

— Раз, два, три,— сказал он и сунул ногу в ведро с холодной водой.— Вот что, Петя, есть на свете такой... ох! — Башлыков из Отдела Узоров на Оконном Стекле. Ты немедленно... ох! — поедешь к нему и передашь это письмо. Но ни слова о пенсии. Ни слова. Если уж очень захочется сказать — «пен-си-я», говори что-нибудь другое на «пе»... «Пе-карня» или «пе-нал». Понятно?

Петя жил в Немухине, а Башлыков — в Мухине по той же Киевской железной дороге.

Можно было ожидать, что в его саду Снежные Красавицы стоят рядами, поднимая свои крупные белые чашечки среди зубчатых листьев. Ничуть не бывало! В самом обыкновенном палисаднике Петю встретил старичок с сиреневой сливой-носом. Уже по этому носу было видно, что с ним лучше не говорить о пенсии.

— Здравствуйте, дяденька,— сказал Петька, чувствуя, что ему до смерти хочется спросить, какая у старика пенсия: по нетрудоспособности или за выслугу лет.— Меня просили передать это письмо.

Башлыков прочитал письмо.

— Так-с,— задумчиво сказал он.— Хорошая девочка?

— Очень.

— Из Снегурочек?

— Да. Но все равно, жалко. Она говорит — интересно.

— Что именно?

— Вообще жить. Она говорит, что даже просто дышать и то интересно. Другие не думают, верно? Дышат и дышат. А ей интересно.

— Еще бы,— сказал Башлыков.— Даже мне интересно.

— А в Министерстве, между прочим, без вас совершенно запутались среди узоров на оконном стекле,— сказал Петька.— Даже странно, говорят. Без Башлыкова ни на шаг. Вот уж не думали.

Старичок засмеялся, усадил Петьку, разлил пиво, достал телятину и стал рассказывать, как он превосходно живет. Времени сколько угодно, и он даже стал учиться на виолончели, потому что это инструмент, на котором можно, почти не умея играть, тем не менее играть очень прилично. Языки его тоже интересуют, особенно испанский, который по упрощенному методу можно, говорят, изучить в две недели. Петьке опять захотелось спросить его насчет пенсии, но он, понятно, не стал, а чтобы расхотелось, сказал в уме несколько раз: «пе-рекладина», «пе-рпендикуляр», «пе-ремена».

— Дяденька, так как же? — спросил он.

Башлыков подумал.

— Для Снежной Красавицы, конечно, рановато,— сказал он,— но, как говорится, будем посмотреть! — Он поднял вверх сухонький палец и повторил хвастливо: — Да-с, будем посмотреть!

И выйдя в соседнюю комнату, он вернулся через несколько минут с веткой Снежной Красавицы. Это была самая обычная Снежная Красавица, но ведь когда смотришь на нее, всегда кажется, что это дерево может расти только в сказках. Академик Глазенап, например, давно доказал, что оно, как две капли воды, похоже на невесту в подвенечном уборе.

Но еще больше оно похоже на невесту, которая наклонилась, чтобы поправить свой подвенечный убор, и выпрямилась, блестя глазами и раскрасневшись. Раскрывающиеся трубочки цветка осторожно откидываются назад, а розовые пестики покрыты одним из самых изящных узоров, вышитым Дедом Морозом в незапамятные времена.

— Вот-с,— сказал Башлыков с гордостью.— Какова?

Петя сказал, что красивее этой веточки он ничего в жизни не видел.

— Да-с, и притом — единственная. И не только единственная. Первая в Советском Союзе.

Осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой, Петя вышел от Башлыкова. С вокзала он пошел пешком — боялся, что приказ изомнут в метро. Он шел неторопливо, но, подойдя к пекарне, не выдержал, ринулся через улицу наискосок и еще поддал, увидев Настеньку, сидевшую во дворе под китайским зонтиком с книгой на коленях.

Она была в светло-желтом платье, лежавшем ровным кругом на земле, точно она сперва кружилась, а потом села, как это сделала бы девочка, впервые надевшая длинное платье. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль посмотреть на нее сверху, он увидел бы только два светлых круга — зонтика и платья.

Теперь все было уже так хорошо, что лучше, кажется, некуда. С приказом в руке Петька подошел к Настеньке... И вот тут случилось то, о чем накануне сообщили по радио: налетел шквал.

Без сомнения, это был шквал, не предусмотренный Министерством Вьюг и Метелей, которое считало, что шквалы должны держаться в пределах. В пригородах он сорвал восемнадцать крыш, хотя на четырнадцать из них были предусмотрительно навалены кирпичи, старые железные кровати и прочая рухлядь. В Немухине он забросил на колокольню двух козочек, которые очень удивились, увидев свой поселок с высоты, — им всегда казалось, что они живут в одном из самых красивых мест на земном шаре. Он сорвал вывеску с пивного зала на Кадашевской набережной и перенес ее на сберкассу, так что всем идущим в пивной зал захотелось положить свои сбережения на книжку, а всем идущим в сберкассу захотелось выпить.

Но, конечно, самое недопустимое заключалось в том, что он вырвал из Петькиных рук приказ, а у Настеньки — китайский зонтик. Приказ он отправил в небо над Колокольней Ивана Великого, а зонтик — тоже в небо, но над шпилем многоэтажного дома на Смоленской.

Трудно сказать, что было страшней для Настеньки! Правда, веточка была теперь приколотая к приказу, но ведь он еще не был ей вручен! Солнце было уже весеннее, горячее, и без зонтика она могла растаять. Очевидно, не было другого выхода, как сломя голову ринуться за приказом, не спуская с него глаз и надеясь, что, согласно законам природы, он где-нибудь да опустится на землю! И Петька побежал, натываясь на москвичей, которые тоже бежали в метро, на работу, в магазины. Приказ плыл, как журавль, в нежном мартовском небе. Оглянувшись, Петька заметил с беспокойством, что Настенька бежит за ним, да еще по солнечной стороне, без зонтика. Она тоже оглянулась в эту минуту и тоже с беспокойством, потому что за ней, ковыляя, охая и странно закидывая больную ногу, бежал дядя Костя.

— Прилетит! — кричал он. — Никуда не денется! Приказ, он свое место знает! Это не Спутник! Ага, что я говорил, — еще громче закричал он, увидев, что приказ плавно опускается на крышу многоэтажки.

— Давай, милый, давай! Планируй!

Но приказ действительно был не Спутник. Взлетая то вверх, то вниз, качаясь и кувыркаясь, он вдруг, здорово живешь, угодил прямо в дымовую трубу!

Это видела вся Москва и, уж конечно, Настенька и Петя. Добежав до Арбатской площади, они остановились и в отчаянии посмотрели друг на друга.

Вот тут произошло еще одно событие, если не самое удивительное из всех, так уж во всяком случае самое приятное: пробежав добрых три километра под теплым весенним солнцем, Настенька не растаяла. Она запыхалась, разгорячилась, покраснелась — все, кажется, одно к одному. Но вот не растаяла же! И дядя Костя, доковыляв до них, дога-

дался, в чем дело. Он поцеловал Настеньку, закричал, как пекарь: «Рояль!», и заплакал. И Настенька заплакала.

— Обними же ее, дубина! — сказал дядя Костя Петьке. От волнения он забыл о вежливости.

Стесняясь, Петька обнял Настеньку и на губах почувствовал вкус ее слез. Как известно, у людей слезы соленые, а у Снегурочек — пресные, вкуса талой воды. Настенька плакала, и слезы становились все солонее. Это значило, конечно, что она постепенно превращается в самую обыкновенную девочку без особых примет.

15

В чем же все-таки было дело? Ученый с синим носом предположил, что Настенька все-таки растаяла, а когда ему сказали: «Вот же перед вами девочка!» — он ответил, как мороженщица: «Девочек много».

Другой ученый, тоже талантливый, объявил, что уж кто-кто, а он прекрасно понимает сущность вопроса.

— Она просто привыкла, — объявил он, подразумевая под этим, что Настенька привыкла быть человеком, а ведь всем известно, как трудно освободиться от привычки, даже очень хорошей.

Дядя Костя думал иначе: «Нужна она нам всем, вот и не растаяла, — решил он. — Каково было бы без нее, скажем, Пекарю? Или ласточке? Или мне, не говоря уже о Петьке? Кто говорил бы ему: «Мой ненаглядный»? А приказ, что ж приказ! Возьмем копию, теперь, слава богу, торопиться некуда. Подождем, пока Снежная Красавица расцветет, и приколем не одну, а сразу две веточки».

Трудно сказать, кто из них прав, тем более что это, как-никак, был первый подобный случай в природе.

16

Дяде Косте давно пора было уезжать: ведь он все-таки в командировке занимался чужими делами! Но прежде надо было получить для Настеньки свидетельство о рождении и устроить ее в школу для взрослых, чтобы она могла работать у Пекаря и учиться. К Башлыкову просто необходимо было заглянуть хоть на полчаса — проститься и оставить что-нибудь на память. А ведь это очень трудно — купить подарок мужчине, изучающему испанский язык и прилично играющему на виолончели.

Наконец, надо было дождаться Пекаря хотя бы просто для того, чтобы познакомиться с известным мастером спорта, любившим говорить о себе: «Я — как одинокий мужчина...»

Все это было сделано — и с блеском. Свидетельство о рождении, например, было написано красивыми буквами, напоминавшими ледяные кристаллы. Башлыков принял всех троих — дядю Костю, Настеньку и Петьку, сыграл им на виолончели и сказал по-испански: «Salud». Разумеется, о пенсии не было сказано ни слова.

Втроем же они встретили Пекаря, который победил минского гроссмейстера и вернулся в отличном настроении. Он привез Настеньке в подарок огромный складной полотняный зонтик, под которым художники рисуют в любую погоду, и от души обрадовался, узнав, что зонтик больше не нужен.

Все, кому помогал дядя Костя, пришли провожать его — на перроне положительно нельзя было протолкаться. Здесь были: Тулупов, Башлыков, Трубочный Мастер, Пекарь, Настенька, Петя — и среди людей,

кстати сказать, прыгал Грач, которого дядя Костя устроил в дом отдыха Престарелых Грачей. Трубочный Мастер притащил трубку, которую он обкуривал три года, а Пекарь — такой душистый минский хлеб, что все спрашивали друг друга: «Чем это так прекрасно пахнет?» Дядю Костю хлопали по спине, качали и целовали. Еле живой, он влез в вагон и, утвердившись у окна, стал снова прощаться с друзьями.

— Приезжайте! — кричал он. — Приезжайте все! И Грач приезжай! И ты, старушка, которой я сделал костыль. Ничего, что ты меня побила!

Поезд пошел сперва медленно, потом все быстрее, и, высунувшись из окна, дядя Костя увидел две тоненькие фигурки, которые отделились от толпы провожающих и побежали за поездом, размахивая платочками и крича: «Дя-дя Ко-стя!» Это были, конечно, Настенька и Петя.

Стараясь не задевать соседей ногами, дядя Костя полез на верхнюю полку, разделся, улегся и стал думать. Он вспомнил, что старушка побила его не в Москве, а в Новосибирске, и не теперь, а давно, два года тому назад, — и долго смеялся, натянув на себя одеяло. О Настеньке он все еще беспокоился. «Надо бы, собственно, взять ее с собой, — подумал он. — Ездили бы мы с ней в город Снежное Снежнянского района, снегирей купили бы. Хотя снегири тут, кажется, ни при чем».

Колеса стучали успокоительно, весело и тоже все про снегирей, снегопады, снежных коз, живущих на снежных вершинах...

А Петька, проводив Настеньку, вернулся в Немухин и стал ее рисовать. Сперва на бумаге появились два светлых круга. Это были зонтик, платье и тоненькие руки с книгой, опустившиеся на колени. В легком летнем платье она сидела одна в открытом поле, зимой. Везде были сугробы — молодые, мягкие, отбрасывающие пепельные тени, и старые, сердитые, с колючими кромками, над которыми кружились дымки.

Потом он нарисовал ее спящей. Она лежала на лугу летом, подложив ладонь под щеку, опустив нежные овалы ресниц, и солнце, которого она больше не боялась, золотило волосы, разделенные полоской пробора.



РУССКАЯ ПРИРОДА

* * *

Когда на север хлынули славяне,
От ворага спасая свой очаг,
Березовое млечное сиянье
Дорогу освещало им в ночах.

Ока сверкала,
Око обольщая,
Оковывая дали серебром,
И улыбалась Волга голубая,
И звал Урал в свой заповедный дом.

И, чтоб сыны вовек не обнищали,
Природа недра отдала свои,
И жили с ней в согласье огнищане,
Учась у ней упорству и любви.

Она дарила удакою силой
Осанистых своих богатырей,
Морозами и грозами разила
Она незваных и лихих гостей.

Она леса, как кудри, разметала,
Как девушка влюбленная, чиста,
И, встретясь с ней, глазастый древний
малый

Впервые молвил слово:
— Красота...
Она всегда — и древле, и поныне —
Нам помогала, добрая краса,
Таежной темью и небесной синью
Вскленье наливая русские глаза.

Подобная глубокому колодцу,
Поила прадедов твоих она,
И правнук твой
живой воды напьется
И, как твой пращур, не увидит дна.

И, озаряя блеском небосвода,
Скупая и бесстрастная на вид,
Прекрасная российская природа
Его поймет,
обнимет,
защитит.

Речка Ить

Ненадобно грустить —
Разлука ненадолго...
Взгляни на речку Ить,
Впадающую в Волгу.

Она едва течет
В забытом захоlustье,
Блуждает средь болот,
Бредя к деревне Устье.

Дорога нелегка,
Неясны воды Ити,
Но реку,
Как руку,
Вперед ведет наитье.

Ей нравится спешить
Большой реке навстречу...
Но вдруг —
Рванулась Ить
Назад,
себе переча.

Уйти!
С пути свернуть!

Идти своей дорогой!
Ее объяла жуть
Пред этой встречей строгой.

Круты узлы излук,
Испуг в глазах дремучий...
Но вот он,
вольный луг,
И старый сад на круче.

Резные небеса
Невиданно объемны,
И — Волги полоса
Клокочет синью темной!

И рвется страха нить,
И, охнув втихомолку,
Дрожа,
вбегает Ить
В размашистую Волгу.

Плывет,
Волну рубя,
Глотая солнца блики,
И чувствует себя
Всесильной и великой.

* * *

Теплый ливень схлынул спозаранку,
Наливались зеленью поля.
Умирала старая крестьянка,
Синими губами шевеля.
Под расцветшей вишней было сухо.
Пчелы в листья тыкались звеня...

И сказала шепотом старуха:
— Положите на землю меня...
И она вдыхала запах дыма.
И вокруг смотрела.
И ждала.
И в траве лежала недвижимо,
Словно изнемогшая пчела.

* * *

Шла последняя зима войны.
Темный холод плавал в мастерской.
Краски коченели на палитре.
Но преподаватель наш сказал:
— Нынче тело будете писать,
Выросли. Довольно натюрмортов!
У окошка женщина стояла
В котиковой шапке,
В грязных ботах,
С молодыми дерзкими губами.
Мой приятель, ловелас присяжный,
Полное собранье анекдотов,
Подмигнул мне: — Ничего натурка! —
Женщину просил преподаватель:
— Что вы... Не смущайтесь... Раздевайтесь.
Это ведь искусство — не смущайтесь...
Ждали мы, дыханье затаив.
Женщина растерянно молчала,
Глядя уши, красные с мороза.
Вдруг она озлобленно и смело
Вскинула ресницы. Оглядела
Наши озадаченные лица
И высокомерно усмехнулась,
и ушла за ситцевую ширму...
Занавеска дернулась, шурша,—
Мы увидели совсем иную
Женщину...

Легко лепились плечи.
Бабочкою родинка смуглела
На тугом овальном животе.
Предзакатный бронзовый мороз
Распаленным бликом гладил шею.
Матово и мягко багровели
Крепкие округлые колени.
Солнечный, пушисто-рыжий зайчик
На сверкающую грудь улегся —
И рукой она его накрыла...
О, как высоко она смотрела!
Мимо наших взглядов, мимо стен...
Мой приятель, ловелас присяжный,
К ней тянулся светлыми глазами,
Щурился он, словно бы от солнца,
И шептал:
— Не может быть — поймаю...
Шепотом спросил я:
— Что поймашь?
— Вот — плечо куда-то убегает,
И глаза — не смотрят, не смеются!

День тускнел и рдел.
Окно горело.
Женщина светилась в полумраке,
Словно снег,
Большим костром согретый.



БЕЗЕНГИЙСКАЯ СТЕНА

РАССКАЗ

Под Безенгийскою стеною жил Шабаз, здесь живет теперь его внучка Жансурат. Она лучше других знает о жизни и о смерти Шабазы.

Но сперва нужно сказать о том, что представляет собой Безенгийская стена.

Хулам и Безенги — это раздвоенное ущелье Балкарии, самое глухое и суровое. Здесь кончаются все пути. Отсюда не пройти дальше на север — через Главный Кавказский хребет, — к сванам, как проходят в Сванетию по другим ущельям через перевалы.

Тут Кавказ неодолим.

И Шабазу еще случалось видеть, как отважные и искусные ходоки по горам являлись сюда из заморских стран с дорогим снаряжением только затем, чтобы смиренно любоваться величавым строением скал, великолепием неустойчивых массивов льда, то прямо вставших на кручу, то нависших над крутизной карнизом: не сегодня-завтра в какой-то момент грянет обвал от одного взмаха крыльев орла.

Нерушимо чиста, однако, стена снегов Дых-Тау, вершины из вершин, ушедшей под солнце. Стена недоступна навсегда. Здесь престол снегов!

Вершины часто заволакиваются облаками, угрюмо сползающими к каменистому аулу Шики; сюда тянется то лапа, то голова. Кажется тогда, что, клубясь и округляясь, вея холодом, головастые облака преклоняют ухо к скалам, подслушивают, что делается в ауле. И вот уже моросит дождик, а в одном часе ходьбы, ниже по ущелью на цветистом лугу, или ярусом выше, на голом каменистом плато, — открыто горит и сияет солнце, согревая травы и камни.

Не один раз смысленная и сильная девочка Жансурат, зная это свойство гор, уводила овец из-под дождя на лужок, а вечером особенно сладко было идти домой на запах дыма. Девочка доила козу и корову по кличке Афуажан, и после этого наступал для нее самый приятный час — возле котла, подвешенного на задымленных цепях над очагом.

Из такой же задымленной, как эти цепи, хмурой и тесной кузни дед приходил к ужину, внося с собой запах горячих углей, и не было случая, чтобы дед Шабаз не пробормотал какую-нибудь новую песню.

Для слуха Жансурат песни деда всегда были новыми и первыми, а для восьмидесятилетнего кузнеца — давно знакомыми.

В них было сказано все, что мог сказать старик о своем народе и о самом себе.

Дед знал все. И в старости это был неуспокоенный горячий человек; и ему, как в молодости, не уставали говорить:

— Все еще чего-то ищешь, Шабаз! Все чем-то недоволен! А чего хочешь ты, чего добиваешься? Почему столько беспокойства в твоей душе, Шабаз?

Ответить на этот вопрос как будто было и просто, а на самом деле очень трудно. Не легче, чем на многие другие вопросы, с какими обращались балкарцы с давних лет к своему песнотворцу: почему сильный запрягает слабого? Почему отец помыкает сыном с наименьшей жестокостью, чем князь подневольным работником, пастухом, собакой или женщиной? Почему людей с открытым сердцем не берегут, а напротив, бодают и бьют копытом в самую незащищенную душу? Почему чистый и трезвый голос менее понятен, чем голоса пьяных и грубых людей?

В шутку ли, всерьез ли, Шабаз объяснял свою душевную тревогу тем, что еще в детстве аллах на мгновение приоткрылся ему, но он обманул доверие бога...

Дело вот в чем: в благословенный час угодный человек может увидеть на закате ореол особенного света. Чудесное это явление, объясненное и наукой, вдохновило многие народы на создание легенды, поверья, обещающего удачнику исполнение его заветного желания. Дескать, нужно только успеть задумать и высказать то, чего желаешь,— и мечта исполнится.

Свет исходит оттуда, куда не каждому перешагнуть. Дурному глазу волшебное сияние не открывается. Шабазу открылось, но он перед ликом аллаха сробел, не исповедовался и не потребовал того, чего жгуче желал: справедливости для людей, блага для своего народа. Промолчал,— и за это наказан. Так объяснял кузнец-ашуг все свои невзгоды.

Не раз после этого несчастья он взывал:

— О, где ты, аллах? О алла, о алла...

И не один раз еще в те годы, когда у Шабазы не было не только внучки, но и сына, он уходил из Безенги, добирался до арабских стран — к черному камню Қаабы: молчал и камень.

Пути к божеству были теми же путями, на которых Шабаз размышлял или составлял песни, лишь в этом находя теперь отраду.

Не было в каменной, хмурой и бескнижной Балкарии очага, у которого женщины не пели бы песни Шабазы. Пытливый ребенок прислушивался к звукам и смыслу его слов.

Но слава в маленькой убогой стране среди народа, в котором почти

все знают друг друга по имени, небольшого народа, ищущего добра, непохожа на славу людей, изливших свои мысли в печатную книгу,— эта слава теснее и нужнее.

Не мало народу приходило к кузнецу в Шики из отдаленных ущелий. Однажды пришла к нему женщина, проданная из Хулама в Чегемское ущелье, где потом ее еще дважды перепродавали.

Литература не сразу стала главным в жизни Сергея Александровича Бондарина. Как и многих его сверстников — свидетелей первых пятилеток,— его тянуло то на стройку, то на корабли.

В 1935 году вышел первый сборник рассказов С. Бондарина «Пять лет» и вскоре в Детиздате — повесть «Дындып».

За последнее пятилетие в издательстве «Советский писатель» вышли сборники «Лирические рассказы» и «Волны Дуная».

В настоящее время подготовлена к печати новая книга под названием «Троздь винограда», в которую входит цикл кабардинских рассказов. К ним принадлежит и рассказ «Безенгийская стена».



— Я чувствую, что скоро умру,— сказала она песнотворцу.— Прошу тебя, Шабаз, выслушай, насколько горька жизнь моя. Удивительно ли, что я так рано поседела? Горы седеют от горя. Если ты сумеешь рассказать об этом, я умру спокойно.

Женщина говорила, клоня голову к лицу Шабазы, и он невольно слышал запах ее еще молодых и уже поседевших волос. Потом ему еще не раз чудился этот запах. Шабаз выслушал женщину, ни разу не прервав ее, а утром вынес из кузницы только что выкованный острый серп — орудие редкое в Балкарии,— и сказал:

— Аллай! Я не знаю, насколько хороша моя песня, которую я сейчас сообщу тебе. Я больше уверен в своих руках, чем в словах. Возьми заодно этот серп, все, чем я в силах отблагодарить тебя за доверие. Иди с песней на устах и с серпом в руке. Пусть будет этот серп залогом хорошей жатвы.

Вскоре новую песню пели у всех очагов Балкарии.

— Почему она так удалась тебе? — спросили как-то Шабазы.

Он отвечал:

— Потому, что я плакал вместе с жалобщицей.

А когда Шабазы спрашивали:

— Что в песне важнее всего?

Он отвечал:

— Свет. Свет, исходящий оттуда, куда нет пути. Не каждый его видит. Больше всего мне хочется, чтобы свет редкого мгновения разливался для всех, чтобы каждый мог выразить свои чувства своими словами. Вот что, на мой взгляд, самое главное для гекуако.

Наступило время, когда Шабазу стало казаться, что бог помирился с ним, дух истины близок.

Адык с партизанами ушел к Жансуру, народному человеку, чувячнику, восставшему по зову Ленина против сафьянников; и со звоном уздечек и храпом коней на Кабардинскую равнину вышли песни Шабазы. На Тереке и на Малке, в Большой и Малой Кабарде, на привалах балкарские конники подпевали один другому под звуки оттачиваемых клинков:

Ты ведешь войско,
Ты стал именитым.
Приятно быть всадником
В войске твоём.
Слышишь, Жансур,
Песню Шабазы?
Не было б песни,
Коль не было б радости
В войске твоём.

Но другую песню, ту, которая ему самому нравилась, Шабаз не сообщил никому. Он не научил этой песне даже Солдана. Не всякий олень удерживался там, где проходил конь Солдана, но знаменитый абрек не ленился преодолеть тропы, дабы испросить совета у Шабазы. Вот почему позже появилась песня Шабазы о Солдане Хамиде, прикрывавшем собою большевика Кирова от вражеской пули...

Все более стареющий ашуг-кузнец все тверже верил: вот-вот опять засветит луч откровения — габжигоша. По-иному зазвучали теперь песни Шабазы, по-иному и об ином: старик увидел светлые школы, книжку в руках детей, прочные мосты через горные реки. Огорчало его, что нет внуков. Но вот у Адыка и жены его Салим родилась девочка, и Шабаз привязался к ней как нянька, радуясь, что теперь и из его дома пойдет ребенок в школу.

Над люлькой девочки, стараясь придать голосу бодрость и ясность, восьмидесятилетний Шабаз в первый раз пропел свою сокровенную песню:

Не каждому в редкий миг
Приоткрывалось лицо аллаха,
Теперь же я вижу свет,
Разливающийся для всех.

Казалось, все вокруг и далеко осветилось. Выкатились, однако, из-за Кубани на равнину Кабарды пушки и танки свирепого войска фашистов, опять закипело сражение, опять Адык ушел на войну, и вскоре, не знающие расстояний, пьяные и грозные, оглушительные, часто безъязыкие, нагло-жестокые, неумолимые голоса и звуки войны поглотили все песни.

Здоровые мужчины были в войске на равнине, а старики и подростки на пастбищах, с ними смышленная и сильная девочка семилетняя Жансурат. Приятно ей было вечером возвращаться домой, идти на запах дыма из кузницы. Ей нашептывал дед свои последние песни в ауле Шики под Безенгийской стеной, когда нежданно-негаданно несчастье настигло народ Балкарии: по лукавым наветам врагов разума целый народ был осужден на изгнание.

В степи за Аральским морем старец уже не пел никогда — он стоял и шевелил сухими, потерявшими цвет губами. Но не уставал шепотом говорить:

— Аллай! Уже было так в истории народов, и тогда говорил пророк: «Дети не наследуют грехам отцов, подави волю свою, замыслившую истребить город греха, если в нем хоть один праведник». На этот раз промолчал голос разума и милосердия. Но слушай, Жансурат, — говорил дед внучке, — в горе жди добра, готовь его! Поступок иногда обманывает, история распознается по совокупности дел. Горе народа не затемняет мне разума. Прощальный луч солнца напоминает о том, что он взойдет снова. Аллай, Жансурат! В ущельях Балкарии ворон уже склевал падаль, и хищнику нечем больше жить, орлы же по-прежнему парят над скалами Дых-Тау. Верь мне, Жансурат: будешь учить детей в ауле Шики под великою Безенги-стеной...

Умер Шабаз тихо.

— Приблизь ко мне свое лицо, — внезапно попросил старец. — Прикрой меня, Жансурат, своими волосами. Помоги. Не оставь меня одного...

Что хотел старик? Что желал он вспомнить?

Жансурат, не прекослова, осторожно прикрыла старое лицо душевной завесой черных волос, и сама под живой завесой этой — лицом к лицу с умирающим — не сразу услышала вечную тишину...

Это воспоминание холодило ее всегда, и великая забота не давала ей покоя...

Но в вечер, к которому приходит рассказ, Жансурат глядела не только озабоченно, но и радостно-возбужденно: через несколько дней наступал новый учебный год, первый после возвращения аула.

Только-только отстроили дом для школы.

Еще не просохли стены, еще не отмыли от извести и штукатурки полы, еще не завелась здесь собака, — только стрижи стремительно влетали в открытые окна под потолок, всякий раз пугая детей пронзительным щебетаньем.

Детей было мало — в хорошей большой семье бывало более людно, а мальчиков — всего четыре: Саид да Кязим, Исса да Хабу. Поэтому ловкая плечистая Жансурат брала на себя труднейшие работы — по расстановке мебели или разгрузке инвентаря. Девочки мыли полы и парты, мальчики выгребали мусор, то и дело заглядывая в комнату, где учительница внимательно разбирала таинственные предметы учения — красочные картины и книжки, пахнувшие бумагой и клеем, тетради и коробки с загадочными предметами. Был тут и гербарий, и кол-

лекция минералов, картины со сценами из истории, карты, а главное, глобус, заманчивый коричнево-голубой шар, принимаемый мальчиками за необыкновенный волчок.

Работы в школе аула кончались с первой звездой.

Давно было слышно, как по ущелью, приближаясь к Шики, подымается грузовик. Он мог войти в аул с минуты на минуту, но в школу привезли все, что причиталось, и поэтому Жансурат, не дожидаясь грузовика, еще раз хорошенько протерла любимым лоскутком глобус и загадочное стекляшко микроскопа, направилась в верхнюю часть селения. А на всякий случай крикнула девятилетней Шамсе:

— Аллай, Шамса! Скажешь мне, что привез грузовик!

Немногие строения аула хорошо сохранились за годы, когда не дымили здесь долгие месяцы очаги. Разрушилась и сакля в верхней части аула с пристроенной к ней кузницей. Не мелькал там красный огонек горна, не доносился оттуда звон молота о наковальню. Когда Жансурат пришла сюда в первый раз по возвращении, из-под развалин неторопливо и зло вылез жирный барсук...

Но среди почерневших от долголетней копоти камней Жансурат нашла тот самый котел на цепях, в котором она девочкой варила баранину, а под кровлей кузни — заржавленную наковальню, молот, ободья для колес, подковы, — словом, все, что Шабаз второпях оставил в кузне. Позже Жансурат разыскала в обломках любимую тряпичную куклу.

Не только в школе — по всему селению было малоллюдно, не слышалось ни собак, ни петухов, а что особенно отличало этот день от прежних дней в балкарском ауле, — почти не видно было стариков, неторопливо собиравшихся в час вечернего намаза у каменных оград...

Тишина охватывала горы. Уже не отдавалось в скалах тяжелое дыхание грузовика, из чего Жансурат заключила, что машина прибыла к месту, доползла.

Дневной серебристый блеск вершин тускнел, голубизна западных склонов начинала румяниться. Заходящее солнце, играя перламутром, все резче оттеняло грани крутых гладких снежных склонов Дых-Тау, все синее и глубже становилась далекая голубизна неба с одинокой воспламененной запрестольной звездой.

Все заметней тянуло холодом от льдов, и, несмотря на то, что крутое восхождение разогрело девушку, Жансурат подняла воротничок синего своего жакетика.

Поеживаясь, уселась она на опрокинутый котел и уже не сводила глаз с неровного края Безенгийской стены, как будто оттуда, из-за стены, вот-вот должно что-то появиться.

И как раз в эту минуту в тишине вечера послышался издали голосок Шамсы, первой помощницы Жансурат во всех школьных делах, девочки, с которой Жансурат подружилась за время долгого пути домой из-за Аральского моря.

— Жансурат! — звала Шамса. — Жансурат, привезли керосин. Иди!

Девочка взбиралась по крутизне к разрушенной сакле. Шамса знала, зачем Жансурат ходит сюда. Но о том, что случилось вчера, Жансурат не призналась и маленькой своей подруге.

Жансурат каждый вечер ходила сюда, на гребень горы, в надежде увидеть широкое сияние последнего солнечного луча. Еще от деда она слыхала о чудесном поэтическом поверье, помнила признание деда, что его тяжба с богом и с жизнью происходит оттого, что он в свое время постыдно оплошал перед аллахом. С первых дней возвращения в аул Жансурат надумала попытать свое счастье, она давно знала, что сказала бы она при виде волшебного луча.

И вот вчера случилось нечто ужасное...

Вчера брызнул-таки перед нею в небе тот самый чудотворный свет,

о котором говорил дед Шабаз. Девушке открылось то, что почти сто лет тому назад открылось ее деду, но опять — на этот раз с внучкой — произошло то же самое, что погубило деда. Огромный, светлый, голубой сияющий веер медленно раскрывался перед нею, но в замешательстве восторга девушка не вымолвила то слово, что носила после возвращения народа в своей душе.

Серебристо-голубой веер раскрылся, померк, быстро исчез, оставив только свет зари, Жансурат почувствовала себя почти преступницей. Вот почему с волнением, обжигавшим щеки, сегодня снова ждала Жансурат последних лучей заката, надеясь, что видение повторится и она исправит до слез обидное упущение.

Не откликаясь на зов Шамсы, Жансурат жадно, неподвижно смотрела на вершины Безенги. И только рука у нее двигалась безотчетно, как будто готовилась что-то зажать в ладони.

Розовый ускользящий свет бродил по аулу, по стенам его старых и новых домов, на каменистой дороге лежал такой же розовый отблеск зари. Единственное уцелевшее в ауле оконное стекло все ярче горело, а заодно загорелось что-то на площади перед сельсоветом — это зажглось ветровое стекло грузовика. Со своего места на вершине скалы Жансурат видела, как толпились люди вокруг машины, доставившей керосин, печеный хлеб, мануфактуру.

— Жансурат! — продолжала кричать Шамса из-под скалы. — Тут ли ты? Разве ты не слышишь меня?

— Слышу, — негромко ответила Жансурат, не заботясь о том, слышит ли ее девочка, и продолжала следить за игрой света на вершинах хребта. Прямые брови под толстой косой, положенной надо лбом вокруг головы, сдвинулись. Глаза широко раскрылись. Надежда в них еще осталась, рука продолжала хватывать что-то невидимое.

И вдруг смугло-румяное лицо девушки заметно побледнело, голова бессильно упала. Все кончилось. В это мгновение последний луч на горах потух.

Напряженность ожидания прошла. Все определилось. Суд состоялся: нет, видение не повторится, дважды этого не бывает!

Теперь так и жить ей, как жил до последней минуты дед Шабаз, с неуспокоенной душой, жаждущей счастья, полного, завершенного счастья своему несправедливо страдавшему народу, с сознанием, что упущена возможность сказать волшебному лучу и о том, что прах Шабазы должен быть теперь здесь же, с народом. Опять она вспомнила чувство, испытанное тогда, в час смерти деда, когда по его просьбе она прикрыла его лицо распущенными волосами. Это воспоминание тишины соединилось с тишиной, окружавшей ее сейчас.

— Слышишь ли ты меня, Жансурат? — все звал ее детский голос. — Иди вниз — керосин привезли.

— Сейчас. Сейчас приду, — встряхнувшись, прокричала Жансурат. — Подожди меня, Шамса.

— Аллай, Жансурат. Жду. Спускайся.

— Кто приехал на грузовике?

— Мухтар Қацыев приехал на самом большом грузовике, на котором шесть колес, — отвечал детский голосок Шамсы.

— Еще кто приехал?

— Еще приехали люди из Нальчика.

— Аллай! Какие люди из Нальчика?

— Те, что приезжали весной, когда начали строить школу. Спрашивают, где ты... Нет, я не сказала им, что ты ждешь габжигоша.

— Аллай, Шамса, но где же ты сама?

Так перекликались в сумерках Жансурат, спускавшаяся со скалы, и ее маленькая подружка, ученица Шамсы. Девочка не решалась взоб-

ратся на самую вершину скалы, куда с детства привыкла всходить Жансурат. Шамсу пугали и кручи, и злые барсуки.

Становилось все прохладнее. Все призрачней белели снега.

Уже не только одна пламенеющая звезда стояла над холодной и тихой громадой хребта — звездочек высыпало много, и все они поблескивали, как снежинки.

Самые неутомимые люди, вроде Салиха Ахматова или Альбашева, еще продолжали трудиться, — кто оглаживал ладонью сыро оштукатуренные стены нового дома, кто складывал камни ограды, охватывающей двор, и все, мимо кого проходила учительница, внучка незабвенного песнотворца Шабаза, в сопровождении ученицы Шамсы, все охотно отвечали на приветствие Жансурат:

— Алейкум селям, Жансурат, — хотя в прежнее время не принято было обмениваться мусульманским приветствием с женщиной.

«То, что случилось, — стыдливо думала Жансурат, — не должно интересовать никого, никому не скажу, это моя беда».

Жансурат спускалась по камням вслед за скользящей по ним Шамсой, думала и опять вызывала на разговор своего бога — не старого аллаха, которого искал и не нашел даже дед, а того, который не имел ни обличия, ни имени, но был живым, незримо связывал ее с миром, всегда что-то обещал, к чему-то звал, помогал в горе, иногда говорил голосом людей, а чаще — их взглядами, их глазами. Ведь это опять-таки он призывает в душе к заботе о том, что не успела она сказать вчера: вернуть прах песнотворца Шабаза сюда, к снеговым громадам, в дом его народа, в дом извечный и новый — для свидетельства торжествующей правды.

И тут опять Жансурат начала чувствовать, что вчерашнее просветление в небе, как бы проломившее Безенгийскую стену, оставило в сердце такой же отблеск, какой иной раз оставляет в нем добрый, сочувственный взгляд человека. Такими глазами смотрел Шабаз, когда — до своих последних дней — говорил он с кем-нибудь из печальных его соплеменников, нуждающихся в ободрении.

И тут поняла Жансурат, что мечту свою — разыскать за Аральским морем прах деда, чтобы привезти домой, она должна поверить не лучу, а людям. Люди обидели, но ведь они же и утешают, и в борьбе утверждают правду. Так было и с матерью, так было и с дедом! И не ей одной думать, чего больше в ее желании — скромности или неумеренности.



Лев Толстой в Москве

Предлагаемые отрывки взяты из моей книги «Лев Толстой», которая выйдет в этом году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».

Книга эта, конечно, не исчерпывает биографии Толстого.

Я выбрал из книги для журнала «Москва» несколько отрывков, рассказы-вающих о жизни Льва Николаевича Толстого в Москве. Между последней и предыдущими главами проходит больше двадцати лет. За это время Толстым были написаны «Воскресение», «Хаджи Мурат», опубликованы его знаменитые статьи и изменилась сама Россия.

Поиск дома для житья и поиск смысла жизни

Когда старшие дети начали подрастать, Толстые решили переехать в Москву. Сергея, старшего сына, готовили дома в университет, Илью и Льва — в гимназию. Татьяне Львовне шел восемнадцатый год — нужно было начать вывозить ее в свет; она должна была посещать балы, ездить в театры, чтобы познакомиться с каким-то будущим своим женихом, человеком неведомым, но про которого твердо знали, что он будет из общества Толстых и довольно состоятельным.

В юности Татьяна Львовна сломала ключицу, отец сам повез ее к лучшему хирургу и спрашивал, не останется ли после сращения ключицы каких-нибудь следов, не будет ли заметно утолщения тогда, когда девушка в открытом бальном туалете выйдет танцевать на паркет Московского дворянского собрания. Это прошло.

Толстой мало говорил с детьми, он писал свое и дома отмалчивался, но еще в 1877 году жаловался Николаю Страхову, как безобразно то, чему учат священники детей, преподавая катехизис.

Еще тогда Толстой начал перечитывать, пересматривать то, во что прежде просто верил.

В доме Толстых обнаруживалось расхождение Толстого с семьей.

Как будто в тихом яснополянском доме незаметно, но изо дня в день тлела балка; начинало пахнуть гарью, но огонь не вспыхивал. Пока спор шел о том, надо ли ехать в Москву.

Уступил и в этот раз Лев Николаевич. Было решено ехать.

Неполных двести верст от Тулы до Москвы.

Сама же Тула была похожа на глухие улицы Москвы.

Толстой и Тулы не любил, в городе этом бывал нехотя. Он одно находил хорошее в Туле — это то, что тульские цыгане поют лучше московских.

Москва в то время была не столицей, как Петербург, а дворянским городом: сохранилось многое, сближающее ее жизнь с укладом старых усадеб.

Купцы давно снимали дворянские особняки, построились в Москве фабрики, но старого в городе оставалось много.

Долго искала Софья Андреевна, быстро ходящая, жаждущая событий, дом для покупки в Москве. В июле 1881 года она пишет: «Дома

продажные или огромные, около 100 тысяч, или маленькие, около 30-ти. Квартиры и дороги, и неудобны; кроме того, страх, что холодно, а спросить не у кого». Один дом около Арбата в Хлебном переулке продавался за 26 тысяч, и Софья Андреевна забеспокоилась: «...Я уверена, что в этом доме что-нибудь да не то, уж слишком дешево продается и так удобен. Завтра буду узнавать о нем в лавочках, у жильцов и разными путями, и, если одобрят, надо взять».

И другой дом был, но «...без прачечной и подозрительный для теплоты».

Искать и расспрашивать по лавочкам нелегко: Софья Андреевна была беременна. Но вот нашла она на Пречистенке, в Денежном переулке, дом княгини Волконской. Дом продавался за 36 тысяч, сдавался за 1550 без мебели.

Место на Пречистенке хорошее. Стояло тогда там много прочных, целиком деревянных или деревянных на каменном первом этаже, хорошо построенных, украшенных колоннами дворянских особняков.

В доме оказалась большая комната с окнами во двор. Софья Андреевна определила ей стать кабинетом Льва Николаевича. Этот кабинет «впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен». Стала Софья Андреевна покупать «пропасть мебели, посуду, лампы», утеплять полы войлоком, стараясь во всем угодить мужу.

Лев Николаевич в это время еще сам не знал, чего он хочет. Он еще раз проверял старую жизнь; по-новому встречался с Фетом, спорил с ним о христианстве, отвечал Н. Страхову по поводу «Писем о нигилизме».

Лев Николаевич теперь относился к старому другу иронически. Н. Страхов утверждал в это время православие, самодержавие и народность. Это была та официальная триада, на которой, как на трех китах, должна была устоять царская Россия.

Страхов говорил, что злодеи двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его. Толстой писал: «Нет злодеев, а были и есть борьба двух начал, и, разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуживать, какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины; а забывать про борьбу нельзя».

Толстой выговаривал Страхову за статьи. «Ведь это так глупо, что совестно возражать. Я буду утверждать, что я знаю Страхова и его идеалы, потому что знаю, что он ходит в библиотеку каждый день и носит черную шляпу и серое пальто. И что потому идеалы Страхова суть: хождение в библиотеку, и серое пальто, и страховщина. Случайные две, самые внешние формы — самодержавие и православие, с прибавлением народности, которая уже ничего не значит, выставляются идеалами».

Толстой знал, что если вдуматься, должно было бы выходить совсем обратное тому, что написано Страховым про нигилистов. «То были злодеи; а то явились те же злодеи единственными людьми, верующими — ошибочно, — но все-таки единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, т. е. бесконечного».

Так искал он правду, отвергая то, что прежде казалось приемлемым или не замечалось.

Супруги

Не надо целиком представлять жизнь Толстого того времени по мрачным, а порой судорожно восторженным записям Софьи Андреевны. Говорят, что если бы мы во сне всегда видели одно и то же, если бы сны имели свою непрерывность или последовательность, то считали бы сны явью. К несчастью, столкновения Софьи Андреевны с Львом Николаевичем не только были последовательны, но и логичны, рождаясь не из характеров людей, а из их бытия. Софья Андреевна была в доме как бы представи-

тельницей реального мира, его требований.

Первоначально Софья Андреевна была отходчива. Вот супруги поссорились: Софья Андреевна уже мечтает о смерти и представляет, как будут ее жалеть после смерти. Потом она идет в лес и несколько часов с детьми собирает грибы: она уже успокоилась.

Столкновения все время возвращаются, и тогда ошибочно кажется, что, кроме этого, в жизни Толстых ничего не было.

Софья Андреевна стремилась в Москву, чтобы жить в ней так, как жили другие дворянские семьи зимой. Конечно, она считала, что будет жить рядом с мужем. Но Лев Николаевич томился, снял во флигеле две маленькие комнаты, уходил за Москву-реку, пилил дрова, бродил по Москве, участвовал в переписи, возвращаясь, рассказывал о том, что не волновало Софью Андреевну. Она не была злой женщиной и соглашалась помогать бедным людям, но — понемногу и тем, кто на глазах.

Лев Николаевич рассказывал после посещений ночлежных домов, что люди боятся переписи — они не верят, что их не будут арестовывать и высылать, как зайцы не поверили бы собакам, если бы собаки сказали, что сегодня не будут ловить и убивать зайцев, а только считать и переписывать.

Заставляли думать обо всей жизни эти робкие, озябшие, больные ночлежники, мечтающие о том, чтобы согреться сбитнем, соснуть.

Поражали рассказы о проститутках — шестнадцатилетних, четырнадцатилетних и даже двенадцатилетних. Об этом зле в полиции говорили почти весело.

Но всего страшнее было то, что женщины, продающие себя, спокойно говорили о своем положении — так же, как разговаривали окружающие Софью Андреевну люди о своем жалованье, о своих поместьях.

Софья Андреевна соглашалась ужасаться, но ненадолго. Ее охватывал презрительный ужас — она

думала, что это совсем другие люди, которые иначе голодают, иначе страдают от холода, иначе спят. Тем самым она становилась чужим человеком для Льва Николаевича, который видел человеческое во всех и поэтому отвечал за всех.

Случилось, что переписчик, отставной поручик Александр Петрович Иванов, стал почти единственным собеседником Толстого дома.

Не надо представлять Софью Андреевну плохим человеком: она была обыкновенным человеком — способным, энергичным, работающим. Но относилась она к людям так, как к ним другие относятся: она принимала мир целиком, со всей его грамматикой и словарем, поправляя только то, что казалось ей опечатками.

Сютаев ей тоже нравился постольку, поскольку нравился и другим.

Вот письмо Софьи Андреевны к Татьяне Андреевне от 30 января 1882 года:

«...Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика-раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит, и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в «Русской мысли» Пругавина. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился».

Далее Софья Андреевна рассказывает, что Репин одновременно с Татьяной Львовной пишет в кабинете портрет Сютаева, а кругом весь большой свет, и нигилисты, и «кого, кого еще я не выдаю».

В перечне на первом месте какая-то Голицына, вероятно, за то, что она княгиня: все это суетно. Внезапно оказывается, что Сютаев — это не только великосветская сенсация¹, обнаруживается, что ве-

¹ Портреты Сютаева продавались в магазине Аванцо. («Толстовский ежегодник», 1913 г., стр. 6).

черами у Толстого интересуются жандармы, оказывается, что назревает какая-то борьба.

Теперь Софья Андреевна прежде всего хочет, чтобы муж ее в этой борьбе не участвовал.

У Софьи Андреевны была мания благонадежности.

Толстой не просто хотел помогать людям, он с их судьбой вторгался в мир, который, по мнению близких людей, принадлежал им — богатым. Толстой писал не о личных несчастьях отдельных людей — это можно было бы перенести: он говорил всегда о всей системе взаимоотношений людей и сравнивал жизнь проститутки с той жизнью, которая его окружала.

Он был против строя, который его окружал, и не мог его разрушить.

Как больной, не знающий, где бы ему улежся, чтобы заснуть наконец, он или уезжал из Москвы в Ясную Поляну или из Ясной Поляны в Москву. В Ясной Поляне было немножко легче, но здесь он получал письма с Денежного переулка: «Маленький мой все нездоров и очень мне мил и жалок. Вы с Сютяевым можете не любить особенно с в о и х детей, а мы, простые смертные, не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь ни к кому какую-то любовью ко всему миру.

Я думала получить сегодня от тебя письмо, но ты вчера не побеспокоился написать и успокоить меня насчет тебя. Впрочем, чем мне беспокойнее, тем лучше. Скорей сгорит моя свечка, которую теперь приходится очень сильным огнем жечь с двух сторон». (1882 г., 3 февраля).

А в это же время Толстой писал жене, объясняя столкновение: «Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие, и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество».

И дальше:

«Упиваюсь тишиной. Просителей избегаю. Мне очень хочется написать то, что я задумал.

В доме топят в тетенькиной комнате. Пережду только, если будет совсем теплый и легкий воздух. Пробуду я, как бог на сердце положит и как ты напишешь».

Старый дом был тих и наморозен. В теплой комнате Марья Афанасьевна и Агафья Михайловна пили чай и беседовали тихо.

Толстой ждал и жаждал примирения.

Софья Андреевна на это письмо ответила по-своему растроганно и миролюбиво:

«Почему городская жизнь вызывает споры — этого я не понимаю: какая кому охота проповедовать и убеждать. Это просто неопытность и глупость — делать это, и надо это предоставлять неопытному и наивному Сютяеву».

Это голос человека, умеющего не удивляться.

Софья Андреевна считала обычную жизнь людей своего круга вечной. Жизнь людей вне ее круга — находящейся где-то далеко и чем-то ее не касающейся.

Мысли Толстого для нее случайны и чудны. Двадцать девять лет она ждала, правда, довольно нетерпеливо, когда же наконец Лев Николаевич станет таким, как она.

А Лев Николаевич продолжал жить в Москве рядом с Софьей Андреевной, но отдельно от нее. Он видел свою Москву — совсем другую.

Толстой пишет 27 марта 1884 года В. Черткову:

«В это же утро нынче пришел тот, кто мне переписывает, один поручик Иванов. Он потерянный и — прекрасный человек. Он ночует в ночлежном доме. Он пришел ко мне взволнованный. «У нас случилось ужасное: в нашем номере жила прачка. Ей 22 года. Она не могла работать — платить за ночлег было нечем. Хозяйка выгнала ее. Она была больна и не ела досыта давно. Она не уходила. Позвали городского. Он вывел ее. «Куда же, — она говорит, — мне идти?» Он говорит: —

«Околевай, где хочешь, а без денег жить нельзя». И посадил ее на паперть церкви. Вечером ей идти некуда, она пошла назад к хозяйке, но не дошла до квартиры, упала в воротах и умерла». Из частного дома я пошел туда. В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с заостреннейшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьякон читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить».

В статье «Так что же нам делать?», в которой примеров было много, написано все мягче.

Кроме того, Толстой надеялся провести статью сквозь цензуру. Он построил ее на скорбном удивлении человека перед собственной своей жизнью.

Несчастную, голодную, богатую, распутную, дешево платящую за погубленные жизни Москву увидел Толстой. Он узнал после голода деревни голод города.

В библии сказано: враги человеку домашние его. Это неправда. Человек переносит на домашних свою робость, собственную нерешительность; они — его оправдание, его гибель, если он не переделает жизнь.

В Долго-Хамовническом переулке

Квартира в Денежном переулке (ныне Малом Левшинском) Льву Николаевичу не понравилась: снял две комнаты во флигеле. Опять выходило нехорошо: он жил с семьей врозь, хотя и рядом. Между тем жить надо в Москве, Толстой с этим согласился. Он и Сергея Николаевича хотел перевезти в Москву и подыскивал ему квартиру недалеко от себя, соблазняя брата необыкновенной дешевизной помещения.

Лев Николаевич не умел в мелких делах быть до конца самостоя-

тельным. Софья Андреевна ему писала не без основания: «Ты сам виноват, слишком много дал мне воли».

Ему иногда хотелось, чтобы кто-нибудь за него решал и принимал ответственность. И в то же время он сам все решал, но в целом, в общем и не назавтра. Вот дневниковая запись Толстого, сделанная в декабре 1882 года: «Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные. Больше месяца. Но не бесплодные». Запись довольно длинная — приведу отрывки: «Станешь смотреть на плоды добра — перестанешь его делать, мало того — тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Лев Николаевич, не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть — испортишь пшеницу».

Вероятно, полоть посев — значит доделывать все до конца, поставив перед собой требование не только сказать, но и добиваться выполнения.

Толстой в Москве искал деревенскую усадьбу, что уже означало уступку: сохранение быта.

Он в городе искал деревню.

М. Н. Загоскин писал в своих очерках «Москва и москвичи»:

«Вы найдете в Москве самые верные образчики нашего простого сельского быта, вы отыщете в ней целые усадьбы деревенских помещиков, с выгонами для скота, фруктовыми садами, огородами и другими принадлежностями сельского хозяйства. Один из моих приятелей П. Н. Ф...в нанимал по контракту в Басманной улице дом господина К...го. Я сам читал этот контракт. В нем, между прочим, сказано, что постоялец имеет в полном своем распоряжении весь сад, принадлежащий к дому, за исключением, однакож, сенокоса и рыбной ловли».

Очерки написаны в пятидесятых годах, но и дом, купленный вместе

со старым садом Толстым в 1881 году, построен в 1808.

Лев Николаевич сам в апреле месяце нашел усадьбу И. А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке, д. 15, и в июле совершил на этот дом купчую крепость. Переулок находится недалеко от Новодевичьего монастыря, Льву Николаевичу понравилось уединенное положение дома, запущенный сад почти в два гектара. Дом старый, построен еще до московского пожара, принадлежит к допожарной, догрибодовской Москве.

У дома большой сад, липы, вязы, клены, березы, сирень белая и лиловая. Тихо, хорошо, деревья шумят; непохоже на город. Похоже, — и это отмечали все, кто бывал у Толстого в то время, — на пригородную помещичью усадьбу. Помещики и в Москве жили как у себя в поместье, переносили с собой свою усадьбу, как улитка перетаскивает раковину.

Дом был мал для большой семьи, где восемь детей, старшие — Сергей и Татьяна, Илья, Лев, младшие — Мария, Андрей, Михаил и Алексей, а сколько еще учителей и слуг!

Решено было расширить дом: помещики любили строить, обстраиваться, выдумывать, как встроить под крышу антресоли, не трогая крыши; не боялись нарушить симметрию для того, чтобы жить по своему.

Нижний этаж и антресоли остались в прежнем виде, а над первым этажом построили три высокие комнаты с паркетными полами. К ним вела парадная лестница. Для своего жилья Лев Николаевич выбрал перестроенные низкие комнаты старого дома. Ход к ним шел из парадной комнаты, через три ступеньки.

Создавался дом вдохновения, творчества и компромисса.

Толстой вошел в дом на Долго-Хамовническом переулке могучим пятидесятичетырехлетним человеком.

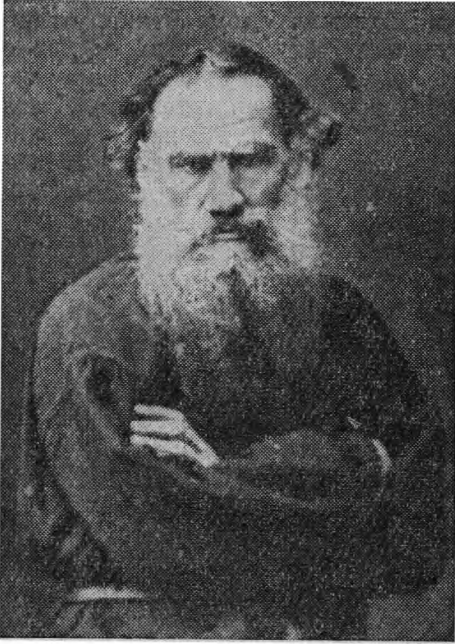
В последний раз он посетил этот дом в сентябре 1909 года.

Жил он здесь долго; написал «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?», «Смерть Ивана

Ильича», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейсеру сонату», «Народные рассказы», «Воскресение», «Хозяин и работник», «Что такое искусство?», «Живой труп», «Хаджи Мурат». Но нужно сказать, что основное ядро своей последней великой повести Толстой написал в Гаспре в промежутке между двумя тяжелыми болезнями.

Старый профессор Иван Никанорович Розанов, показывая свою замечательную библиотеку, когда-то показал и коллекцию непохожих портретов великих людей: нарядно одетого Шевченко, молодого Мусоргского, Тютчева с пледом на плечах и многих других. Традиция выбирает из портретов великих людей один и закрепляет романтического Пушкина, Шевченко — в смушковой шапке. Мы знаем много портретов Толстого, но помним его стариком — глубоким стариком. Поэтому для того чтобы восстановить, какой же человек устраивал хамовнический дом, приведу словесный портрет художника И. Е. Репина, который в этом доме познакомился с Толстым в апреле 1884 года:

«Вырубленный задорным топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд, грубых, простых черт все другие покажутся скучны». Дальше Репин начинает разбирать лицо Толстого как художник-портретист, отмечает надбровные дуги — большие, низко поставленные уши, широкий, смело очерченный рот, с энергичными углами, спрятанными под львиными усами. Середина губ плотно и красиво сжата. «Внешние манеры военного, даже артиллериста. Склад его тела: кости — отростки мышечков — прикрепление сухожилий: рабочие руки большие, несмотря на длинные пальцы, были «моторными» с необыкновенно развитыми суставами — признак мужицких: у аристократов в суставах руки пальцы тоньше фаланг. Цвет толстой кожи — терракоты, — прозрачность аристократической кожи, белизна, синеватые жилки — все эти признаки чистого аристократизма отсутствуют».



Л. Н. Толстой. 1885 г.

Московским домом Толстой тяготился, но в нем долго жил, работал и состарился.

Прожито было здесь с выездами в Ясную Поляну восемнадцать горьких и трудовых лет.

Начата была стройка легко. Лев Николаевич обо всем заботился сам, отпустив жену; она присылала ему письма о печках, о форточках, напоминая, чтобы балясины на лестнице поставить погуще, чтобы ребенок не мог выпасть; писала о том, когда надо красить полы, чтобы это не попало на осень. Лев Николаевич жил с сыном Ильей и старым Константином Александровичем. Когда-то Иславин руководил Львом Николаевичем и казался ему образцом элегантности; был Иславин прекрасным знатоком музыки, великим любителем цыганского пения, потом стал родственником Толстого: он — брат матери Софьи Андреевны.

Стал он неудачником, бедняком и бездельником. У него теперь не было даже паспорта исправного.

К. А. Иславин был «незаконно-рожденным», приписан был к купеческому сословию, вид должен был получить из купеческой управы, но это ему казалось обидой. Долгое время проживал по удостоверению,

выданному по знакомству епифанским уездным предводителем дворянства В. Д. Оболенским, а сейчас Лев Николаевич хлопотал о таком же документе у председателя Крапивинской уездной управы А. Н. Бибикова, хотя, казалось бы, не все ли равно, по какому документу жить старому бездомному человеку, которого никто не беспокоит.

Костенька играл на рояле, рассказывал разные великосветские истории, давал советы, объяснял мальчику Илье Львовичу, что паркет желтый с черными полосками, который кладут в зале, — это «самый шик».

Хозяйки не было, кухарки не было, мебель вся сбита в одну комнату. Варили мясо, кашу, жили привольно — Робинзонами. Софья Андреевна завидовала в письмах легкой жизни мужчин, давала наставления и ревновала Льва Николаевича к дяде.

Кроме Костеньки бывал здесь еще один человек, переживший кораблекрушение, — это отставной поручик Александр Петрович Иванов, человек спившийся, живущий по ночлежным домам и обладающий хорошим почерком. (Мы о нем уже говорили). В ночлежных домах попадалось немало переписчиков; почерк — последнее, что оставалось у интеллигентного человека. По почерку жена лорда узнавала своего пропавшего мужа в старом хорошем романе Диккенса «Холодный дом». Потом она отыскивала могилу мужа и находила одичавшего мальчишку, последнего друга мужа, который показывал на могилу через решетку палкой от метлы. Из могилы выходила крыса.

Александра Петровича никто не разыскивал, и жил он еще долго, но Толстой был привязан к нему, как и к Костеньке и к кучеру Лариону. Александр Петрович был Вергилием Льва Николаевича по аду Москвы, не уважаемым проводником, без лаврового венка, без древней славы и без упрека — с одним вопросом: «Что же нам делать?»

Средневековый ад, описанный Данте, считался созданным дьяво-

лом. Московский ад, который осматривал Толстой, был явно создан людьми, такими же, которые ходили в гости в парадные комнаты дома в Долго-Хамовническом переулке.

В парадных комнатах Александр Петрович не бывал.

Часто бывал этот опустившийся и не боящийся ничего человек в комнатах самого Льва Николаевича.

Собственных комнат Толстого было две: рабочая комната и кабинет. В рабочей комнате умывальник — жестяной, крашенный масляной краской, и ведро. Это бедный обычный умывальный прибор того времени. В этой же комнате Лев Николаевич занимался сапожным делом: тут была у него железная лапка, молоток, рашпиль, сапожные гвозди. Рядом со столом у окна стояло венское буквое кресло, на некрашеном рабочем столе лежала оловянная грелка Льва Николаевича. Тут же стояла маленькая керосиновая печка с вытяжкой в окно: Лев Николаевич сам варил себе на ней овсянку с грибами и подогревал сапожный вар.

Кабинет Льва Николаевича — очень низкая комната, угловая, большая, почти в двадцать метров. В кабинете стоял ореховый стол — по тогдашней моде с низенькой загородочкой вокруг, чтобы, переключая книги или отодвигая бесчисленные черновики и копии, не уронить их. На столе — традиционный письменный прибор, здесь не нужный: Лев Николаевич писал, макая перо прямо в баночку с чернилами. В той же комнате два кресла, два стула, диван — все покрыто темно-зеленой клеенкой под кожу.

Лев Николаевич жил в собственном доме как бы отдельно. Можно было пройти ко Льву Николаевичу отдельной черной лестницей через девичью, если в зале гости.

Помещение удобное, все сделано по-своему.

Перед столом кресло с подрезанными ножками. Лев Николаевич был близорук, во время работы очки не надевал, а низко склонялся над рукописью.

Владимир Ильич Ленин, утверждая 6 апреля 1920 года декрет об объявлении дома Льва Николаевича в Москве государственной собственностью, говорил, что надо в доме все сохранить по-прежнему. Массы должны знать, как жил Лев Николаевич «на два этажа». Он сам отразил это в своих произведениях.

Этот дом с его разделением Лев Николаевич построил не для себя, но по-своему.

Он наблюдал, как перестилают полы, как переключивают печи, заботился о том, чтобы устроили подвалы для хранения яблок, которые перевозились сюда из Ясной Поляны на продажу. Сам придумал, чтобы покрыли лестницу сукном. Софья Андреевна была довольна, потому что в Ясной Поляне нашлось сукно и его не надо было покупать.

Дом был домом компромисса и примирения, жильем «на два этажа».

Лев Николаевич ходил на Сухаревку, покупал мебель дополнительно к той, которая куплена была самой Софьей Андреевной. В доме появлялась недорогая сборная мебель, комнаты становились похожими на яснополянские.

Лев Николаевич был доволен садом. Отремонтировали конюшню, флигеля, покрасили, хотя и с опозданием, полы. В прихожей поставили диваны-лари и вешалки — все из ясеневоего дерева, на двери стеного шкафа большими белыми кривыми буквами написали грозное слово: «Керосин».

Керосин был новинкой, его боялись, с ним не умели обращаться.

Тем не менее в передней в грозном соседстве с керосином ставили самовар — это помещицья традиция.

Комнаты семьи обставлены разнокалиберно. Много гнущейся недорогой «венской» мебели. На верхнем этаже есть паркетные полы. В гостиной хороший рояль. Татьяна Львовна стала художницей: появились картины и гипсовый бюст Антонио. Дом по московским, того времени, понятиям — средней руки.

Лакей внизу, однако, в белых перчатках.

Рядом с комнатами Толстого — комнаты слуг и кладовая.

Роскоши, в которой себя обвинял Толстой, не было. Здесь, в старомосковских заново построенных комнатах, Толстой начал создавать новые свои произведения и новую религию.

Много есть рассказов о том, как жил Лев Николаевич в Долго-Хамовническом переулке. Прожил он здесь долго, стараясь жить в четыре упряжки: занимался физическим трудом, умственным трудом, общением с людьми и еще литературой.

Упряжки все были тяжелые. Он привозил воду на весь дом, колот дрова, шил сапоги. Над этим иронизировал Фет, и, кажется, на этом дружья окончательно разошлись. Фет хотел сделать из пары сапог достопримечательность, взяв удостоверение о том, кто их сшил, а Лев Николаевич писал об этом грустно; он когда-то любил этого человека.

В. Короленко в статье «Великий пилигрим» пишет: «С. Н. Кривенко... в своих очерках («Культурные скиты») сделал ядовитое замечание, что Л. Н. Толстой принялся пахать и шить сапоги «после того, как другие уже отшили и отпахались». Правда состоит в том, что Толстой всегда стремился к опрощению жизни, увлекался всякой непосредственностью... Теперь эти инстинктивные стремления углубились и окрепли. И когда другие отпахались, Толстой остался на брошенной ниве...»

Лев Николаевич начал шить и пахать тогда, когда уже все отпахались и отшили. Но «упряжки» Льва Николаевича, его беспокойство было беспокойством общим: как жить в остановленной России, как быть невиноватым, что противопоставить насилию?

Лев Николаевич считал, что нужно прежде всего упростить свою жизнь, брать меньше на себя, самого себя обслуживать, не стыдиться выносить свой горшок и не лениться самому убирать комнату. Он не решался переделать жизнь семьи, хотя когда ко Льву Николаевичу приехал романист Петр Боборыкин,

то они вместе вспоминали Прудона. П. Боборыкин утверждал легкомысленно, но правильно, что Прудон сумел бы переделать быт семьи: «...он не стал бы отговариваться тем, что не желает никакого насилия над близкими людьми, а заставил бы их отказаться от дарового пользования земными благами, которые они сами не зарабатывали; не только не позволил бы он им проживать то, что сам имел, да и их-то наследственной собственностью запретил бы им пользоваться, считая ее узурпацией и воровством».

Толстой согласился, по словам Боборыкина, с ним, но вряд ли этот популярный беллетрист был прав. Прудон был по складу жизни своей французским крестьянином; когда он обедал, то жена не садилась за стол и стоя прислуживала, но Прудон не этим знаменит и не этим был грозен многим людям во Франции и в России. Изменение личной жизни при неизменной жизни семьи не изменяет строя мира — это только своеобразный монастырь, это выгораживание себя из зла мира.

Свою комнату легче подмести, чем переделать мир.

Лев Николаевич пока что убирал и переделывал свою комнату, не трогая комнат детей, но он с такой точностью описывал несправедливость мира и так переделывал сам себя, что стал упреком времени.

В задавленной после 1881 года России Лев Николаевич как будто стучал во все двери, говоря: не спите, горят балки в вашем доме, тлеет ваша судьба, придет возмездие, люди рядом с вами несчастны, и это вы их ограбили.

Лев Николаевич изо дня в день писал статью, которая превращалась в книгу-дневник. Называется она «Что же нам делать?» В ней рассказывается о том, как живут люди в Москве, как они дичают от голода и как равнодушны к ним другие люди. Лев Николаевич не нашел покоя в окруженном садом доме. Дом стоял среди маленьких фабрик: на одной ближайшей делали чулки, на другой ткали шелк, третья фабрика была парфюмерной, на четвертой

варили пиво, над каждой гудели гудки. Гудки гудели настойчиво: в пять часов утра, в восемь часов — это полчаса передышки, в двенадцать часов третий гудок — это час на обед, в восемь часов — четвертый гудок — это шабаш.

Человек, привыкший утром слышать, как переключаются петухи, как встречают они утро — первой, второй и третьей переключкой, — слушал переключку фабричных гудков.

В гудках светлело утро. Фабричные гудки переключались сперва рядом с Толстым, потом начинали кричать далекие гудки. Утро заглядывало в маленькие окна толстовского кабинета, гудки, затусованные шумом города, пели; солнце обходило угол дома и светило с другой стороны сквозь деревья; наступал вечер, и небо за деревьями становилось красным; гудели гудки.

Не помогало шить сапоги, возить воду. Гудки были для Толстого счетом вины:

«Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, что они определяют время: «А вот уже свисток, значит пора идти гулять»; но можно соединить с этими свистками то, что есть в действительности: то, что первый свисток — в 5 часов утра, — значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой».

Были гудки. Лев Николаевич думал, что люди города должны разойтись, должно было прекратиться производство того, что он считал роскошью. Только пивному заводу он прощал его существование, потому что пиво могло вытеснить водку. Остальные заводы, ка-

залось ему, делают только предметы роскоши; дальних грозных гудков заводов, которые лили железо, строили паровозы, прокатывали рельсы, — он не слышал.

В Ясную Поляну, правда, он ездил по железной дороге, но не любил вагонов с чужими городскими людьми и трижды ходил из Москвы в Ясную Поляну пешком. Это было время поисков. Прошлое, в том числе и работа писателя, казались ошибкой.

Рассказ Боборыкина, много пишущего, все интересно и внимательно записывающего, и здесь может пригодиться.

Лев Николаевич отрешивался в то время от «Анны Карениной», от «Войны и мира» и не писал беллетристику. Боборыкин записывает: «Когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так:

— Знаете, это напоминает мне вот что: какой-нибудь состарившейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки».

При этом он перед словом «француженка» употребил крепкое русское слово».

Лев Николаевич считал, что история о том, как Анна Каренина любила Вронского, не заслуживает того, чтобы это записать. Он как бы забывал о том, что в этом же романе написана история неустроенной души Левина и споры о социализме; рассказано о России, в которой все перевернулось и никак не может уложиться.

Быт Толстого и проповедь Толстого пришли в противоречие.

Дневники того времени полны разговорами о компромиссе. Средний путь, о котором говорил Толстой и жене, — путь компромисса.

Но Лев Николаевич каждый день оживлял в статьях неправду жизни людей и каждый день он и его семья осуществляли эту неправду. Быт помещика, зимующего в Москве с семьей, противоречил словам Толстого.

Лев Николаевич велел положить

на лестнице недорогое сукно. Зимой лошади его выезда покрывались попонами. Так было принято делать в кругу Толстого. Но в статье «Что же нам делать?» Толстой писал, что в то время, когда мы покрываем сукном полы и лошадей, рядом ходят голые люди. Он укорял не только других, но и себя. Он строил дом, смотрел, как перекладывают печи, покупал мебель, создавал обычную обстановку состоятельного человека.

Но в то же время он задумал книгу, которую написал несколько позднее, — «Смерть Ивана Ильича».

Иван Ильич тоже налаживал жизнь, снимал квартиру, вешал портьеры. Случайный удар пробудил в нем тающую болезнь. Он заболел раком и, лежа в постели, увидел свою, Ивана Ильича, жизнь. Иван Ильич шел по своим следам обратно; так идет человек, ищущий потерянную вещь; потеряна была жизнь.

Человек поет или кричит, а дальние горы отбрасывают от себя звук, и эхо, возвращаясь, противоречит тому, что говорится.

Эхо совести Толстого проверяла его жизнь. И комнаты его дома были обставлены не только недорогими вещами, но и раскаянием.

Скажем еще несколько слов об этом старом доме.

Он имел парадную широкую лестницу и черную, очень узкую.

Как старинный дворянский экипаж с ящичками и баулами, он был полон комнатами и комнатками, полными слуг и детей.

Здесь жили студент, и ученица художественной школы, и гимназисты, и малыши. Здесь рождались дети. Последним был Ванечка.

У Толстого здесь умерло два сына: Алексей — пяти лет и Иван — семи лет.

Ванечка родился 31 марта 1888 года. Друзья Толстого сидели внизу с детьми; роды происходили наверху в гостиной. По лестнице тихо спустился Толстой, заплаканный, но радостный. Он сказал:

— А было очень страшно.

Он позвал Бирюкова к роженице, как бы желая похвастаться му-

жеством матери, перенесшей страдания без крика и даже стона.

Софья Андреевна лежала на диване в гостиной, покрытая до головы одеялом, глаза ее сияли, рядом с ней копошилось красненькое существо.

Жизнь последнего сына много изменила в жизни Льва Николаевича. Ему показалось, что в мир вошел человек, который будет потом довершать толстовское дело, хотя в младенце еще не было видно ничего. Но дом перевернулся. Лев Николаевич спустился сверху, изменилось расположение комнат, Татьяна Львовна начала жить наверху; в скромную комнату, похожую на комнату гувернантки, переехала Марья Николаевна. Кабинет Льва Николаевича остался наверху, но спальня переместилась вниз.

В проходной комнате за ширмами стояли две сдвинутые рядом кровати — Льва Николаевича и Софьи Андреевны — с гарусными покрывалами, связанными Софьей Андреевной. У окна стояла мебель — сборная и скорей бедная, чем богатая, и красивый рабочий столик, когда-то подаренный Софье Андреевне Татьяной Ергольской.

Комната проходная. За дверьми другая, довольно большая, тоже бедно обставленная комната; кровать ребенка, кровать няньки. Нянькины платья на стене. Клетка с чижиком на окне. Бедный столик, венские стулья. В этой комнате жила любовь Софьи Андреевны и Льва Николаевича, соединенная в жизни ребенка, Ванечки Толстого, который по разделу получил Ясную Поляну, потому что в роду Толстых был обычай, что Ясная Поляна должна принадлежать младшему. Так, она принадлежала младшему сыну Николаю Ильича — Льву Николаевичу.

Ваня болел — это был хрупкий мальчик. Его Софья Андреевна носила пятнадцатой своей беременностью, родители были стары. Иван Львович был одним из всех, кто получал долю толстовского наследства при жизни отца, его интересы защищала Софья Андреевна.

Умер Ваня от скарлатины в 11

часов 23 февраля 1895 года. Смерть его на некоторое время опять горем связала родителей.

Смерть Ванечки была непосильна Софье Андреевне. Она сломалась на этой смерти. И после этого уже с трудом тянула жизнь, не знала, как жить.

Народные рассказы

Лев Николаевич все и всегда принимал со спором. Во время первого своего путешествия за границу он несколько раз посетил Лувр. 3/15 марта 1857 года в Лувре он отметил только портрет Рембрандта и картины Мурильо. Через день с Орловым еще раз пошел в Лувр и записал: «Все лучше и лучше». Был он в Лувре еще в конце марта.

Лувр для Льва Николаевича оказался предметом спора и исследования, Лувр Толстой запомнил.

Летом в Люцерне Толстой описывает своих соседей по столу: «В окно, на черном фоне тополей, смотрят ползущие, освещенные свечкой лозы винограда».

Через несколько дней Толстой записывает: «Артиста жена — луврская мадонна, но улыбки нет».

Толстой все видит и запоминает, но не соглашается.

Невнятное для него, по его мнению, не нужно народу. Но может быть дело обстояло иначе. Толстой считал недоступное народу ненужным и ему, Льву Николаевичу.

Он отрицал Рафаэля и утверждал лубок.

Б. Н. Чичерин рассказывает, что в Париже Толстой покупал раскрашенные литографии какого-то Гренье и восхищался ими; в ответ на ироническое замечание Чичерина, собиравшего тогда гравюры старых мастеров, Толстой писал ему: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля».

Вероятно, цветные гравюры много учившегося Гренье были не так плохи, как думал Чичерин, но важна тут толстовская характеристика

Рафаэля; кроме того, Гренье был нужен: он издавал рисунки для школ.

Толстой не только пользовался лубочными картинками начала XIX века как историческим материалом при написании «Войны и мира», но и хотел в них найти эстетику народа.

В черновиках одной статьи в 1862—63 годах Лев Николаевич писал о том, что «уже давно в Европе и у нас пишутся книги для поучения народа труду и смирению (которого терпеть не могут поучающие), а народ, по-старому, читает не то, что мы хотим, а то, что ему нравится: читает Дюма, Четьи-Минюю, Потерянный Рай, путешествия Коробейникова, Францья Венциана, Еруслана, Английского Милорда — и своим особенным путем вырабатывает свои нравственные убеждения».

Уже тогда Лев Николаевич думал о том, какие книги издавать для народа, и считал, что народу надо дать то, что он требует: «Все это мы написали только для того, чтобы не ввести в заблуждение критика, встретившего в наших книжках, очень может быть, переделки Ермака с плясками и танцами или Английского Милорда Георга».

Лев Николаевич считал, что народ неподвижен и в неподвижности своей заключает истинную систему нравственности и нормы эстетической оценки.

Спустя много времени, в 80-х годах, Лев Николаевич говорил в московской частной квартире речь о народных изданиях. Она была произнесена, вероятно, в 1883 году в квартире Митрофана Павловича Щепкина — земского деятеля. Щепкин знал Сютаева и возможно, что он познакомил Сютаева с Толстым.

Митрофан Павлович был организатором переписи 1882 года, в которой так много увидал Толстой.

В этом обществе, в котором участвовали и Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, И. И. Янжул, и произнес свою речь Лев Николаевич. Речь пришла к нам из архива М. П. Щепкина. Это черновик, но он очень любопытен во всей своей несведенно-

сти. Толстой говорил о бездарности и глупости церковных изданий, о бесполезности пашковских изданий. Полковник-аристократ и родственник Черткова проповедовал спасение веры: человек мог верить в Христа, а жить, как хотел.

Лев Николаевич говорил, что писатели невежественны и знают только то, что выдумала кучка людей. Что же они выдумали?

«Мы предлагаем народу Пушкина, Гоголя, не мы одни: немцы предлагают Гете, Шиллера, французы — Расина, Корнеля, Буало, точно только и свету что в окошке, и народ не берет».

Толстой говорил, что надо найти настоящую пищу для народа: «Если мы найдем ее, то всякий голодный возьмет ее».

Планы весьма большие: создать книги для голодных миллионов. Книжки особые.

Надо было немедленно написать для народа что-нибудь понятное и нравственное. Нужен ли большой талант для того, чтобы писать простое и понятное, сам Толстой еще не решил и предлагал в письме к анонимным тифлисским барышням, которые просили его совета, что делать для народа, — начать переделывать для книги, заново редактировать лубочную литературу.

Лев Николаевич знал, что бывший дворовый Матвей Комаров, написавший во времена Екатерины «Обстоятельные и верные описания жизни, всех дел и странных похождения Российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, с предведомлением о причине сочинения, также с приобщением песен, в которых имя его упоминается и с вынесенными на поле доказательными примечаниями...» и «Повесть о приключении Английского Милорда Георга», стал народным писателем, и книги этого Комарова читаются народом, хотя они не только плохо написаны, но и безнравственны.

Лев Толстой решил вытеснить эти книги своими сказками, переделками книг из Жития святых и облагороженным старым лубком.

Когда распространение и печатание книг было передано в ведение Сытина — превосходного знатока лубочной литературы, книги пошли.

Матвея Комарова они не вытеснили, хотя чертковское издательство «Посредник» выпустило своего Георга, как бы подделав Комарова, но эта какой-то доброй душой написанная книжка не обладала той поразительностью, той наджизненностью, которая пленяла читателей у Комарова. «Английский Милорд Георг» Комарова издавался до 1917 года по старому, неправленному тексту (см. мою книгу «Матвей Комаров. Житель города Москвы», изд. «Прибой», 1929 г.).

Хороший организатор, Чертков взялся организовать такое издательство и этим навсегда привлек к себе Толстого.

Всех народных рассказов сам Толстой написал двадцать два. Среди них есть такие, как «Искушение господина нашего Иисуса Христа», «Страдания господина нашего Иисуса Христа» и текст к картине Ге («Тайная вечеря»). Этот текст должен был быть напечатан вверху к картине Ге. Внизу объясняется сама картина — главный смысл ее, по Толстому, в том, что Иисус показывает пример любви к врагу и спасает предателя Иуду от гнева учеников.

Многие народные рассказы представляют переработку Жития святых. Наиболее интересной была «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарас-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах».

Это целиком толстовская сказка. Иван-дурак — это крестьянин, Семен-воин — воин-дворянин, Тарас-брюхан — купец, старый дьявол, работающий головой и соблазняющий Ивана, — интеллигент.

«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» не имеет в основе заимствования из народного источника. Из фольклора перешли сюда только троечность братьев и симпатия к третьему — младшему брату, которого считают дураком.

В народной сказке три брата равны по своему социальному положению, по своим стремлениям — они крестьяне, и все стремятся к удаче, которая сказочно воплощается в тему женитьбы на царской дочери.

У Толстого старший брат Семеновин — это николаевщина с марширующими одинаковыми, как колося, обезличенными солдатами, связанными в снопы-полки.

Второй брат — Тарас-брюхан (в некоторых рукописях Тарас-кулак) — это капиталистический строй, власть денег. Капитализм взят как прямая власть денег.

Солдатчина, военное государство, деньги, купеческое государство — это два искушения, которые поставили черти перед крестьянами. Ивану-дураку все это чуждо, ненужно. Солдаты для него — это музыка и песни, золотые деньги — бляшки для подарка детям.

Иван-дурак признает только мозольный труд. Этот мозольный труд является в данном случае синонимом хлебного труда.

Иван-дурак, как в сказке, вылечил царскую дочку, царская дочка его полюбила. Она женщина, полная покорности, и когда муж, получивший царство, остается мужиком, то она тоже становится мужичкой. Старый дьявол не может соблазнить Иванова царства, на него никто не хочет работать. Мужики Толстого противопоставляют деньгам и солдатам несопротивление и прощение.

Когда старшие братья Ивана перестали быть царями, Иван-дурак стал их, как предлагал Сютяев, кормить. Головная работа дуракам не нужна: они работают руками и горбом.

Так произошло в сказке; ее напечатали на скоропечатных машинах, сбросьюровали новыми машинами, развезли по железным дорогам, но ничего она не изменила, и мозольный труд не стал легким.

Толстым же написана и сказка «Свечка»; история этой сказки любопытна, но сперва передадим ее содержание. Начинается все эпи-

графом: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому».

Дальше начинается такой вывод: «Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было».

Ввод этот по-своему правилен, но все же ответственность перенесена на исполнителей. Один из таких исполнителей приказал крестьянам пахать в пасху. Они отказались, но среди них был божий человек Петр: он приладил на соху свечу пятикопеечную и начал боронить. Боронил он, изворачивал и отряхал борону, а свеча на ней не тухла. Остальные мужики ругались и говорили про приказчика: «Чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла».

Угроз приказчик не испугался, а чудо с негухнувшей свечкой его поразило. Поехал он смотреть на поле, увидел — пашет Петр, поет песню. Заскучал приказчик, поехал домой. Слез сам с коня, отворил ворота и стал опять садиться. Лошадь испугалась, и приказчик перевалился пузом на чостокол «и пропорол себе брюхо, свалился наземь».

В отличие от большинства «Народных рассказов», основа «Свечки» взята не из «Прологов» и «Четьи-Миней», а из фольклора.

Рассказ этот сразу вызвал почтительно-настойчивые возражения В. П. Черткова.

Вся сказка Черткову понравилась, но случай с приказчиком его огорчил, и начал он с Толстым переписку — спокойную, настойчиво-въедливую.

Чертков понимал, что этот рассказ отрицает эпитафию. Приказчик все же погибает, и исполняется желание не Петра, а злых мужиков.

Свечка — сама по себе, а месть — сама по себе. Чертков писал:

«Эта ужасная смерть приказчика как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным... всё это ужасно

тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним... И кто не читает этот рассказ из лиц, вполне разделяющих наши взгляды, и из лиц, только симпатизирующих им,— все — в один голос находят, что рассказ и по форме, и по содержанию прекрасен, только вот конец все портит» (письмо от 7 ноября 1885 г.). «Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению... но... было бы боязливо и недобросовестно с моей стороны не сделать еще попытки убедить вас согласиться на маленькое по форме, но мне кажущееся весьма важное по существу изменение конца».

Чертков пишет сладостно; изменение конца, по его мнению, маленькое. Толстой ответил 11 ноября 1885 года: «Я... начинал писать и написал другой конец. Но всё это не годится и не может годиться. Вся история написана ввиду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою».

Толстой не согласился, но послушался. Он переделал сказку: все кончилось в ней благополучно, приказчик покаялся; название у произведения получилось такое: «Свечка или Как добрый мужик пересилил злого приказчика».

Так она была напечатана в издании «Посредника» в 1886 году, но тогда же вышла 12-я часть сочинений графа Толстого — и в ней появилась снова «Свечка», и приказчик погибал на колу.

То понимание мира, которое выражал Толстой, не случайно, но неправильно. Гений и искренность в результате не спасали Толстого от компромиссов и противоречий.

Толстой восторгался Гомером, Геродотом, Вольтером, Руссо, Стерном, Пушкиным, Тютчевым, Лермонтовым, Чеховым и сотнями книг других авторов, то принимая, то отвергая их, и пытался найти или создать иное искусство в короткий срок. Он отвергал историю искусства, желая дать ей иную развязку, основанную на религии.

Невозможность этого так же очевидна, как то, что у одного рассказчика «Свечка» не может быть двух развязок. Ошибка Толстого была в том, что он думал, что народу нужно что-то особо простое, что для народа нужно писать понятно, и Гомер — это не для народа, а только для Толстого, и сам Толстой не весь для народа, исключая «Народные рассказы», «Кавказского пленника» и «Азбуки».

Все это неправильно. Толстой напрасно утверждал Комарова и отвергал себя.

Он не признавал истории, а история в результате трудов и подвиги все время изменяла пределы понимания и доступности Толстого.

Вот что писал Ленин в статье «Л. Н. Толстой»:

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».

Москва — Крекшино — Москва

Долго не был Толстой в Москве. Так как Черткову был запрещен полицией въезд в Тульскую губернию, а Лев Николаевич хотел с ним встретиться, пришлось на время покинуть Ясную Поляну.

Те ограничения, которые применили к В. Г. Черткову, были обидными, но минимальными: ему разрешалось жить во всей России, кроме Тульской губернии и, в частности, Ясной Поляны. Поэтому он жил или на границе Тульской и Калужской губерний, или в Крекшине Звенигородского уезда — имении своего отчима, отставного гвардии полковника, великосветского религиозного сектанта В. А. Пашкова.

В Крекшино ехали через Москву.

В Долго-Хамовническом переулке Толстого не ждали. Солнце светило через запыленные окна.

Сергей Львович, который должен был встретить Льва Николаевича, опоздал.

Лев Николаевич лег в гостиной наверху.

Приехал Гольденвейзер, привез обед и начал разогревать его на керосинке.

Лев Николаевич узнал от Гольденвейзера, что в магазине Циммермана появилась новинка — механическое пианино «Миньон». На ленте механического пианино записывали исполнение знаменитых пианистов, которое потом точно воспроизводилось.

Решили поехать утром на извозчике на Кузнецкий мост в магазин.

Лев Николаевич давно не был в Москве, и все его поразило: высокие дома, трамваи, движение. Он с ужасом смотрел на изменившийся город и, по словам А. Б. Гольденвейзера, «...на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации».

Фирма Циммермана устроила торжественную встречу, Александре Львовне поднесли букет.

Приглашенный магазином фотограф снял группу.

Фирма была довольна посещением и выпустила впоследствии его иллюстрированное описание как рекламу механического пианино.

Пианино было отправлено в Крекшино на время пребывания там Толстого.

В Москве прокладывали трамвай; улицы были разрыты. Посмотрели вновь открытый памятник Гоголю у тогдашних Арбатских ворот. Андреевский памятник Льву Николаевичу понравился, хотя ему говорили, что скульптуру большинство очень бранит.

На другой день поехали в Крекшино тогдашней Брянской железной дорогой. Крекшино находится почти под Москвой.

Дом Пашкова — большой, кирпичный, двухэтажный, в стиле английских загородных домов конца прошлого века. Парк, тоже английский — большие рощи с купами деревьев, расположенные посреди

широких полян, не соединенные русскими помещичьими липовыми аллеями. Если бы деревья, которые росли среди полян, не были березами, то русского в имении Пашкова было бы совсем мало.

Березы уже начинали желтеть, поляны покрыты слабо-желтыми опавшими листьями.

Лев Николаевич приехал к Черткову по делу: он собирался подписать завещание, с тем чтобы авторские права на вещи, написанные после 1881 года, были переданы в общее пользование юридическим порядком.

Сперва в Крекшине жили мирно. К Толстому приезжали учителя, музыканты, он гулял по окрестностям, разговаривал с крестьянами, писал. Чертков с рыжеусым англичанином-фотографом делал с Толстого снимки.

В Крекшино вскоре приехала с Александрой Львовной Софья Андреевна. Софья Андреевна была не совсем здорова — она ушибла ногу. Приехала повидаться и побыть с мужем в день своих именин — именины Веры, Надежды, Любви и Софьи приходятся на 17 сентября старого стиля — и поговорить о делах.

Лев Николаевич нервничал. Софья Андреевна надеялась, что Толстой не подтвердит свое старое завещание, и тогда, естественно, дети останутся полными наследниками.

Но и сейчас надо было устраивать дело: издательство «Просвещение» предлагало большие деньги за переуступку прав на издание. Софья Андреевна сперва полагала, что дело может решить она сама, но вскоре узнала, что доверенность, выданная ей Львом Николаевичем, хотя и действительна для того чтобы иметь дела с типографией и книжными магазинами, но на основании этой доверенности нельзя продать права на собрание сочинений. Сыновьям нужны были деньги: кроме Сергея Львовича из них не зарабатывал почти никто. Миша был еще почти мальчиком, Илья занимался только охотой, Андрей Львович развелся с первой своей женой, увез жену тульского губернатора, у кото-

рой было шесть душ детей, передал свое имение первой жене, жил на жалование чиновника особых поручений и, кроме того, играл в карты; Лев Львович за границей занимался то скульптурой, то живописью, проживал много, не зарабатывая ничего.

Между тем издательство «Просвещение» предлагало за собрание сочинений Льва Николаевича миллион рублей, а подписать договор нельзя было. Софья Андреевна переходила от бурных сцен к ласковости, надеялась сломить сопротивление Льва Николаевича. В более позднем дневнике 1910 года она прямо писала, что угроза смертью — ее оружие.

В крекшинском доме было напряженно. Софья Андреевна сидела в своей комнате, ласково настроенная и привычно больная. Именины Софьи Андреевны праздновались торжественно: приехал струнный квартет. Играли Моцарта, Бетховена, Глазунова.

Потом Лев Николаевич гулял по саду; за ним в нескольких десятках шагов сзади шел Чертков: он говорил, что делает так, чтобы не беспокоить уединенных размышлений Льва Николаевича. Если Лев Николаевич ехал куда-нибудь, то с ним ехал кто-нибудь из друзей, и потом Чертков его все расспрашивал, что говорил Лев Николаевич. Слова великого человека, конечно, интересны, но, вероятно, и великим людям иногда бывает скучно от постоянного надзора. Один из ближайших друзей Льва Николаевича Д. П. Маковицкий даже нарезал куски плотной белой бумаги, клал их в карман и записывал, что говорил Лев Николаевич, коротким карандашом, положив руку в карман.

Записи эти сохранились, они интересны, но в них виден не только Лев Николаевич, но и Маковицкий, и они поэтому кажутся душевными.

Прошел именинный вечер, наступило 18 сентября. Уехали музыканты. Лев Николаевич их ласково проводил; потом Чертков снял Льва Николаевича вместе с детьми

Андрея Львовича — Сонечкой и Ильюшей.

Потом Лев Николаевич пошел работать, а писал он каждое утро, никогда не нарушая распорядка.

Друзья волновались: Софья Андреевна могла встать и догадаться, что что-то готовится.

Но вот Лев Николаевич вышел. Его провели в маленькую комнату, где его все ждали. Он сел за стол, бегло взглянул на переписанный текст, взял перо и подписал. Вслед за ним подписались свидетели: А. Б. Гольденвейзер, А. Б. Калачев и Сергеенко-сын.

Спустилась Софья Андреевна в неплохом настроении. Лев Николаевич вдруг захотел еще раз послушать механическое пианино, и оно заиграло.

Потом вышли на улицу, но тут уже были фотографы и кинооператоры с шумливой деревянной машиной на высокой треноге.

Лев Николаевич ушел в лес.

В этот раз Софья Андреевна ничего не заподозрила.

Поехали обратно в Москву.

В Москве Толстые переночевали.

Тут друзья снова приехали к Толстому и сообщили ему, что завещание, которое было так торжественно составлено и удачно подписано, недействительно: по тогдашним законам оставить имущество «никому» было нельзя, а Лев Николаевич как раз так и сделал. Он в завещании просто отказался от авторских прав на вещи, написанные после 1881 года. Адвокат Муравьев объяснил, что надо создать иную форму документа. Решили, что завещание будет составлено на имя Александры Львовны, с тем чтобы она, совместно с Чертковым, передала издания в общее пользование.

Лев Николаевич волновался, а надо было уже уезжать.

В доме звонил телефон, все время спрашивали, когда Лев Николаевич поедет из Москвы.

Когда открытое ландо с Львом Николаевичем, Софьей Андреевной, Александрой Львовной и Чертковым выехало из дома на Долго-Хамовническом переулке, на улице уже

была небольшая толпа — все сняли шапки и шляпы, приветствуя Льва Николаевича.

Повернули направо, пересекли Zubовский бульвар; высокие густые деревья уже желтели. Поехали по Пречистенке: одноэтажные, штукатуренные дома за палисадниками, каменные дворянские особняки — все чернело окнами, люди смотрели на Толстого. Гремели московские булыжные мостовые.

Пересекли бульварное кольцо: с правой стороны над домами горой высился белоснежный храм Христа Спасителя с пятью золотыми головами. Через Боровицкие ворота въехали в тихий Кремль, проехали мимо старых соборов. С правой стороны за мелкой Москвой-рекой, за невысокими кокаревскими складами, в зеленых садах и огородах стояли деревянные дома Замоскворечья и подымались старые храмы.

Повернули налево. Софья Андреевна смотрела на соборы, дома и площади Кремля, где прошла ее молодость; проехали мимо Ивана Великого, мимо темно-медной горы — Царь-колокола, выехали через Спасские ворота: справа, как цветущий куст, пестрел Храм Василия Блаженного, мост и опять мелкая река с баржами, за ними зеленело Замоскворечье.

Проехали по Ильинке мимо Торговых рядов, выехали на Маросейку.

Блестели на красных стенах московские черно-золотые вывески, сжатые магазинами, блестели тускло-золотые церковные колокола. При проезде Льва Николаевича в ландо извозчики вставляли с козел, снимали шляпы, кланялись.

На тротуарах кланялись священники, с императоров конки свешивались люди: смотрели на Толстого. Все больше людей на панелях.

Москва гремела мостовыми. Выехали на Садовую. Здесь толпа.

Рядом с ландо со стороны Толстого долго бегала восторженная румяная курсистка, размахивая соломенной шляпкой, плача и что-то крича: потом остановилась, радостно улыбаясь.

Снова дома чернели окнами,

сверкали вывесками. В окнах пестрели люди, приветствующие Льва Николаевича.

Огромная площадь перед Курским вокзалом полна народу. Больше всего учащихся.

За толстовским ландо ехали его друзья на извозчицких пролетках; доктор Беркенгейм, Сергеенко и корреспонденты от разных газет.

Толпа на площади, говорят, была в тысяч десять — пятнадцать, может быть, и двадцать.

Когда ландо показалось в начале площади, раздался крик. Все сняли шапки. Проехать к вокзалу было невозможно. Лев Николаевич вышел на площадь. Толпа кричала:

— Слава Толстому! Да здравствует великий борец!

В 1908 году Лев Николаевич обнародовал свою статью «Не могу молчать». Человек, проповедующий несопротивление, сам того не зная, оказался великим борцом, заступником народа.

Толстой встал в ландо. Перед ним площадь мелькала черным, синим, зеленым: это студенты университета и студенты Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии махали фуражками.

Лев Николаевич пошел с Чертковым, Александрой Львовной и Софьей Андреевной, которые его охраняли. Чертков — большой, плотный, Александра Львовна сильная, как мужчина, и чуть повыше Толстого.

Толпа хотела пропустить Льва Николаевича: все время делала цепи, но цепи разрывались.

Толпа сама расступалась перед Львом Николаевичем. Он шел по длинному узкому проходу, держа под руку Софью Андреевну; охраняя отца, спокойно ступала Александра Львовна. За ними шел Чертков в белой панаме и, согнувшись, нес чемодан с толстовскими рукописями А. П. Сергеенко.

Около подъезда в зал на ступеньках толпа сгрудилась. Плотный Чертков пошел таранить толпу. Цепи образовывались и опять рвались. Толпа двигалась рывками. Вдруг кто-то открыл окно вокзала.

Часть толпы бросилась в окно, и Лев Николаевич успел войти в вокзал.

Огромное здание гудело от возбужденной многотысячной толпы. Кругом были люди — кричащие, улыбающиеся, возбужденные — студенты, рабочие, курсистки, барыни, военные и даже несколько священников. Через головы передавали цветы, завернутые в белую бумагу и перевязанные голубыми лентами. Толпа внутри вокзала вскакивала на мягкие диваны, на подоконники.

Никаких железнодорожников, никаких жандармов.

Среди толпы видна была белая панама Черткова, который шел, продавливая толпу, как пресс, чувствуя и в этот момент свою значительность и необходимость.

Шел Лев Николаевич. Вокруг него образовывались и распадались цепи. Рядом с ним — раскрасневшаяся Софья Андреевна блестела близорукими счастливыми, возбужденными глазами и раскланивалась направо и налево.

Лев Николаевич вошел в вагон. В вагоне началась суета. Провожжающие спрашивали:

— Где вещи? Где клетчатый портплед? Где чемодан? Все ли едут в одном вагоне?

Лев Николаевич сел у окна. На лице его не было заметно ни усталости, ни недовольства.

Он был печален.

Софья Андреевна в восторге повторяла:

— Как царей... как царей, нас провожали!

В окно врывался гул бушующей толпы:

— Ура! Ура! Слава!

— Как царей... — сказал Лев Николаевич, — значит, мы плохие...

Чертков произнес спокойным и рассудительным голосом:

— Мне кажется, Лев Николаевич, хорошо было бы вам подойти к окну и попрощаться с толпой.

— Ну что же, — сказал Лев Николаевич, легко поднялся, вышел в коридор, подошел к окну.

Гул и шум усилились вдесятеро. Сотрясались тысячи рук, махая носовыми платками. Летели в воздух фуражки.

Лев Николаевич снял шляпу и сказал, раскланиваясь во все стороны:

— Благодарю. Благодарю за добрые чувства.

— Тише! Тише! — закричали в толпе. — Он говорит!

Лев Николаевич заговорил вдруг окрепшим голосом:

— Благодарю. Никогда не ожидал такой радости, такого проявления сочувствия со стороны людей. Спасибо! — твердым голосом прокричал он.

— Вам спасибо! — заревела толпа.

Толпа кричала:

— Ура! Слава!

Поезд тронулся.

Толпа, как загипнотизированная, потянулась за поездом. Потом побежала. Поезд набавлял ходу. Главная масса уже отстала, продолжая издали кричать, но отдельные группы еще бежали, крича: «Ура! Слава!»

Чертков сидел в изнеможении на диване и вытирал платком мокрые от пота лицо, шею, уши.

В письме Лев Николаевич написал потом:

«Эти проводы разбередили во мне старую рану тщеславия».

Через несколько часов, уже по приезде в Ясную Поляну, Лев Николаевич впал в глубокий обморок, длившийся два часа.

СОЛНЦЕ В ДОМЕ

Стекольщик вставил стекла
в новом доме.

И дом прозрел.
Он улыбнулся солнцу,
Балконы поднял к небу, как ладони...
Дом мне тогда почудился ребенком,
Впервые увидавшим мир.
Он был голубоглаз,
И по-апрельски светел,
И тих еще — не то от удивленья,
Не то от одиночества квартир.
Под Новый год сюда приедут люди.
Дом распахнет им двери,

словно сердце.
Душа его наполнится мгновенно
Неповторимой музыкой приветствий,
Улыбок, смеха, детских голосов.
Но это после,
Это в ожиданье.

А в тот момент увидел я нежданно
Спускавшуюся с лестницы девчонку.
Она была стекольщиком веселым
И улыбалась так неудержимо,
Как будто дому признавалась
в чем-то.

Ее глаза, наполненные солнцем,
Сказали мне, как счастлива она...

Мы спрашиваем — что такое счастье?
Наверно, это вставленные стекла
Руками той сияющей девчонки,
Простой, как утро,
Быстрой, как испуг.
Наверно, это гордая покорность
Огромных кранов, возле строек
вставших,

Что лишь руками радостно разведят
Перед умением человеческих рук.
Наверно, это первое свиданье,
Когда слова, как будто

третий лишний,
Неслышно отступают в тишину.
И затаив от нежности дыханье,
Любовь уводит за руки влюбленных
В мир,
Созданный для сильных и счастливых,
Для всех людей.
И только для двоих.

Мы спрашиваем — что такое счастье?
Наверно, это первый крик ребенка,
Что слышит мать, уставшая от боли,
Когда его, желанного, подносят
К ее горячим, радостным глазам...
Пусть будет счастье их благословенно,
И счастье тех, кто носит
жизнь под сердцем,
И тех, кого мы носим на руках,
И счастье тех, кому мы вечно дарим
И ранние и поздние цветы.

Да, это счастье!
И оно безмерно.
Оно безбрежно в добрых проявлениях,
Оно бессмертно в помыслах людских,
И в их делах, необходимых людям...
Вновь вижу я сияющие окна,
Омытые дождями, ветром, солнцем,
Раскрытые, как девичьи глаза,
И я б хотел, подобно той девчонке,
Свет солнца людям приносить в дома их
Своим обыкновенным ремеслом.

АИСТ

Белый аист, веселый аист,
Из бамбука худые колени.
Он стоит, в синеве купаясь,
Над своими птенцами голыми.
А у ног его шелест ив
Да гнезда незавидный ворох.
Весь нескладный, он все ж красив;
И красив, и смешон, и дорог.
Говорят, будто к счастью аист...
И поэтому, может быть,
Я опять, я опять пытаюсь

С доброй птицей заговорить.
Оказав мне свое доверие
С крыши первого этажа,
Пусть расскажет, как жил в Нигерии,
Сколько тонн синевы измерили
Крылья эти, домой спеша.
Долго с ним говорить мы будем,
Будто снова ему в полет...
Аист очень доверчив к людям.
Даже зависть порой берет.

Воспитание характера

Михаил Шур

Высокое начальство

ОЧЕРК

Нужно воспитывать каждого молодого человека стойким и мужественным борцом за коммунизм, рачительным хозяином страны, глубоко уважающим все, что завоевано и создано старшими поколениями, своим трудом приумножающим богатства, честь и славу Родины.

(Из постановления Пленума ЦК КПСС «Об очередных задачах идеологической работы партии»)

На Метрострое серебряные свадьбы.

А помните начало? Всю Москву застроили низкорослыми холостяцкими бараками — на Потешной, на Луговой, на Извозной, на Лужнецкой, в Уланском, в Бутиковском. Молодой метростроевский люд селился бригадно в Черкизове и в Лоси.

Квартир не было. Откуда бы им быть? И жен не припоминаю что-то у своих сверстников, у товарищей по первой очереди. Холост был, поголовно холост тогдашний Метрострой! Женами мы обросли уже на второй очереди, остепенились на Горьковском радиусе...

Верно я не ошибусь, если скажу, что на первой очереди каждый третий из более или менее грамотных писал фантастическую повесть или роман на темы Метростроя. Главным чудом близкого будущего рисовалась действующая подземка: за одиннадцать минут Галя (Варя, Лена, Зина) проносится в голубом сказочном экспрессе от Хамовников к Сокольникам на свидание к Сергею (Андрею, Виктору, Николаю). Свидание полно исторического смысла и художественного богатства.

Я мог бы здесь и не писать, что в большинстве повести и романы не доводились до конца. Может быть, это даже к лучшему, что они не напечатаны. Жизнь дописала их интересней, без вымысла.

Теперь детям и приедем очень занятно нажимать кнопки на электрических схемах линий: как куда проехать. Зажигаются в клубке светлые жилки.

Это наши жизни.

Спустя двадцать пять лет я зашел к своему редактору Ефиму Резниченко. Мы надели с ним комбинезоны и резиновые сапоги, нахлобучили каски и поехали с улицы Куйбышева в Измайлово, на Покровский радиус. Комбинезоны, забрызганные светлой глиной, привлекали почтительные взгляды пассажиров метро и даже суровых станционных дежурных. И я чувствовал себя примававшимся к великой славе строителей.

Из Измайлова трасса продолжается в сторону Щелковского шоссе. Как нам удалось выяснить в СМУ-3, никто там не пишет фантастических романов, даже мой друг Саша Владимиров, отдавший романтической беллетристике лучшие годы своей довоенной жизни. Теперь он сменный инженер околовольного участка и поверхности. Прекрасный семьянин, завидно молодой. Но он еще напишет!

А чудо между тем существует, действует, набирает скорость.

Мы спустились в шахту и пошли тоннелем к забою, где работает механизированный щит. Машина прорезает себе путь и крепит кольца тоннеля железобетонными блоками. Старые щиты, как известно, были в сущности металлической крепью, им прокладывали дорогу отбойными молотками. Эти, новые, сами делают тоннель.

Припоминаю наши оперативные сводочки в «Ударнике Метростроя» на первой очереди, мы их печатали на одну колонку: грунт, бетон, готовый тоннель — ноль целых и столько-то сотых метра. Броские заголовки превращали сводку то в ликующую реляцию, то в обвинительное заключение. Решали сантиметры.

Сейчас счет идет на метры, если считать за сутки, и на сотни метров, если считать за месяц.

Агрегат идет и идет сквозь толщу земли, отсылая назад по конвейеру породу, падающую в вагонетки.

Гулкий тоннель, звонкие электровозные составы, нетерпеливые сигналы и лишь временами короткая тишина, внимающая лепету ясного родничка, пробившегося сквозь кровлю.

Бежит из глубин прозрачный ручеек, скачет по ребрам блока и падает в мутный поток. Серебристый звон теряется в новом чугунном гуле, прибежавшем по рельсам.

Мы протиснулись вперед, пролезли по мокрому, грязному железу, среди шлангов и проводов — где бочком, где пригнув-

шись. Увидели поблескивающие сыростью липкие глиняные бока только что вырезанного тоннеля. Рукой не дотянуться — а, должно быть, мягко! В круглом пространстве нового кольца проходчики уже ладили светлые, пока еще не очень обляпанные грязью вогнутые блоки круговой обделки.

От ствола мы удалились на полкилометра и еще не видели ни одной деревянной стойки. Так вот что прежде всего на Метрострое нового: нет лесной крепи! Помнится, на первой очереди мы спускались в штольни и попадали в мокрое царство леса. Одна к одной стояли в воде могучие рамы, подпирали кровлю, затянутую досками, тесом. Всегда пахло остывшей дубовой баней. И рельсы узкоколейки лежали на деревянном настиле, и бетон в раскрытых выработках — калотках — укладывался в деревянную опалубку; сколько плотницкой изощренной ярости вложено в те кружала!

Ну и поедал же Метрострой лесу! Мне кажется, сама судьба назначила нынче Лене Рогову командовать на черкизовском заводе отгрузкой шахтам сборного железобетона, тому самому комсомольскому деятелю Лене Рогову, которого посылали зимой тридцать третьего года в архангельские леса — гнать оттуда крепеж для метро...

Над тоннелем молодая улица, широкая и просторная, как и все Измайлово. Над тоннелем тоненькие липки бульвара.

Здесь можно идти московским способом, на малой глубине, не подкапываясь под фундаментальные строения и не трогая подземных коммуникаций. Случись осадка — только бульвар шелхнется, зелень дрогнет и опустится незаметно для глаза.

Московский способ — это сокрушение технических догм и заплесневевших инженерных традиций.

Было так: тоннели проходили либо закрытым, либо открытым способом. На но-

вых линиях все больше стало открытого. На просторе только так и идти. Оно и дешевле, и проще. А вот московский способ еще дешевле открытого: той же улицей, тем же бульваром вести тот же котлован, но сохранить над ним кровлю вместе с трубами, колодцами, кабелем. Очень просто и толково: не перекладывать водопровод, газ, канализацию, не кидать туда и обратно землю перекрытия, не портить улицы, не гонять машины.

А как идти этой крытой траншеей, этим легким тоннелем? Идти надо щитом, либо механизированным, либо простым блокоукладчиком, как в параллельном тоннеле на этом же участке.

Впрочем, тогда как будет — при простом блокоукладчике — не вполне московский способ, полумосковский, маломосковский. А часть инженеров возражает: нет, мол, и это тоже московский способ, и это тоже имеет право на жизнь! Другая настаивает на своем: только механизированный щит, иначе и называть-то метод московским неловко... Мнения разделились, образовалось два лагеря: непримиримые и покладистые. На стороне непримиримых («Только механизированный щит!») такие преимущества: численность, аргументы и опыт. На стороне покладистых из преимуществ имеются звание и должности. Борьба продолжается.

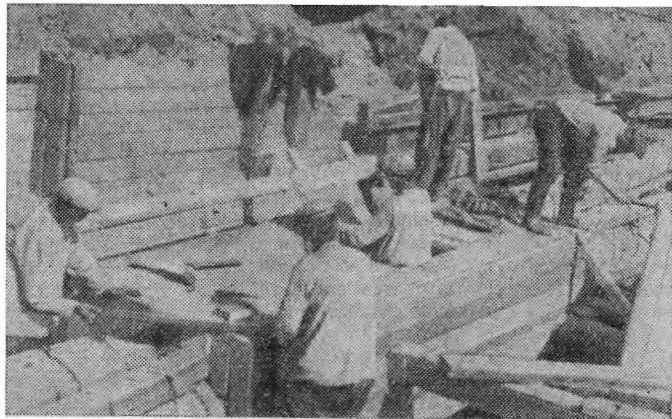
Борьба продолжается и на самом щите, он не совсем прост в управлении.

Щит уже поработал на Юго-Западе. Он шел под молодой улицей, под клумбами и газонами. Победно шел, торжествующе! Очень больно было бы по-старинке вскопать, взорвать, вскрыть мостовую, как это бывало на первой очереди на Остоженке, на Русаковской: жители пробирались к домам по доскам, стремянкам, трубам! Нет, жаль трогать эту городскую красоту. Московский способ подсказан советью строителя, он счастливая находка. Проходчики двигают механизированный щит под нетронутой улицей, под сквером и бульваром, идут на малой глубине, до них доносится в тоннель шум квартала, они слышат голос города.

Прекрасная почва для рекордов проходки! Однажды прошли за смену 4,83 метра. Принадлежит этот рекорд бригаде Владимира Еронина.

Как далеко шагнуло производство — это доказывается железной логикой новых машин. Мало тебе зрелища шахты, забоя — обратись к книгам, альбомам, таблицам, отчетам. К твоим услугам все техническое могущество сегодняшнего Метростроя.

Ну, а мы? Как мы сами изменились? Мощ-



Сколько плотницкой изощренной ярости вложено в кружала! Бригада плотников Синякова на строительстве первой очереди

ность наша? Энерговооруженность? Сколько ума-разума взяли мы от жизни? Нет ли таблицы, сводки?

В старом комплекте «Ударника Метростроя» попалась мне одна заметка. Как же это я тогда не забраковал ее? И как пропустил ее редактор? Ну, что нам теперь делать с ней? Напечатать спустя тридцать лет опровержение?

Сидим мы сейчас вдвоем с бывшим редактором и перечитываем эту заметку.

«У дочери кулака Михайловой нашлись сочувствующие.

Михайлова, развалившая организационную работу комсомольской ячейки, оказалась дочерью раскулаченного. Бюро комсомольской ячейки вынесло решение об исключении ее из рядов комсомола и о немедленном удалении с участка. Решение бюро ячейки было выполнено. Михайлову с работы прогнали. Комендант барака предложил ей выселиться из общежития. Комсомолки Геймец, Шкварина, Жукова завопили о «несправедливости». Горой встали они за кулацкую дочь Михайлову. Особо отличилась Жукова. Целую ночь рыдала она, целую ночь пробавлялась вальерьянкой, убитая потерей друга. Действовал и Чебров, обладатель не менее нежного сердца... Как человек высоко принципиальный, он заявил, что это, во-первых, в принципе неверно, что она порядочное время в комсомоле и за это время перевоспиталась (?!), что, во-вторых, хотя отец ее раскулачен, но он вовсе не был кулаком... Партгруппа высказалась за исключение Чеброва из партии. Еще одна «принципиальная» личность — член партии Чимонин...»

Вот такие были драмы в общежитиях Метростроя. Надо хотя бы здесь объявить от имени бывшей редакции, что заметку следует читать совсем не так! Следует читать, что Чебров и Чимонин — честные и стойкие коммунисты, что Михайлова, Геймец, Шкварина и Жукова — хорошие комсомолки, верные подруги и жертвы явной несправедливости. Была она и на Метрострое, была!

Но не надо думать, что газета наша вся была наоборот. Ее героический материал до строки подтвердился при проверке жизнью. Герои были настоящие. Пафос неподдельный. Энтузиазм истинный. И доброта была, и чуткость была, и щедрость была. И надо всем властвовала стихия всеобщей одержимости.

Ах, как бушевали наши сквозные смотры, боевые рейды, налеты, техсуды, политбои!..

Вот строки из записок инженера: «Имущества у меня не было никакого. На ночь мне приходилось снимать с петель дверь, класть на две табуретки и спать, завернувшись в свой дождевик. Все шло хорошо, пока не приехала к моему компаньону жена. Мы с ним работали в разных сменах, и поэтому постоянно приходилось оставаться с его женой наедине. Я нашел это неудобным и опять стал просить отдельную комнату. Наконец мне ее дали».

А Борис Георгиевич Гуназа никогда не спал на табуретках. Он в политбоях не участвовал, под техсудом не был.

Десять лет назад с дипломом Харьковского горного института пришел он на Метрострой. В общежитии, правда, жил, пока был холостяком, в доме на 15-й Парковой, благоустроенном и уютном. А женился — получил отдельную квартиру. Не надо снимать с петель дверь!

Основательно мы все изменились. По-взрослели от мала до велика!

Первый раз увидел я Бориса Гуназу в полутьме забоя, на механизированном щите. Не было такого тоннеля, где бы вода не мешала, вот и Борис Гуназа на своем участке борется с водой — дренажа мало, ставь еще насосы, пробивай скважины, качай и качай ее, проклятую! А механизация, чем она богаче, тем больше тебя забирает.

Идет и идет щит, планшайба мягко режет перед собой породу, лента транспортера бежит к вагонеткам, рука эркера крепко вгоняет в кольцо блок за блоком, и вдруг — стоп! Нет, не механизмы отказали, просто маленькая навигационная ошибка, какой-нибудь сантиметр уклона... Впрочем, агрегат тоже не очень-то в порядке: плохая управляемость! И отсюда, как говорится в технических бумагах, «тенденция щита уклоняться влево от оси по ходу забоя». Маркшейдеры и механики уже здесь, охваченные яростью борьбы против «левого уклона». Борис Гуназа распрямляется спокойно и как будто даже весело и непринужденно, но на душе у него горько и мрачно: пропал день! А ведь совсем уже приладились проходить четыре с лишним метра в смену.

Гуназа — рослый, молодой, по-украински чернявый. В плечах могуч не так он, как его шахтерская спецовка. И нет у него в голосе властной басовитости, подобающей ответственному горному командиру.

Проходчиков с первой очереди теперь уже не так много, они рано выходят на пенсию по хорошей горняцкой льготе. Так что молодого инженера окружают большей частью молодые же рабочие без особого стажа, но зато с образованием. Но и они, конечно, успели набить руку на всем, что делается в тоннеле, — они и забойщики, и крепильщики, и чеканщики, и монтажники, и нагнетальщики, а надо — и слесаря, и путейцы, и электрики. Они в своей стихии здесь, у лба забоя, на переднем крае проходки. И с такими легко инженеру, при них его высшее образование надежней, тверже. Владимир ли это Еронин, или Николай Януков, или Михаил Писаренко — они всегда хозяева положения, как бы ни хлестали потоки воды, как бы ни напирал песок и как бы ни раздражала механизация. Инженер говорит, что планирование идет снизу — темп диктуют бригады!

В шахте всегда разговаривают на повышенных нотах, это и у угольщиков так — изъясняться надо в полный голос, во избежание кривотолков. И здесь я тоже

услышал в забое громкий говор, довольно-таки сердитый. В чем дело? Да опять агрегат пришлось остановить.

Самый злой и резкий из бригадиров — Николай Януков, парень сравнительно молодой, но с оголенным нервом ответственности, с воинственной непримиримостью ко всему мешающему. Если б он немножко хуже работал, ему доставалось бы за невыдержанность и за апломб. Это он повысил голос, выразительно характеризуя одним словом обстановку и состояние дел. Там, наверху, в технических инстанциях, будут, конечно, совещания по трудной проблеме «левого уклона», но первое, самое веское слово уже сказано здесь. И мало того: у бригадиров есть предложения по существу московского способа проходки. Интересующихся отсылают к бригадирским статьям в сборнике технической информации «Метрострой».

Мне говорили, прежде чем я сел писать: может, о московском методе пока помолчать? Ведь он не вполне еще удался. Ведь вот и на Ленинскую премию часть авторов выдвинули, да после первого тура отставили. Но я не вижу причины скрывать, что новое рождается нелегко. И если ребята негодуют в забое, не писать же мне здесь, что они песни поют, хотя случается, что и поют. Но в другое время.

И еще была при мне перепалка, вызванная тем, что в одном тоннеле действуют два СМУ — третье — проходческое и четвертое — механизаторское, два ведомства, две суверенные державы, между которыми не всегда и не во всем согласие. Все разделено надвое: «У них» и «у нас». Здесь начальник смены — там начальник смены, здесь начальник участка — там начальник участка. Ситуации создаются, например, такие. Споткнулся агрегат, и проходчики остаются не у дел: в работу вступают механики. Пошел щит — обратная картина: проходчики занимают свои боевые посты, а механики прохлаждаются. И к тому же нормировщики постарались окончательно «разинтересовать» стороны во взаимной поддержке.

— Вот такая петрушка, — подытожил кто-то из проходчиков. — Ансамбль пляски и всякого другого прочего. Давно стучимся с предложением — отдать в одни руки щит и проходку! Контора не сдается.

Тут же возилась возле щита и «чужая родня», от нее не слышно было никаких возражений.

Гуназа попал в коллектив, два рядовые чувствуют себя ответственными лицами, и не так-то просто здесь заработать уважение инженерными знаниями: глядишь, этот в техникуме, а тот уже в институте.

Вышли мы из тоннеля, заглянули в конторку, походную каморку — она полна людей: пересменка. Шумят в табачном дыму голоса. Право же, я не знаю, кто тут бригадиры, кто сменные инженеры, кто рядовые. Спецовки одинаковые, по лицам ничего не определишь, а речь... Она-то скорее всего обманет, потому что лекси-

кон некоторых рядовых ребят не отличишь сейчас от лексикона инженера, конструктора...

Что у меня есть на этот счет из воспоминаний о первой очереди? Опять же наша газета «Ударник Метростроя» со специальными страницами для малограмотных. И ликбез, как главная форма вечерней рабочей учебы. И рабкоры, предпочитавшие диктовать свои заметки в журналистский блокнот в порядке, так сказать, устного творчества. (Большинство-то, конечно, писало собственноручно, а иные писали здорово!).

Владимир Николаевич Низяев, секретарь партбюро третьего СМУ, пытается как бы сформулировать черты нового поколения строителей метро, но это у него, по правде сказать, получается неважно, потому что и сам он метростроевец молодой, послевоенный. «Был участковым механиком, а сюда прямо из комсомола пересел...» Одно только он решительно утверждает: несмотря на грамотность и образованность, несмотря на высокую насыщенность техникой, никак не отпала нужда в труде напряженном и смелом.

Подвигу всегда есть место! Настанет при коммунизме время полной человеческой безопасности, люди забудут, что такое катастрофа, человек вооружится против любых бедствий и стихий. А подвиг будет! Будет подвиг труда, подвиг творчества, будет подвиг ума и подвиг воли, подвиг силы и подвиг красоты...

В Измайлово строители пришли с Калужского радиуса, из Новых Черемушек, а вот там-то, на подступах к Новым Черемушкам, были самые трудные перегоны. Давление в кессоне приходилось поднимать до двух с половиной атмосфер, песок бешено напирал, случались вывалы, прорывы. Бригады Сергея Моисеенкова и Владимира Котлякова отличились на тех трудностях, доказали, что и в будущем, при любом прогрессе техники, рабочая доблесть останется естественной и необходимой волевой чертой человека.

Понятно, что теперешняя механизация и техника безопасности не дают слишком часто испытывать человека в аварийных обстоятельствах. И хорошо!

И тут возникает партийная задача: чтобы в человеке поддержать дух доблести, надо убить в нем все мелкое, поднять его выше обывательских соблазнов и мещанских помыслов.

Да позволено мне будет здесь сказать, что омещанившийся метростроевец — это тип реальный, выросший на благах последнего периода. Вот мы говорим, чтобы не быть голословными, о Родионове. Человек он знающий, умелый, проходчик первой руки. Он побывал на многих дальних тоннельных стройках, извездил все районы высоких надбавок, собирал грамоты и зашибал деньги, но вот насчет денег у него такое желание, чтобы они после пьянок не убывали, а прибывали.

Человек тонет в своей получке! И уже ничего для него кругом не существует,

кроме его ничтожных удовольствий, и товарищей нет, и рабочего долга нет, и совесть вся на сберкнижке.

Вот мы боремся изо всех сил с мешанством, воюем против фикусов, против слоников, против кисейных занавесок и гипсовых кошечек, но не задумываемся, что мешанские вкусы — это еще не все. Самое пакостное — в мешанских нравах, в этой холодной крови мелкого собственника, который живет наедине с самим собой и замечает других только разве для того чтобы чокнуться.

Для партийного бюро тут широкая проблема: проблема воспитания скромности в молодом рабочем. Почему скромности? Потому что она — как техника безопасности, она ограждает, она предостерегает, она учит правильному обращению с благами жизни. Она — как пояс верхолаза: дали парню высокую квалификацию, вырастили его усиленным обучением, щедрой государственной подкормкой, назначили ему не по годам высокую плату, вот и надо удержать его, не дать сорваться. А способы какие? Беседы и внушения? Пример старших? И то и другое. Есть еще и третье.

В бригаде Алексея Филатенкова, уже получившей звание коммунистической, скромность стоит в ряду главных показателей. Скромность вбирает в себя и верность коллективу, и щедрость, и честность на уровне мужества. Проходчики Алексея Филатенкова — народ учащийся, грамотный, развитой, они, конечно, понимают, что коммунистические качества бригады не в том, что рабочие гуртом ходят в кино и гуляют друг у друга на именинах и свадьбах. В самой работе, в забое, в главном деле жизни прежде всего проявляется коммунистическое. И все-таки нельзя не считаться с тем, особенно на Метрострое, что рабочий-то день проходчика невелик, всего шесть часов, и коммунистической бригаде явно мало этих шести часов трудового общения. Помимо сна еще целых десять часов! Вот бригада Филатенкова и планирует свою культурную жизнь: в Ленинград ездили, в Бордино ездили, в Абрамцево, в Звенигород. Филатенков бригаду свою сделал поголовно физкультурной. В общем, интересно с Алексеем Филатенковым!

Но вот вам новое противоречие: люди к Филатенкову просятся, можно бы их поощрять переводом в эту знатную бригаду, но партийное бюро гнет в другую сторону, и правильно гнет: пробует «засылать» в нее слабеньких и неустойчивых. Послали, например, парня, который подделал недавно больничный лист. Взяли? Взяли!

— А что, — сказал Филатенков, — мы даже обрадовались, надо же проверить себя и на этом деле. Можем мы или не можем хлопца выправить?

Ну, преувеличивать тоже не надо: не преступника им дали, не рецидивиста.

А вот это мне было и удивительно и радостно слышать: трудности воспитательной работы, связанные с тем, что теперь

мало кто живет в общежитиях! Замечательная новая трудность.

Я вспоминаю бараки первых лет Метростроя. Спальни казарменной длины, скрип топчанов, веселая толчея у печки, мрачные скупые коменданты, помешанные почему-то на головных уборах: «Снять головные уборы!.. Снять головные уборы!..» Партком Метростроя назначал дни массовых выходов актива в общежития. Этикие агитброски, культштурмы, политавралы. Все — в общежития! Все, что есть грамотного, — хозяйственники, партторги, профсоюзные и комсомольские представители, — по баракам!

Вечером в самые морозы электричка на станции Лось выбрасывала черную толпу. Скрипит снег, впереди белая даль, за ней стена леса, ветер перехватывает дыхание, бежишь, вжимая себя в пальтишко. Вот он, у подлеска, твой барак. Рванешь дверь, влетишь в теплый туман. Тихо! Начальство ведет беседу...

— Мало кто живет теперь в общежитиях, — повторяет Низяев. — И вообще жилищная острота в основном снята. В этом году мы себе еще два больших дома построили — мы, СМУ. И еще получили ордера общестроительские. В очереди стоит главным образом молодежь. Последние претенденты.

Вот и затруднение: дойди теперь попробуй до человека. Раньше, бывало, крикнешь в бараке: «Тише, товарищи!», и сразу в твоих руках вся масса, а теперь покричи-ка, посвищи... И если кончилось время, когда рабочий в общежитии прямо с койки, без отрыва от подушки, слушает твой политический доклад, надо суметь сделать так, чтобы он без колебаний покинул свою уютную квартиру, свой телевизор и убежал захватывать места в красном уголке или в клубе, где ожидается нынче лекция. Какая же это должна быть захватывающая лекция! И с другой стороны: дойди до квартиры!

Справляемся мы с вами с этой задачей, Владимир Николаевич? Не будем преувеличивать: не справляемся.

Не надо претендовать на все десять свободных часов, незачем тянуть рабочего каждый день в клуб. Вокруг него Москва же! Но помогать ему с толком пользоваться Москвой надо бы! Потому что плохо, если метростроевец прошел Москву вдоль и поперек под землей и не прошел ее, не познал на поверхности. Отдельные бригады планируют «гуманитарный курс Москвы», а руководству не до него.

У руководства большие текущие переживания, оно коротает вечер в штурмовых заседаниях. «На днях у нас было страстное бюро», — сообщил мне Низяев. На страстном бюро Алексей Филатенков, член бюро, громил бюрократов, задержавших оборудование душевого комбината. Второе страстное бюро посвящено было бедам правого тоннеля. И третье страстное бюро, может быть самое страстное за многие годы, занималось механизированным щитом. Тут кипели горячие страсти самого секретаря, как механика по специальности, для

которого щит — главная душевная забота и главная сердечная боль. Собирались побить ленинградский рекорд механизированной проходки, да и как же москвичам не быть хозяевами московского метода! А щит не шел. И главный инженер Меньшиков говорил без надеждающей твердости в голосе. А членом бюро хотелось, чтобы все было хорошо, и люди целый вечер терзали друг друга, пока не поняли, что тут нужен сейчас успокаивающий фактор — время.

В другом конце города, в другом метростроевском СМУ, шестом, другой секретарь, Федор Егорович Захарюженков, уже не из механиков, а из проходчиков, из виднейших бригадиров, тем временем тоже готовил свои «страстные бюро» со взрывчатыми темами дня.

Бурлили страсти вокруг проекта одной станции на новом радиусе. Чего тут было больше, я уж не знаю — оплошностей проектирования или зрелой мысли коллектива, но ведь это факт, что рабочие отклонили технический проект. Задумана была станция без платформы — сплошь зал. Проходчики сразу же прикинули: да ведь двери вагона будут открываться прямо на колонны! Бригадир Петр Степанов разъярился: что же это, на новом радиусе будем приучать пассажиров бочком вылазить из дверей вагона, что ли? Но в таком случае давайте подумаем, кого же он, пассажир, москвич и гость Москвы, проклинать будет? Не проектировщиков, не сметчиков, не плановиков, а нас, строителей. Нам тогда объезжать эту станцию стороной...

Силы общественности, поднятые партийным бюро, взяли верх, недодуманный проект отдали на переделку. Работы, конечно, приостановили, и люди теперь плохо загружены: на другие объекты не просто переключиться! Проходчики теряют в заработке, теряют, а все же рады, что не дали испортить станцию. Отстояли знаменитую на весь мир метростроевскую норму добротности сооружений.

Вот это все партийная работа.

Собственно, трудно сказать, что же не партийная работа в круговороте дел, которым посвящают себя целиком тысячи людей, коммунисты и беспартийные, пожилые и молодые хозяева стройки.

Захарюженков и не припомнит теперь, как это он со всеми своими рабочими делами и всем течением простой своей биографии оказался в бурном русле большой партийной политики. В 1936 году пришел на Метрострой калужский деревенский парнишка, сунулся на шахту — вот где сгодится его сила! А силы было у него на двоих. Но на Метрострое как раз в это время мускульная сила стала падать в цене. И румяному креплышу-недоучке хорошо объяснил ситуацию начальник шахты Зубков:

— Сынок, иди в отдел найма и скажи, что будешь учиться до седьмого пота. И до девятого класса. Объясни им, что ты приехал строить лучший в мире метропо-

литен, и добавь, что на меньшее ты не согласен...

Зубков был крутой человек, строгий и сердитый. Мы в нашей газете иногда придирались к нему за то, что он не спешил подхватывать на лету всякую нашу газетную затею и был глух к некоторым шумным кампаниям. Мы нанесли ему в ходе борьбы мелкие царапины, а с каждым реальным успехом взмахом славили его геройское руководство. Зубков срывает, Зубков недооценивает, Зубков игнорирует, и вот, поди ж ты, Зубков побеждает! Зубков хотел, чтобы каждый рабочий был у него героем, он требовал полной отдачи, не любил много говорить, был суховат и грубоват, но толковый работник всегда слышал в грубоватом выговоре отцовскую доброту и ласку.

Когда Захарюженков собрался в первый свой отпуск, испытывая мучительную потребность не столько отдохнуть, сколько показаться в родной деревне классным столичным тоннельщиком, Зубков остановил его:

— Постой, постой, ты куда?

— Так ведь отпуск полагается...

— А ты не спеши. Ты не беги. Иди-ка в расчетную часть, я дал команду добавить тебе денег. И потом вот что: с толком чтоб отдохнул. Все, парень, иди.

Осенью сорок пятого года солдат Федор Захарюженков вернулся с фронта на шахту. Генерал Зубков не вернулся, он погиб на северных рубежах героем войны и героем труда.

Бригада Захарюженкова шла трудными трассами. Ее называли непромокаемой, непробиваемой и недосыгаемой, ее хвалили и награждали. И каждый раз, когда поднимали бригаду, Захарюженков с грустью думал, что он перехитрил Зубкова, отдел найма, шахтком, партбюро: обещал учиться, а обходится все эти годы одной силой и навыком. Курсы и лекции — не в счет. Это ж только в очерках пишется, что, мол, нынешнему рабочему уже невмоготу без инженерного образования. Полюбуйтесь, как здорово работает бригада с неполным средним, о ней радио во весь голос кричит, композиторы уже примериваются песни сочинять, и не видно, чтоб ей было невмоготу, ей хватает неполного среднего, а чудеса технического прогресса... Во-первых, никаких таких особых чудес нет, во-вторых, работает ведь в инженерном окружении.

А в 1955 году Федор Егорович устыдился своей самонадеянности и пошел-таки в техникум. Ну, бригадир, посмотрим, как ты выдержишь студенческую пятилетку! Годы уже были не те, и прежде выветрилось, и семья появилась, и надвинулись общественные дела — ведь с фронта бригадир пришел коммунистом. Теперь все это позади, теперь легко написать — выдержал, сдал, окончил, получил диплом техника-тоннельщика! И не будем задним числом копать в тяжких подробностях.

Начальником смены побыл он совсем недолго: выбрали в секретари партбюро,

выбрали в самую трудную пору освоения новых трасс.

Бригадой своей Захарюженков продолжал заниматься уже как секретарь партбюро, потому что в ней, помимо артистической рабочей слаженности и ярких успехов в проходке, в монтаже блоков и тубингов, в чеканке и бетонировании, были, так сказать, моменты не для печати. Были тяжелые недоразумения с теми людьми, которым по понедельникам всегда чего-то не хватает. Фролову, например, по понедельникам трудно работается, и каждый раз является он в бригаду с обещанием прекратит пьянки. В конце концов бог с ним, с Фроловым, но тут ведь молодежь подошла из ремесленных училищ, чистая, незапятнанная молодежь — Красницкий, Романов, от таких надо убрать подальше этот «горький опыт».

Секретарь партбюро вызвал к себе всю бригаду (Ну, не вызвал — пригласил, конечно!), всех, партийных и беспартийных, на разговор о метростроевской чести, «Мы — любимцы Москвы, так? Налагает это на нас жесткую обязанность? Налагает! История ставит задачу: дать молодежи образец в коммунистической жизни...» Силу своего руководящего слова он и сам не переоценивает, и понятно, что с тяжелыми понедельниками далеко еще не покончено, но, по крайней мере, молодежь не поддавалась на соблазны. Пожалуйста, Красницкого возьмите, Алексея Красницкого из нового поколения метростроевцев. Никто так не радуется Федора Егоровича, как этот парень! Во-первых, отдача: видишь, как он умеет вгрызаться в работу даже тогда, когда она, неблагодарная, хлещет тебя водой и грязью. Видишь, как он увлечен и упоен этой трудной мокрой работой, как живо и строго распоряжается в забое, будто он тут самый ответственный. Такие парни всегда любимы, им как-то само собой открывается поле деятельности, и товарищи рады дать им дорогу — глядишь, человек постепенно берет на себя командование. Так и Алексей Красницкий. До службы в армии он еще как бы проходил подготовительный курс метростроевской выучки, а по возвращении быстро занял командное место без должности. Учебные свои планы не отодвигал, как Захарюженков, до лучших времен, а сразу пошел в вечернюю школу — сейчас заканчивает десятый класс и намерен — да и бригада решила! — идти, не откладывая, в институт.

Все движение жизни ускорилось, не то что проходка!

В партию приняли Красницкого в комсомольском еще возрасте, и на собрании, когда он стоял перед товарищами, такой небольшой, с виду совсем даже не крепкий, не сильный, в тонком выходном костюме («Я родился, значит... Я учился... служил... работал...»), о нем говорили: организатор, застрельщик, вожак. Кто-то еще добавил к этому такие слова:

— Парень государственный. Государственного ума парень.

Не знаю, что именно тут подразумева-

лось, но я под этим понимаю высокую самодисциплину и мужественную скромность в работе. Не надо водить лодыря к начальству, не надо докладных, и приказов не надо: есть высокий нравственный суд в рабочей среде, в самом низу, в забое. И вот такой, как Красницкий, стоит тут на своем посту как государственное лицо.

Дойти до человека! Помню, и тогда, на первой и второй очереди, это было ведущим девизом партийной практики. Сейчас-то дойти и легче — хотя бы потому, что рабочих стало вдвое меньше, и трудней, потому что человек сложней стал, содержательней, и нельзя к нему адресоваться с примитивными поучениями. Но уже то хорошо, что нынешние секретари могут мыслить не сотнями и тысячами, а единицами, и могут знать в лицо всех своих, и иметь для каждого время.

Дойти до человека — это и мой помысел в этом очерке. Живая, продолжающаяся история стройки наполняет отдельные биографии, и в каждой жизни — свой Метрострой в неповторимых чертах.

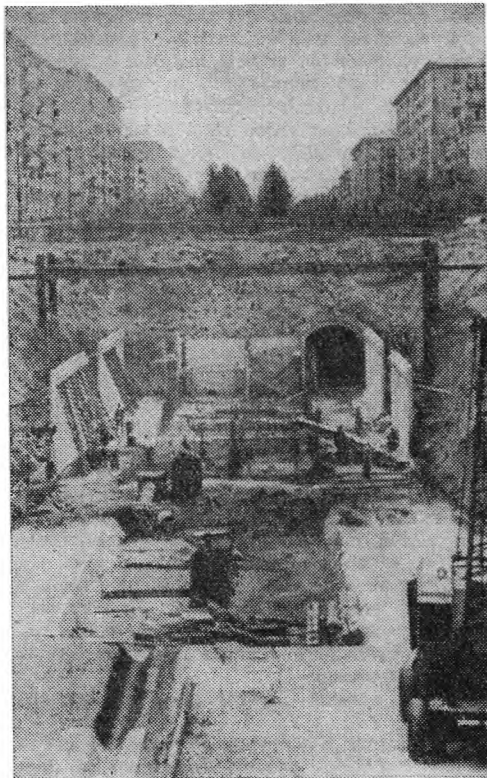
На шахте пятсот восьмой, за Университетом, познакомился я с Нафигуллой Зайдулиным, бригадиром проходчиков, из нового поколения метростроевских татар. Я сразу спросил:

— А Вазыха Замалдинова вы не застали?

Не застал. Но знает, потому что нельзя же не знать Вазыха Замалдинова, богатыря первых проходок, знаменитого забойщика десятой шахты в Охотном ряду, на углу Обжорного переулка (начальник Бобров, парторг Шагов, комсомольский секретарь Мартьянов, предшахткома Давыдов — исторические четырехугольники!). Да к тому же, оказывается, они земляки, их деревни в Татарии разделяет всего двенадцать километров. И вообще тысячи татар Метрострой роднит из поколения в поколение — и много же накопано их руками грунта в московских штольнях!

Да и у нового поколения метростроевских татар уже солидный стаж. Одиннадцать лет работает на шахте Зайдулин: Киевская-кольцевая, Калужский радиус, Выставка, тупики... Одиннадцать лет работает и одиннадцать лет учится. Можно бы нанести на схему линий метро график зайдулинских экзаменов: где-то там вначале, в левом нижнем углу, седьмой класс вечерней школы, оттуда кривая идет вверх, в гору, до десятого класса, а над ней, уже другого цвета, восходит вторая кривая — высшего образования: первый курс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой...

Старый мой друг Вазых Замалдинов был смекалист и умен, был наделен рабочим обаянием, организаторским тактом и политическим чутьем, но в науках — что правда, то правда — Вазых был слаб. Уже потом, под давлением своей славы, пошел Вазых учиться, он окончил Пром-академию и стал специалистом-тоннельщиком. А вот наследник рабочей славы метростроевских татар Зайдулин, что называется, с ходу берет крутизну горной нау-



Измайлово. Московский способ проходки

ки. Ему осталось сдать государственный экзамен и защитить дипломный проект.

Бригада Зайдулина кладет бетон, мелкий, неудобный, закоулочный бетон — ниши, камеры, ходки. Совсем не то что двигать щит. Там у нее бывали громкие рекорды проходки, а здесь ничего эффектного не предвидится. Работа неблагодарная, трудоемкая, ее поручить можно только заслуженной бригаде, достаточно скромной и гордой, чтобы не сетовать на временное сокращение заработка. Запоздает бетон из Очакова — имей, бригадир, резервное занятие и держи в порядке нервы.

А хладнокровие отчего? От знания дела, от зрелости опыта.

Николай Васильевич Глебов, начальник объекта, встретился с Зайдулиным. Я гляжу со стороны: нет, не начальник и подчиненный, а двое ответственных. И еще кажется со стороны, будто нет огонька: слишком вяло, кажется, говорят тоннельщики! Для тридцать третьего года этот стиль явно не годился бы, уж мы бы его в «Ударнике Метростроя» заклеямили как полагают. В кино и на сцене мы и по сей день наблюдаем стоградусную строительную горячку, а в жизни — примат бытия! — уже давно возникли ударные участки нормальной температуры, боевой тишины, спокойного энтузиазма.

Проходчик бригады Зайдулина Владимир Благов недавно пустился в рассужде-

ния относительно того, что и пусковые дни, столь привычные и частые на Метрострое, когда все горит и бушует, когда на аврал отделки и уборки новых станций выводятся сводные полки служащих обоюга пола, — надо превратить в нормальные, спокойные дни, в дни ровного дыхания и правильного сердцебиения. Если у начальника Метростроя Василия Деметревича Полежаева есть на этот счет особое мнение, пусть он выступит с ним в печати.

Ведь это факт истории, что Метрострой стал тише, а делает все больше и больше. Москвич со счета сбивается, не всякий и знает, что станций уже шестьдесят пять, а линий — девяносто шесть километров. Теперь метро осваивает новые границы Москвы. Шахтными копрами обозначены новые районы, новые кварталы. Тоннели прорезают Москву будущего. А на продолжении Замоскворецкого радиуса проектируются новые станции «Нагатино», «Каширское шоссе», «Коломенское», «Поселок ЗИЛ». На очереди — Кунцево, Преображенка, Новогиреево, Хорошево и второе кольцо. У Большой Москвы будет Большое Метро.

Тоннели, где работает бригада Зайдулина, начаты были проходкой, когда впереди, дальше Университета, лежало изрезанное оврагами поле. Монтажники домов опередили метростроевцев: теперь уже горизонт густо заселен, там стоят крупнопанельные дома, окрашенные по-разному, чтобы жильцы их узнавали.

Бригада Зайдулина на переднем крае Москвы.

Тот мелкий «мокрый» бетон, который укладывает бригада Зайдулина в юго-западных тоннелях, — это теперь капля в сравнении с массами сборного железобетона, поступающего на Метрострой с его заводов. Бетонщик Метростроя, заслуженный бетонщик, герой рекордных замесов прошлого, он перекечевал ныне на завод, он применил в своем бетонном деле средства современной индустрии.

Идут в дело новые материалы — пластмасса, синтетика, стекло, алюминий. И новой технике, таким образом, сопутствуют новые архитектурные формы, простые и легкие. В технологию вторгается вкус эпохи, стиль времени, и как оглянешься, так совсем уже музейной кажется «Комсомольская-кольцевая» с пышным безобразием украшений, характерных для эстетики купеческого капитала бог знает какого века.

Скоро уйдет Зайдулин из бригадиров в инженеры. К тому времени, надо думать, бригада покончит с мелким бетоном и двинется проспектом Вернадского к новым кварталам уже как бригада тоннельщиков-монтажников. Это там прошел недавно испытания «щит открытого способа» — монтажная тоннеледелательная машина завтрашнего дня Метростроя — она идет и ставит над собой секции готового тоннеля. Однажды здесь удалось установить шесть секций за смену!

Я вовремя пришел на шахту: откры-

лось выездное заседание партийного бюро.

Повестка обычная: итоги и перспективы. Юрий Петрович Павлов, совсем молодой начальник строительного управления, развесив чертежи, по-солидно занял своим докладом около часа. Схема доклада за двадцать пять — тридцать лет не претерпела существенных изменений. Всегда говорилось, что на предстоящее время нам с вами дано задание посерьезнее всех предыдущих, что оснащены мы с вами куда лучше, чем когда бы то ни было раньше, что кадры у нас с вами выросли и закалились, что министерство транспортного строительства идет нам с вами навстречу, но что с дисциплиной, дорогие товарищи, у нас с вами еще неважно...

«Если мы к марту не вылезем из земли...»

«А крана-то нет для 115-го пикета...»

«Я не знаю, как мы выкрутимся...»

«Но, товарищи, щит уклоняется то влево, то вправо...»

«И мы об этом говорим не первый день...»

«А с воздухом ничего не сделано практически...»

«Некоторые кольца придется перебирать...»

«Глебов десять молотков просит? Хорошо, дадим пять молотков, дадим пять молотков...»

«А что участок разут, так надо принять меры...»

Обороты повторяются, словарь в основном тот же, заседательский энтузиазм прежний, нравоучительная манера речи та же («На участках недоработали, так бедный Теплинский теперь ночами сидит!»), волнение знакомое.

Все знакомо и привычно, как будто я и не отлучался с Метростроя! А вслушаешься: завтрашний день врывается в прения! Со сборными конструкциями и трубоблоками, с новыми объемами и новыми скоростями.

Завтрашний день врывается новой нормой соревнования.

Мы не успели поговорить об этом с Зайдулиным, он ушел на смену. Но известно же, что в свое время ему так же трудно давались сантиметры проходки, как теперь метры. Чем же новым наполнилась рабочая норма?

Вот другой бригадир, с той же шахты, из того же тоннеля. Сколько помнит себя бригадиром Михаил Филиппович Титов (тридцать семь лет, двое детей, двенадцать лет горячего стажа, неполное среднее, четыре строительных профессии), он всегда был на производстве передовым. При сантиметрах суточной проходки был передовым, при одном метре, при двух, при трех, и вот теперь при четырех метрах в смену.

Откуда ускорение? В себе, что ли, проходчики открыли такой резерв? В своей мускулатуре? В своем только мастерстве? Да нет же! Добыто все это на уровне кон-

структорском, не одними руками добыто это и не одним умом, а найдено в общем опыте!

А мы помним: первые стахановцы в тридцатые годы давали пятнадцать норм, двадцать норм, тридцать норм, они собственными силами и средствами, в своем цехе, в своей лаве совершали бурные перевороты. Попробуй-ка сегодня выполни тридцать норм! Что тридцать — три попробуй! Это возможно лишь на предприятии заведомо отсталом, вчерашнем.

Так чем же он силен, сегодняшний передовик? Чем он выделяется, если нет за ним ошеломляющих показателей? Что же это за герой, выполняющий норму на 102,5 процента?

Мы долго говорим с Михаилом Филипповичем о новой норме. Она куда больше по объему, потому что программа нынешнего соревнования гораздо шире, нежели в годы стахановского движения. Норма сегодняшняя — она и нравственная, и культурная, и гражданская.

Мне рассказывает Михаил Филиппович, какие в бригаде устойчивые основы первенства. Все знают всё. И за бригадира любой может! Но командовать не приходится — в этом все и дело. Что это он Калабуховым будет командовать, или Елисеевым, или Красовским? Им ни подсказки не нужно, ни понукания. Можно ответственно сказать за всю бригаду: на первом месте честь и качество в работе, а потом уже рубль. Титов считает, что рублем очень хорошо человек проверяется, сразу видно, сколько он стоит. Вернее — чего он стоит.

В общую, укрупненную, широкую норму входит, вместе с производительностью труда, и скромность, и дружелюбие, и готовность поступиться своей выгодой, и политические твои понятия, которые не должны противоречить твоему поведению и линии жизни. И еще входит в норму показатель твоей общей культурности — есть у тебя интерес ко всему богатству мира, или тебя тянет проспать все восемнадцать нерабочих часов?

Дали бригаде Титова звание коммунистической? Нет еще! Учебный показатель мал. По этой графе ребята отстали от других.

На это у бригады есть, конечно, свои объяснения. А учет налажен строгий: давай успеваемость, давай академические успехи! Но больше всего смущает Титова другое: он против ненужной шумихи, какая затевается порой вокруг тех, кому присваивается это высокое звание.

Я часто об этом думаю. Немало нескромностей налипло на внешнюю оболочку соревнования! Жилой дом с кокетливой табличкой: «Мы — коллектив коммунистического быта!». Продавцы осеняют себя вымпелами с сусальным вензелем громкого звания...

А секретарь партийного бюро Николай Иванович Ковалев говорит мне о бригаде Титова следующие слова:

— Никогда не киснет! Какая бы ни досталась работа: лотки профилировать,

грязь чистить, дыры замазывать... Геройство-то не в том, чтобы взять себе видное, кричащее, броское дело и на нем отличиться на глазах у восхищенной публики, а как раз в том, чтобы без шума поработать в тени на самом неблагодарном и трудном деле и не лезть на глаза руководству, не выпячивать себя, не напрашиваться на похвалу, не кричать — ах, смотрите, какие мы хорошие! Вот это и есть бригада Титова.

Так я получаю еще одно доказательство того, что коммунистический труд стал заветной душевной потребностью настоящего советского человека.

— К бригаде Зайдулина,— добавляет Ковалев,— это тоже все относится. И к бригаде Леонида Эскина в механическом цехе. И к бригаде Михаила Епифанова... А вот вам еще телефон Варвары Кузьминичны Гундориной. К ней это тоже относится...

Варвара Кузьминична Гундорина — это Варя Исаченкова с первой очереди, бетонщица восемнадцатой шахты, машинистка руки эректора на щите («Ольга Устинова у нас работала, и Сергей Алтунин, и Ивашков Кузьма, самые первые награжденные знаменитости! Ольга-то Устинова сейчас на ленинградском Метрострое плановым отделом СМУ ведает...»). В большом московском доме, в уютной квартире на седьмом, кажется, этаже встретила меня женщина, о которой никак не скажешь, что она тридцать лет проработала на шахтах. Черт подери, есть все-таки что-то целебное и благодатное в метростроевской атмосфере, неведомое медицине, есть некий витамин молодости в шахтном воздухе...

Некоторое время мы говорим не о жизни Гундориной, а о работе Исаченковой.

Оказавшись в такой квартире, как не вспомнить наши бараки! Спустя треть века мы с Варей Исаченковой предпринимаем беглый обзор Москвы. Так что же мы видим на месте тогдашних наших городков? Прекрасный комплекс Лужников, высотную гостиницу «Украина», ансамбли Комсомольского проспекта, стремительные набережные Москвы и Яузы...

Мы вспоминаем нашу родную метростроевскую газету и печалимся, что ее почему-то теперь закрыли. Вспоминаем мы тех, кого нет уже: Ротерт, Крутов, Абакумов, Розанов, Данковцев, Зубков, Либензон, Антонов, Трое... Что же это, так и недосуг нам, что ли, водрузить в залах или вестибюлях памятные доски с именами героев метро?

— Гундориной я стала перед самой войной. Николай Васильевич кончал строительный институт имени Куйбышева, уже дипломную работу писал. В сорок втором погиб. Люсьенка на втором курсе Полиграфического... А я убежища строила, и опять на шахте, и на бетонном заводе на улице Огарева, и снова на шахте — машинисткой подъемника на Киевской, на Смоленской. И машинисткой козлового крана на поверхности, на открытом способе и на подъездных путях работала. Грузоподъем-

ность — двенадцать тонн: платформы таскала, балки, плиты, стеновые блоки, прогоны — это уж, понимаете, чистая современность, прогрессивная работа со сборным железобетоном! Целые станции собираются из готовых конструкций!

Отрадно быть грузчиком на этой мощной сборке! Не счастье ли, в самом деле, бетонщице первой очереди легким движением руки поднимать и перебрасывать десятки тонн?

Несколько лет назад наградили Варвару Кузьминичну орденом Ленина, и друзья сказали ей: «Прекрасный ты путь прошла, Варя, но пускай в твоей жизни будущего будет больше, чем прошлого...»

Усмехнулась Варя Исаченкова. Что, Варя, слышится скрежет бетономешалок у Мясницких ворот? Или ляг ручных вагонок в штольнях?

Я вглядываюсь в эти молодые глаза, такие знакомые. В них и есть, может быть, живая традиция нестаряющегося Метростроя?

И верно, она легко читается, эта традиция: «Мы — безотказная служба нового, мы — люди переднего края Москвы...»

Все мы озабочены вопросом, в чем она, традиция первой очереди. В особой метростроевской «готовности номер один»? В профессиональном подвижничестве горняка и строителя?

Давайте, Варвара Кузьминична, посмотрим к ветеранам.

Вот у нас в Новых Кузьминках, на участке Наримана Простова, есть проходчик, председатель цехкома Анатолий Степанович Яблоновский. Очень просто объяснить, почему человек дошел до преклонных лет и не хочет на пенсию. Дескать, нельзя ему без работы, не может он и помыслить себя в бездействии. Но у Яблоновского немножко не так. Коллективу без него нельзя! Старость его тем прекрасна, что она есть пожизненная молодость. Анатолий Степанович на стройке тот старший, за которым всегда останется власть и авторитет, хоть ты лиши его всех должностей и прав. Он — моральное начальство, необходимое каждому.

Готовя этот очерк, я полистал в библиотеке старые комплекты нашей метростроевской газеты. На первой странице, в почетном «окошке» рядом с заголовком увидел я большой портрет моложавого рабочего в белой летней рубаше с распахнутым воротом — на дворе стояло лето, кажется, тридцать седьмого года. Читаю: «Яблоновский А. С. — бригадир проходчиков и тюбингщиков шахты № 86. 20 августа бригада дала лучшие показатели на щите — 0,91 п. м. при плане 0,53 п. м.»

Теперь он уже не мерит свою работу на сантиметры. Другая мера: целые человеческие судьбы, другая длина и другая глубина.

Путевку, конечно, и без него в цехоме выдадут курортнику, колокольчиком на общем собрании поработает и другой, под коллективным договором подписаться

любому немудрено. Но чтобы простое дружеское слово, мягкое отеческое внушение имело силу приказа — на это нужен Анатолий Степанович, живой связной поколений. И для того чтобы рассудить сложное дело — не с пылу, не с лету, не по личному пристрастию, а в духе неподкупной принципиальности, которая ничего не боится, — на это нужен Анатолий Степанович Яблоновский, метростроевский ветеран, человек-опора. Правда ведь, Варвара Кузьминична?

Вот вы говорите, что в седьмом СМУ много лет нет никакой текучести, что большой коллектив удивительно сработался. Неважно, что у вас там сегодня висит объявление о товарищеском суде над кем-то из молодых новичков. Сработался коллектив! И это действует традиция. Я вас спрашиваю, как работает контора, нет ли бюрократизма, не буксует ли временами аппарат, не жалуются ли бригады, а вы улыбаетесь: нет этого! Я спрашиваю: а грубость, предположим, а черствость? Чья? Ну, предположим, кассира? Вы восклицаете: да что вы, это наша-то Маргарита Васильевна будет рабочему грубить?! Ее так уважают... И это тоже действие метростроевской традиции.

Мы с вами произносим слова: солидный метростроевец. А что такое солидный метростроевец? Отец большой семьи? С должностью? Хорошо одетый? С брюшком? Нет, солидный метростроевец — это тот рядовой горняк, который живет и дышит Метростроем, который способен ввязаться в драку ради интересов Метростроя, который сам назначил себя высоким начальством стройки.

Недавно ушел из жизни Михаил Михайлович Куратов, удивительный старик, великий мастер штукатурных работ, неистовый рабкор, вездесущий инспектор по качеству. Имя его стояло в начале самого первого списка награжденных: орден Ленина. Он был безжалостен к себе и очень строг к начальству. Он брал на заметку каждый грешок в отделке и вечером, позже всех других посетителей, являлся в кабинет к Егору Абакумову, начальнику Метростроя, выкладывать все свои наблюдения и соображения. Перед этим он успевал забежать в редакцию и, выгрузив из карманов свои блокноты и листы бумаги, наскоро отписаться. Каждый день! Неутомимый дядя Миша, скромный и мягкий, чувствовал себя по меньшей мере хозяином всего Метростроя, если судить по чувству ответственности за положение дел на стройке. С настойчивой мягкостью он добивался от меня:

— Слушай, а почему нет в газете моей заметки за вторник? За понедельник есть, а за вторник где? Э, так, брат, нельзя, так дело не пойдет...

Глубоким стариком увидел я его несколько лет назад на юбилее нашей метростроевской газеты. По праву партийного моего поручителя, крестного отца, он с

нежной строгостью спрашивал меня, — инспектор по качеству! — как я работаю, как печатаюсь, дельно ли пишу, то ли пишу, что необходимо сегодня нашей партии, и вообще, не избаловался ли на литературных хлебах...

Горьковского сложения, высокий, чуть сутулый, худой, морщинистый, быстрый и торопливый, он в упор стрелял своей мягкой, глуховатой скороговоркой, такой цепкий, такой дотошный. Он любил. Он страдал. Он жил. Он бился за свой Метрострой...

Если писать действительную биографию этого человека, надо указывать, что с такого-то по такой-то год он был хозяином Метростроя, не меньше.

Так вот, Варвара Кузьминична, к чему пришел разговор: таких хозяев Метростроя сотни и тысячи — постарше, помоложе, повыше, пониже, в рост Куратова, в рост Яблоновского, и женщины тоже есть среди этих тысяч рядовых хозяев Метростроя. Собственно, что же тут такого? А откуда сегодняшний начальник Метростроя? Да из бригады Коли Краевского, с двенадцатой шахты!

На героических началах поддерживается бессмертная молодость Метростроя.

В 1933 году, помню, мы печатали исповедь старого бетонщика, старого большевика Федора Косорукова:

«А в семнадцатом году ушел я в революцию бить господчиков, пуцать на небо их души... Как я стал десятником? Очень просто. Стране нужны не только честные рабочие руки. Ей нужна и рабочая смекалка. Я учу молодых...»

В те же дни появилась в нашей газете и «Пятилетка Ванюши Плужника» — репортаж из крещинского леса, из-под Наро-Фоминска, где проводили лето метростроевские малыши. Будущее уже явилось в детский садик веселым вербовщиком — приглядеться, кто тут из детишек унаследует метростроевские заботы: Ваня Плужник, Лена Жукова, Тамара Краснова, Инвер Бахитов, Харис Мингалеев?..

Где вы, ребята?

Ваня Плужник, помню, был моим соседом по Бутиковскому переулку. Я не нашел его теперь. А девочка Лёкочка объявила мне, что там всегда живет она, а меня там никогда и не было, что это я сам выдумал, будто жил тут когда-то, и никакой улицы Остоженки здесь никогда не было, а всегда была Метростроевская улица, и никто никогда не вскапывал эту улицу, потому что как же тогда удержался бы плавающий бассейн и как шли бы автобусы и «Волги»...

Правильно, Лёкочка!

Сейчас метростроевцы прошли бы твою улицу московским способом, без вскрытия почвы, и проходчики в тоннеле слышали бы над собой шумы города, бег времени, голос жизни, молодой и прекрасной.

ОТШЕЛЬНИК АТЛАНТИКИ

I. РЕЙКЬЯВИК И СКАЛА ЗАКОНА

— Гм, неужели ты думаешь, невежда, что до Исландии так легко доехать?.. Пароход отходит из Копенгагена в Рейкьявик только раз в месяц, а именно — двадцать второго числа, — стыдил своего племянника гамбургский профессор Отто Лиденброк, герой романа Жюль Верна «Путешествие к центру земли», которое, как известно, началось со спуска в кратер одного из вулканов Исландии.

И хотя со времени появления романа прошло сто лет, но приблизительно теми же словами встречено было мое желание поехать в Исландию морем — ведь путь занимает почти неделю!

Когда все же после долгих хлопот мне удалось забронировать место на датском теплоходе «Королева Александрина», выяснилось, что пилюли против морской болезни я закупил напрасно. Исландские моряки и портовые рабочие объявили забастовку — морской путь на «Остров Саг» был отрезан.

Ну что ж, полетим на «Коне Золотая грива» — так, согласно мифологии, в Исландии называют самолет. Только наш конь в отличие от того, на котором Один — бог сечи раскатывал по скандинавскому небу, — вместо восьми ног обладает четырьмя ревущими моторами. Полечу я вместе с Фрейей — богиней летнего дождя, чьи слезы превращаются в полноценное зерно, с Фрейей — богиней красоты и любви. (По-исландски стюардесса — «Фрейя полета»).

Но пока я «перекантовывался» с морского транспорта на воздушный, стачка захватила и авиацию. Не взревел мотор ни одного самолета, ни одна машина не поднялась с аэродрома. «Фрейя полета» — богини красоты и любви — участницы забастовки! Это, как говорится, зрелище для богов. Но не для правительств. Через несколько дней авиационная стачка была объявлена незаконной.

Итак, глубокой ночью с субботы на воскресенье наш самолет выпустил шасси над аэродромом самой северной столицы

на свете — лишь после того, как всеобщая стачка завершилась решительной победой забастовщиков и только кое-где еще затухали арьергардные схватки.

Ингольфур и пелефонная книга

Мой первый день в Исландии начался со знакомства с первым ее поселенцем. Было воскресенье, и люди или отдыхали дома, или уехали за город ловить форель и лососей; все учреждения и магазины закрыты — улицы пустыни.

— Едем к Ингольфуру! Затем пообедаешь у нас, и оттуда вместе с Кристинном отправимся в Тингведлир, — сообщил программу первого дня моей здешней жизни Магнус Йоунссон — высокий юноша с тонко вычерченным, умным лицом.

Уже второй год он учится в Москве, в Государственном институте кинематографии. Один из двух месяцев летних каникул, которые Магнус проводит обычно в Рейкьявике у родителей, он согласился пропутешествовать вместе со мной по стране.

...На холме, в острокопечном шлеме, в кольчуге, опираясь левой рукой на копье-острогу, правую положив на резную голову дракона — нос корабля, первый исландец, бронзовый Ингольфур Арнарсон глядит с высокого пьедестала вдаль на неправдоподобно голубое море. За спиной его Национальная библиотека, справа — Дом Правительства и Верховный суд, слева новые четырехэтажные — по здешним масштабам высокие — «деловые» дома. У подножия холма, на котором высится памятник, — главная улица столицы. Она не закрывает от Ингольфура даль. Во все стороны, куда он ни взглянет, — море.

Свободный земледelec и воин Ингольфур не стерпел произвола и гнета государства, возникшего в Норвегии на развалинах родового строя. Нагрузив корабль скотом и утварью, он с женой своей Хальвейг, с чадами и домочадцами бежал от тирании короля Харальда Прекрасноволо-

сого — как его называли единомышленники, Косматого — как прозвали недруги.

— А не убежал ли он от истории?.. Разве первобытная община не должна уступить место государству? Не был ли сей сын Арнара утопистом?

— Утопистом? — переспросил Магнус. — Может быть. Но ведь благодаря таким утопистам и возникла Исландия, — засмеялся он. — Своеобразие нашей истории и в том, что она началась с бегства от государства...

Ингольфур знал, куда бежать. Незадолго до этого остров уже был открыт другим норвежцем — Флоки, получившим прозвище Ворон.

То был пустынный, скалистый остров. Флоки Ворон причалил к северному берегу Брейди-фиорда. Взобравшись на вершину горы, он увидел фиорд, сплошь забитый льдом. Потому-то и назвал он это место Исланд — Ледяная страна... От Флоки, возвратившегося в Норвегию, земляки его узнали об Исландии.

Сюда и направил свой путь Ингольфур.

За ним потянулись другие норвежцы, бежавшие в эту совсем не обетованную землю так же, как от гнета царской московской Руси крепостная вольница бежала на Дон.

Прошло больше тысячи лет, и на том самом месте, где он построил свой дом, в центре Рейкьявика, стоит бронзовый Ингольфур, творение замечательного скульптора Эйнара Йоунссона.

Разглядывая этот памятник, я думал о том, как нужно было любить свободу, каким мужеством обладать, чтобы на утлых суденышках пуститься с детьми в многодневный путь по открытому океану на далекий, суровый, необитаемый остров!

Расставшись с бронзовым Ингольфуром, мы должны были заехать домой к Магнусу, чтобы оттуда отправиться в Тингведир. В автобус мы вошли вслед за двумя голубоглазыми девчурками лет семи-восьми. Короткие тугие косички непокорно топорщились, кружевные оборочки пышных нижних юбок выглядывали из-под пестрых платьиц.

— Такие маленькые — и едут одни! — шепнул я Магнусу, но он кивком показал мне на степенно подходившего к автобусу карапуза, которому не было и шести лет. В этот солнечный день он нес на руке желтую зюйдвестку (а вдруг дождь!) — значит, собрался далеко и надолго.

— К дедушке, — ответил малыш на вопрос Магнуса.

Дедушка жил в другом конце широко раскинувшегося города.

Малыш вскарабкался на сидение по соседству с шофером.

Автобус развернулся, и перед нами еще раз промелькнуло высокое копые Ингольфура, зубастая пасть дракона.

— Потомки Ингольфура много веков жили в Рейкьявике, на том самом месте, где он построил свой первый дом. Последний из них, Йоун Хьялтали, умер в 1752 году и был знаменит только своим при-

страстием к выпивке и танцам, — говорит Магнус. — Ведь родословная каждого из живущих сегодня исландцев известна с самого нашего основания. Сейчас действует двадцать восьмое поколение...

— Ты знаешь свое родословное дерево — все двадцать восемь поколений?!

— А то как же! — в свою очередь удивляется Магнус. — По сагам, по записям.

— И они тоже знают? — смотрю я на сидящих впереди девчушек.

— Конечно. Во всяком случае, будут знать.

«Родства не помнящих», видимо, здесь не сыщешь. И Магнус охотно соглашается со мной.

— Почти тысяча лет как у нас ведется точная запись. Мы знаем, кто на ком и когда женился, где кто родился. Родословные книги передавались из поколения в поколение и свято хранились. Если хочешь знать, — продолжает он, — это было одной из форм национального самосознания. Нас ведь и сейчас еще так мало. Правда, за полвека мы выросли вдвое. Вся надежда на них, — и он смеется, глазами указывая на переднюю скамью. — В тридцатом поколении мы снова должны удвоиться.

Девочки отламывают дольки от длинных узких шоколадных плиток и samozабвенно болтают. Мы с Магнусом говорим по-русски, но учуяв, что речь зашла о них, девочки оборачиваются и радушно протягивают шоколадки.

— Бери, не обижай! — строго советует Магнус.

Я принял угощение из рук этих милых представительниц двадцать девятого поколения.





Двадцать восемь поколений в роду, и каждое носит другую фамилию. Виноват, у исландцев до сих пор нет фамилий, одни лишь имена, и для яности обозначение: сын такого-то — сон, дочь такого-то — доттир. По-нашему отчество. Оно-то вне Исландии и считается фамилией. Таким образом, фамилия сына не та, что у отца, а у отца иная, чем у деда, и т. д. Магнус Йоунссон — сын Йоуна. Отец его Йоун Магнуссон — сын Магнуса. А чей сын Магнус — дед моего Магнуса, я запомнил.

Этот тщательно оберегаемый законом обычай, восходящий к общинному родовому строю, может быть и помогает установить многовековую родословную, но сегодня, во всяком случае иностранцу, никак не облегчает жизни. В этом я имел возможность убедиться нынче утром. Желая позвонить Магнусу и сказать, что давно уже проснулся и готов к походу, я взял в руки телефонную книгу и, раскрыв ее, с удивлением убедился, что алфавитный порядок — по именам, а затем уже следует фамилия, то есть — отчество! У нас бы это выглядело так:

Иван Александрович,
Иван Борисович,
Иван Васильевич,
Иван Георгиевич,
Иван Дмитриевич и т. д. и т. д.
И так вся книга.

Конечно, родовое общество не предвидело появления телефонов, а тем более, телефонных книг.

К счастью, я знал, что Магнус — Йоунссон, и поэтому разыскал в книге имя Йоун. Но чьим сыном был отец Магнуса, тогда мне было еще неизвестно. А Йоунов в книге числится немало. Пока же я в раздумье сидел над этим каталогом, включающим абонентов всей страны, раздался телефонный звонок, и Магнус сообщил, что выезжает ко мне.

Скала Закона

Рывком распахнув дверь, в комнату вошел коренастый, широкоплечий человек — Кристинн Андрессон. Смуглый, веселый, напоминающий скорее южанина итальянца, чем скандинава, Кристинн собирался на своей машине отвезти нас в долину Тинга.

Выдающийся общественный деятель, литературный критик, неоднократно депутат альтинга, автор книги очерков «От Рейкьявика до Одессы», — Кристинн сейчас возглавляет большое издательство.

Перед тем как выехать из Рейкьявика, он решил сделать небольшой круг по городу.

Вблизи от центра проезжаем мимо скалистого холма, на котором высятся огромные серые цилиндры цистерн. Целое стадо их толпится здесь. Но курить тут не запрещено, потому что в них не бензин, не нефть, а сама теплота!

Когда ладья Ингольфур пристала к берегу, он увидел восходящие к небу столбы дыма. Рейкьявик — «Залив дымов» — так и назвал он это место. Но это был не дым, а парь, поднимающиеся от бьющего из-под земли кипятка — горячих ключей. Прошло тысяча лет, и теперь горячая вода источников по трубам собирается в эти цистерны и по трубам же идет отсюда во все городские дома, неся почти даровое тепло и уют.

Развилка. Дорога, уходящая влево на север, ведет к Акранесу: там недавно пущен государственный цементный завод.

— До сих пор мы ввозили цемент. А теперь его хватит для всей страны.

Я внимательно слушаю точные, подробные объяснения Кристинна.

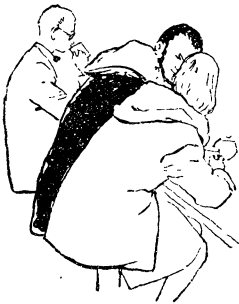
Мы уже далеко от столицы. Вот и дом, где живет Халлдор Лакнесс.

По черной, проложенной по лаве дороге шуршат шины встречного автобуса. Неровные, шершавые верхушки черных камней, лежащих по краю дороги, выкрашены яркой желтой краской. Ночью они светятся. Вокруг хаотическое нагромождение черных базальтовых скал, мелкие волны застывшей лавы, неровные, такие, какими их выплеснул вулкан из своих огнедышащих недр. Лишь кое-где лавовые поля эти покрыты ржавым ковром мхов и малахитом лишайников. Разве не таким представляли мы с детства по иллюстрациям к Фламмарйону лунный ландшафт!

И, наконец, поле Тинга — Тингведлир, — «место рождения нации». Дорога проходит в каменном коридоре меж двух скалистых стен. Стена справа не выше двухэтажного дома, слева — высокая, и скалистые края ее выщерблены так, что образуют причудливые силуэты — «Ладьи викингов». Грядя эта зовется Альмананья.

В ущелье, на месте, где была старинная коновязь, там, где прибывшие на вечеринг оставляли лошадей, мы оставили машину и дальше пошли пешком.

По легким деревянным лесенкам-мосткам подымаемся на склон. Справа блеск темно-синего, словно вороненая сталь, огромного озера, на нем два островка — потухшие вулканы, спереди и слева равнины — поля лавы, доходящие до отрогов гор, за которыми в прозрачном воздухе маячит снеговая вершина Скъяльбрейдура, поднятый к небу богатырский щит. Скъяльбрейдур — по-русски означает «Большой



щит». Вершины Скъяльбрейдурa слева, а прямо перед нами виднеется «гора Ворона» — тоже вулкан, в глубоком жерле его бурлит жидкая лава.

Уходящие к горизонту поля лавы — граница заселенной части Исландии. За ними на сотни километров бесплодная, каменная пустыня, где в древности скрывались люди, объявленные вне закона. У подножья склона, на который мы взобрались по глубокому обрывистому ложу, — прорезанная в толще лавы, стремится к озеру бурная река Оксарау, разбиваясь при впадении в него на много рукавов.

Позади — немолчный шум невидимого отсюда, скрытого скалами водопада. Где-то

общейсландское вече-тинг. Нет, не «делегаты» прибыли сюда, а просто все взрослые мужчины (многие с семьями) съехались со всего острова.

И с тех пор ежегодно в середине лета они собирались здесь на две недели и со-обща, под открытым небом избирали законоговорителя и верховного жреца, судили тяжбы, разрешали споры, утверждали законы, узнавали последние новости, обсуждали, что проделано за год в стране и в соседних краях, особенно в оставленной их дедами Норвегии.

Здесь принимались решения по самым насущным общим делам. К примеру, когда выгонять скот на общинные поля,



там, за второй каменной грядой коридора, он срывается с Альманагги.

Мы стоим у высокого белого флаштока на скале. Это и есть знаменитая Скала Закона, именуемая «праматерью парламентов».

Вот оно какое, поле тинга — веча, альтинга, учрежденного вольными исландцами больше тысячи лет назад, в 930 году, через полвека после того, как к берегам Исландии пристал корабль Ингольфура. Исландцев второго и третьего поколения было уже больше пятидесяти тысяч. Создававшееся здесь новое общество нуждалось в единых законах. Тогда и собралось первое

как исчислять время. Ведь ошибка в этом путала сельскохозяйственные планы, вела к нарушению обычаев.

Здесь, со Скалы Закона, погожим июньским вечером, белой ночью, при большом стечении народа, собравшегося на склоне горы, после того как верховный жрец освятил тинг, скальды читали стихи, сказители рассказывали саги. Здесь завязывались и знакомства, возникала дружба.

Так создано было единое общество, народ, а не государство. Никаких органов принуждения, ни армии, ни полиции, ни тюрем не знало это общество. Непререкаемый авторитет альтинга был достаточ-



ным, чтобы его решения выполнялись всеми.

«Logberg» — Скала Закона — высечено на камне.

Впрочем, ее с таким же правом по-русски можно назвать Скалой Общины, потому что понятия «закона», «общины», «мира» были у исландцев тождественны и назывались одним и тем же словом «Log». Для обозначения же любого государства, царства употреблялось и до сих пор в ходу другое слово — «рики», одновременно означающее «насилие».

Ветер ударяет в лицо. Легкие облака плывут в высоком небе, уже тронутым нежной кистью заката.

Как легко дышится среди этих причудливо изрезанных временем черных скал, похожих на руины древних замков! Как широко раздвинут оком, как далеко видны уходящие к пустыне, покрытые зеленым и рыжим мхом, золотым кустарником лавовые поля!

И христианство проложило путь в Исландию не огнем и мечом, а мирным решением народного вече-тинга.

Какая небывалая по тем временам терпимость! Язычникам разрешали дома молиться по-своему. Может быть, благодаря этой терпимости победа новой веры оказалась такой полной.

— Улаф Святой Норвежский собирался идти на Исландию, чтобы внести в нее огнем и мечом свет истинной веры. С переходом исландцев в христианство он лишился, как теперь говорят, идеологической основы для своей политики, — смеется Кристинн, депутат альтинга, принявшего на Скале Закона другой решающий закон. Это было 17 июня 1944 года.

Нынешний альтинг заседает в Рейкьявике, но разве можно найти лучшее место, чтобы провозгласить независимость, чем Скала Закона! Народ проголосовал за расторжение унии с Данией, за республику.

— Вот здесь стояли толпы народа, собравшегося со всех концов Исландии, — показывает мне Кристинн Андрессон. — А здесь мы, депутаты. Лето в тот год наступило поздно. Шел дождь, перемешанный со снегом. На машинах, верхом на приземистых, лохматых, выносливых лошадях прибыла сюда и трое суток, пока длились торжества, жила в наскоро раскинутых палатках четверть населения страны,

Люди хотели своими ушами услышать, как будет провозглашена Республика. Независимая. Объявившая вечный нейтралитет.

Здесь же был избран и первый президент. Впервые на тинге зазвучала русская речь: представитель Советского Союза поздравлял свободный исландский народ.

На Восточном фронте земля сотрясаясь от орудийного рева. Шло великое наступление Красной Армии. Отголоски землетрясения долетали и сюда, на этот вулканический остров.

— Сегодняшний альтинг, конечно, не альтинг эпохи народовластия. Только по названию он схож с древним вече. А так — это обычный парламент буржуазного государства, — говорит Кристинн, управляя машиной. — Так же депутаты после выборов забывают свои предвыборные посулы. Обещали, к примеру, изгнать американские базы, а затем в альтинге проголосовали за их сохранение. Альтинг, конечно, неплохая трибуна классовой борьбы, но исход борьбы решается за его стенами. Без забастовки ничего не добьешься! Впрочем, об этом тебе лучше расскажут профсоюзники. Поговори с «Дагсбруном».

«Дагсбрун» — «Рассвет»

В центре Рейкьявика, у Национальной библиотеки и Национального театра, на втором этаже нового дома, в двух комнатах размещается правление боевого профсоюза «Дагсбрун» — «Рассвет».

«Дагсбрун» объединяет в Рейкьявике портовых докеров, людей, занятых на разделке рыбы, строителей, черноработчих, землекопов и шоферов, которые работают не на собственных грузовиках. Это самый большой профсоюз в стране. В него входит свыше трех тысяч человек. Вот уже пятьдесят пять лет «Дагсбрун» идет во главе борьбы рабочего класса за свои права. И другие профсоюзы — особенно в то время, когда руководство Центральным объединением профсоюзов Исландии попало в руки социал-демократов, смотрели на «Дагсбрун» как на своего руководителя. Поэтому-то реакция всегда стремилась изолировать «Дагсбрун», подорвать его влияние.

В забастовку шестьдесят первого года «Дагсбрун» вступил первым и после пяти недель борьбы последним закончил ее.

К каким только уловкам ни прибегали, чтобы расколоть ряды стачечников,

— Нет, штрейкбрехеров не было! — отвечает на мой вопрос председатель «Дагсбруна». — Ведь четверть века назад рабочие заставили альтинг издать закон, приравнявший штрейкбрехерство к уголовному преступлению.

Эдвард, сын Сигурда, председатель «Дагсбруна», рабочий рыбной фабрики, депутат альтинга, сидит за широким столом лицом ко мне и спиной к большому зеркальному окну. Рядом с ним — широко-

плечий голубоглазый гигант — его заместитель.

— Эдвард — любимец рабочих, они его называют «директор стачек», — шепнул мне Магнус.

— Видишь ли, — говорит Эдвард Сигурдссон, — у нас огромная несправедливость в распределении благ. К примеру, за последние десять лет ежегодный национальный доход и производительность труда увеличились вдвое. А реальная заработная плата, покупательная способность тех, кто создает эти богатства, — все время падает. Только забастовками, упорной борьбой нам временно удавалось останавливать это падение. В мае перед стачкой рабочие, входящие в «Дагсбрун», на свой заработок могли купить лишь три четверти того, что было им доступно в начале 1959 года. Таков результат политики правительства социал-демократов и консерваторов. На каждую нашу победу, — добавил «директор стачек», — они отвечали девальвацией, превращая исландскую крону в мягчайшую валюту, — и он сделал недвусмысленный жест, обозначающий степень мягкости бумажных денег. — За несколько лет — несколько девальваций!

Раньше, когда в правительство входили представители «Народного союза», был принят закон: если повышаются цены на предметы первой необходимости, то соответственно растет и заработная плата. Но в 1961 году правительство отменило связь индекса с заработной платой и провело очередную девальвацию. На шестьдесят процентов снизили курс кроны. Цены подпрыгнули вверх.

— Чтобы поддерживать прежний уровень жизни, рабочим надо было трудиться в день часа на полтора-два больше! — рассказывает «директор стачек». — Наши ребята сразу же хотели ответить действием. Забастовкой! Но правление решило попридержать их пыл. Пусть все почувствуют на



Халлдор Лакснесс

своей спине, что это вовсе не временное мероприятие для «оздоровления экономики», как утверждали социал-демократы.

И лишь в январе 1961 года «Дагсбрун» потребовал от хозяев увеличить зарплату на пятнадцать процентов, сократить рабочую неделю до сорока четырех часов, повысить оплату сверхурочных и отчислять в кассу взаимопомощи профсоюза один процент заработной платы!

Схожие требования выставили и другие профсоюзы.

Пять месяцев ушло на бесплодные переговоры.

Чтобы внести раскол в профсоюз, предприниматели сообщили, что согласны повысить зарплату на девять процентов, но — в течение трех лет. По три процента в год. Эта мизерная уступка была отвергнута. 29 мая началась забастовка.

Тогда-то государственный посредник предложил: увеличить зарплату на шесть процентов!

— И вот тут сплеховали женщины! — сказал Эдвард.

— Женщины? — удивился я.

В Скандинавии работницы имеют свои женские профсоюзы, и вот их профсоюз, аналогичный по составу «Дагсбруну», хоть он и называется «Прогресс», принял предложение посредника.

— Но наше классовое единство крепили господа предприниматели, — улыбнулся Сигурдссон. — Так же, как и мы, они отвергли предложение посредника. Считали, что в конце концов мы капитулируем. Не получилось.

Руководителям профсоюзов удалось заинтересовать фермеров в победе рабочих. Чтобы сельские хозяева не терпели убытков из-за стачки, разрешено было работать молокозаводам, завозить удобрения на фермы и т. д.

Фермеры и их партия — «прогрессивная» верховодят в исландской кооперации. Всеисландскому кооперативному объединению (SIS) принадлежит в стране очень много предприятий: молокозаводы и бой-



ни, рыбозаводы и траулеры, ткацкие и обувные фабрики, пекарни и т. д. И кооперация пошла навстречу рабочим — приняла их требования.

Фронт предпринимателей был прорван.

А кроме того, время не терпело. Подходила сельдь. А сельдь это — некоронованная королева Исландии, главное богатство страны. Ход рыбы определяет ритм жизни, падение и возвышение городов.

С небольшими отклонениями почти повсеместно требования забастовщиков были приняты.

Ну, а продолжение этой истории происходило на моих глазах.

В ответ на победу рабочих, не дожидаясь созыва альтинга, — вопреки обычаю, с помощью чрезвычайного закона, как будто нарушена была безопасность страны, — правительство объявило о новой девальвации кронны. На пятнадцать процентов! Через несколько дней после этой встречи в правлении «Дагсбрун», на другом конце Исландии, в Халлормсстадуре — единственном здешнем лесу, в домике лесничего я прочитал сообщение о том, что цены на бензин поднялись на двадцать эйриров, на сахар — с шести крон до шести крон семидесяти пяти эйриров.

Без кофе исландец не представляет своего существования. Но на рыбном заводе в Сейдисфьордуре, где в годы Отечественной войны формировались караваны судов, направлявшиеся в Мурманск, мне говорили, что цены на кофе поднялись с 46 до 51 кроны.

Еще через несколько дней в пассажирском автобусе, вышедшем из Акурейри, я по радио услышал, что хлеб и хлебные изделия с этого дня дорожают на шестнадцать процентов.

...В порт, к докерам, к членам «Дагсбруна» меня провожает паренек со значком всескандинавского шахматного турнира на куртке.

— Теперь ты сам видишь, как правительство сводит на нет нашу победу в великой стачке шестьдесят первого года! — возмущается он. — Они сеют ветер, но пожнут бурю. Не случайно Гольфстрим передает Исландии тепло, полученное на Кубе!

II. САГА ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

Волшебник Саймундур и скульптор Свейнссон

Когда я встретился с замечательным поэтом современной Исландии Йоуханнесом ур Кётлум, нашим искренним другом, — он весь был под впечатлением только что завершившегося полета Титова.

— Сосед мой, заядлый консерватор, — рассказывал мне Йоуханнес ур Кётлум, — в прошлое воскресенье уехал ловить рыбу и, разумеется, ничего не слышал о полете. В понедельник он вернулся с рыбалки, и, встретившись с ним на лестнице, я подробно рассказал ему о «Востоке-2». Сосед все мрачнел и мрачнел — уж очень хотелось ему, чтобы первыми в космосе оказались американцы, — но когда я сказал, что космонавт был так уверен в своей «машине», что беззаботно заснул и проспал сеанс радиосвязи с Землей, сосед мой торжествующе воскликнул: «Ну вот, а вы хотите, чтобы мы имели дело с большевиками. Сами видите, какие это ненадежные люди! Проспать в космосе!» И такие доводы бывают у наших политических противников, — хохочет Кётлум.

Асмундур Свейнссон, выдающийся исландский скульптор, к которому мы с магистром литературоведения Кристинном Андрессоном пришли в гости, после первых приветствий сказал:

— Титов! Человек с железными нервами! Он спал! Но зато у меня почти всю ночь была бессонница. Беспокоился. Утром выбегаю к соседу-кузнецу, моему другу. Он сразу понял и еще с порога кричит: «Все в порядке, приземлился!.. Семнадцать витков вокруг земли!» Теперь, — говорю ему, — и я что-нибудь придумаю титовское!

В совершенстве владея классическими формами скульптуры, Свейнссон, невысокий человек, простодушно-хитроватый, с голубыми, слезящимися от частых понюшек табака глазами, похожий на исландского фермера, и в свои шестьдесят восемь лет неустанно ищет все новые способы пластической выразительности.

Вот стоит страшное в своей экспрессии изваяние из темного дерева: женщина с зияющим провалом в боку — следом снаряда, — склонившись к младенцу, кормит его уцелевшей и неправдоподобно увеличенной грудью. Смысл предельно ясен: война и материнство. Страдающая мать, «Матер долороза». Все здесь преувеличено, огрублено и вместе с тем удивительно по экспрессии. Рядом с этой импрессионистической скульптурой вполне реалистическая прачка, стирающая белье. Копия ее установлена в Рейкьявике у горячего источника, где издавна собирались женщины со всего города для большой стирки (благо, не надо кипятить воду!).

— Это здание и свой дом я построил целиком собственными руками, — с гордостью говорит старый скульптор, обводя рукой заставленную бесчисленными статуями галерею, полукружием обступившую небольшой двухэтажный дом с невысоким, словно обсерваторским, куполом.

В студии Асмундур подводит нас к уже законченной в гипсе большой скульптурной композиции. Отлитую в бронзе, ее водрузят на площади перед университетом. В этом году Рейкьявickскому университету исполнилось пятьдесят лет. И бывшие студенты решили отметить «круг-

лую» дату. В складчину собрали средства — и обратились к Асмундур.

— Это будет памятник Саймундур Мудрому, — решил он.

Знаменитый исландский ученый Саймундур Мудрый прославился своими путешествиями по Европе, широкими знаниями и репутацией чудодея-волшебника. «Эдда» — удивительное произведение средневековой Исландии, сборник мифологических и героических народных песен, с поэтической простотой и лаконичностью повествующих о богах и героях, их чудесном рождении, необузданной силе, злоключениях и трагической гибели. Несколько веков автором «Эдды», благодаря которой исландская литература приобрела мировую славу, считали Саймундур.

Когда он учился в Сорбонне, его однокурсники решили: пусть кто-нибудь из нас продаст душу дьяволу за то, чтобы все выдержали экзамены.

— Тогда такую сделку совершить было проще, чем сейчас в банке получить заем на постройку дома, — смеясь, рассказывает мне Свейнссон легенду. — И самый успевающий — Саймундур — взял это «дело» на себя с одним предварительным условием: чтобы дьявол после экзаменов доставил его к родным берегам. В 1080 году бедняк мог добраться до Исландии только с редчайшей оказией — самолетов не было! Сказано — сделано. И после экзаменов на скользкой спине тюленя Саймундур поплыл к родным берегам. Этим тюленем был сам дьявол. Волна уже выносила их на берег, когда Саймундур вдруг вытащил из-под плаща толстенную библию и несколько раз изо всех сил ударил дьявола по голове... Тот, испустив дыхание, пошел ко дну.

Исландский Фауст оказался хитрее немецкого... Нечистая сила была побеждена Книгой.

Разве этому чудодею, сохранившему для человечества поэтические озарения скандинавской древности, можно поставить обыкновенный памятник на пьедестале?! И Асмундур нашел свое решение.

И вот мы стоим и разглядываем в его студии большую скульптурную композицию: выхвативший из-под плаща книгу юноша высоко поднял ее перед тем, как с силой обрушить на голову тюленя. Видишь, как трудно держаться юноше на скользкой спине «дьявола», как весь он напрягся в ожидании схватки, и, кажется, полы плаща его вот-вот превратятся в крылья.

И прощаясь с нами, приглашая еще заходить, Свейнссон говорит:

— Саймундур Мудрый, побеждающий тьму Книгой, по-моему, будет как раз на месте перед университетом, — говорит он. — Не великан, не дракон, не орел — духи хранители Исландии, а Книга — она и меч наш и щит! И прошлое и будущее! Вы ведь знаете, что литература у нас — предмет первойшей необходимости...

Да, я знаю. Об этом писали еще век с четвертью назад, в 1839 году, на страницах журнала «Современник». «Образо-

ванность Исландии представляет едва ли не беспримерное явление, — сообщал читателям русский ученый Грот. — Там почти всякий крестьянин читает книги, знает мифологию и предания своих отцов из старинных стихотворений, которые он заучивает наизусть. В хижинах часто встречаются люди, обучающие своих детей не только грамоте, но и предметам менее ограниченного воспитания. Некоторые поселяне умеют даже правильно писать полатыни. О такой образованности, о чрезвычайной любви к чтению низших сословий в Исландии свидетельствуют единодушно и путешественники, и датские купцы, живущие на острове...»

В те годы, когда в крепостной России едва ли набиралось пять грамотных на сотню, сообщение Грота казалось неправдоподобным...

Бедные, разоренные, нищие «вшивые исландцы» (иначе их не называли грабившие их датские купцы) при всем том были людьми интеллигентными! Это несоответствие прежде всего поражало путешественников. Но, пожалуй, еще более поразительно то, что, став страной зажиточной, «нагуляв жирок», Исландия по-прежнему осталась интеллигентной.

Телячьи кожи и липерапура

Лет тридцать назад, после первой поездки в Норвегию, Илья Эренбург удивлялся и высоким тиражам книг, и тому, что «сотни романов в Норвегии поглощаются не только скучающими барыньками, как в других странах, но вполне деловыми людьми с бородой и с доходами: скупщиком рыбы или лоцманом... Толстые тома не отпугивают: им скорее радуются, как затяжной любви. Статистика показывает, — писал он, — что только исландцы читают больше норвежцев, но это уже и вне Европы, и вне простого правдоподобия».

Истоки народной любви к книге восходят далеко к глубинам истории Исландии.

Любовь к родной литературе исландец впитывал буквально с молоком матери. В хижине, построенной из торфа, под дерновой кровлей, бесконечными зимними вечерами собирались все в общей комнате, и каждый, делая свое дело — суча шерсть, вывязывая чулки, мастера утварь, чиня седла, — внимательно слушал, как кто-нибудь, пальцем водя по строкам старинной рукописи, читал сагу — историю подвигов, жизни и приключений предков. Это была превосходная проза — семейные хроники, история отдельных родов. Все подробности были здесь важны и значительны, потому что речь шла не о выдуманных людях, а о прямых предках, людях, которые жили на той же ферме, что отец и слушатели.

Археологи, историки, этнографы, краеведы и лингвисты отмечают удивительную верность деталей и безупречную хронологическую последовательность саг. Рисуя широкую картину общественной жизни,

саги достигали размеров большого романа, который заучить наизусть невозможно и чтение которого было для исландцев и постижением своей истории, и истинным наслаждением в бесконечные вечера долгой приполярной зимы. Станным образом исландский язык не изменился за последнюю тысячу лет ни в орфографии, ни в грамматике. И древние, сделанные в XII веке записи саг были доступны поселянам. В то время, когда во всей Европе языком литературы была латынь, исландцы свои книги писали на народном языке. Может быть поэтому древний литературный язык здесь мало чем отличается от современного.

Как каждый зрелый плод несет в себе семена плодов будущих, так и в сагах, которые исландский народ сберег для всего человечества, таились зерна грядущей литературы всей Скандинавии. Через семь столетий сюжеты и темы саг, характеры их героев стали материалом, из которого полной горстью черпала, на котором росла и развивалась новая литература скандинавских стран — Швеции, Дании, Норвегии.

— Сто телячьих шкур уходило в догубенберговские времена на рукописную книгу саг средней величины. Это была немалая материальная ценность, — рассказывал Халлдор Лакснесс. — А к тринадцатому веку почти каждый крестьянский двор имел такую книгу. Не говоря уж о монастырях. Такое развитие литературы было возможно лишь при высоком уровне животноводства, — улыбнулся он. — Нет, не всегда исландцы были такими нищими, какими они стали позднее, порабощенные чужеземцами, когда многие рукописи были разорваны на кожаные заплатки для штанов или в голод сварены и съедены.

Рукописи саг действительно были щитом и мечом нации, они помогли сберечь язык и культуру народа в века унижений и нищеты, когда Исландия стала бесправным владением датских королей. Вот почему, отлично владея латинским языком, исландские писатели свои труды писали по-исландски.

Захватчики насаждали датский язык. Верность родному языку, родной литературе у народа, никогда не имевшего армии, была сильнейшим орудием и национальной самообороны. Поэтому мало того что колонизаторы строго-настрого запретили исландцам заниматься рыболовством, — в семнадцатом веке они вывезли с острова и отправили в Копенгаген самое дорогое, что было у поселян, — несколько тысяч рукописных книг саг... О запрете ловить рыбу вы узнаете лишь из книг. Но об изъятии саг еще до сих пор исландцы говорят с негодованием и горечью.

— Пусть датчане не уверяют, что этим они сберегли саги, — восклицает Кристинн. — Крестьяне наши лучше сохранили бы их. А сколько рукописей сгорело во время знаменитых копенгагенских пожаров! Сколько потонуло по дороге на пошедших ко дну кораблях!.. Конечно, теперь древние рукописи, увезенные датча-

нами, имеют для нас лишь символическое значение. Но ведь это единственный сохранившийся материальный памятник нашей старины. Все остальные перемолоты временем и климатом. И не случайно наше социалистическое издательство называется «Хеймскрингла» — так был озаглавлен знаменитый труд средневекового историка Снорри Стурлусона. Мы наследуем лучшие традиции нашего вольнолюбивого народа,

Союз саг и кооперации

Каждый день пребывания в Исландии убеждал меня в правоте слов Андрессона. Левое рабочее движение действительно стало силой, определяющей развитие исландской культуры. В нем участвуют талантливейшие художники, скульпторы, архитекторы, поэты и писатели страны. А ведь, пожалуй, нигде в буржуазном мире литература не обладает таким громадным влиянием на духовную жизнь народа, как в Исландии. Об этом говорят и цифры сегодняшней статистики. В США на сто тысяч населения издается 8,3 книги (названий) в год. В Норвегии — шестьдесят семь, а в Исландии — триста двенадцать. Этот маленький народ ежегодно получает свыше пятисот новых книг, оригинальных и переводных.

Вряд ли сыщешь другой такой город в мире, как Рейкьявик, в котором на семьдесят с небольшим тысяч населения насчитывается около полусотни книжных лавок — от маленьких лавочек букинистов до огромных магазинов, оборудованных по последнему слову книготорговой техники, — и двадцать типографий.

Я побывал здесь во многих семьях — и не было ни одной квартиры, где бы вдоль стен не теснились полки, до потолка уставленные книгами. Комната учителя в этом смысле мало отличалась от жилища рыбака, пасторский дом — от фермерского коттеджа. И повсюду — многотомное издание древних саг и собрания сочинений Стефана Стефанссона, Тоурбергура Тоурдарсона и Кильяна, как здесь дружески называют Халлдора Кильяна Лакснесса.

Но все-таки почти нет в Исландии писателей, которые могли бы прожить на литературный гонорар. Народ столь малочислен, что издательское дело убыточно. Предприниматель не хочет вкладывать сюда деньги. Изданием книг в убыток могут позволить себе заниматься лишь университет, находящийся на государственном бюджете, да богатые меценаты.

С одним из таких меценатов, Рагнарм Йоунссоном, я познакомился в гостях у замечательного писателя Тоурбергура Тоурдарсона, голубоглазого, моложавого, с «неистребимой рыжей» шевелюрой, несмотря на то, что ему уже за семьдесят. Он рассказывал мне, как издавал здесь свою сатирическую книгу «Красная опасность», посвященную поездке в Советский Союз, к которому издавна лежит его душа. Убежденный сторонник эсперанто, в защиту которого он написал несколько книг,



Тоурбергур показывал открытку на этом языке, только что пришедшую из Болгарии. Затем развернул номер ленинградской «Звезды», опубликовавшей его лирическую, открыленную большим талантом повесть «Исландская аристократия». Ирония, обличительный пафос, свойственные его книгам, не оставляют писателя и в живой беседе. Но как только речь заходит об эсперанто или о вере в привидения, идущей еще от эпохи саг, он теряет столь присущее ему чувство юмора.

— Меня спрашивают, как я, коммунист, могу верить в существование духов? Но как я могу не верить в них, если три раза я видел их, вот так, как вижу вас!.. Ведь вы же не станете настаивать на том, что вы дух?.. А совсем недавно, ничего не подозревая, я засунул пальцы в табакерку, чтобы достать щепотку табаку... и не смог. Наткнулся на два ледяных пальца, которые, очевидно, также собирались взять немного табаку!..

Когда нет мецената, друзья молодого поэта в складчину издают книгу его стихов и преподносят автору ко дню его рождения. На следующий день автор ходит по книжным лавкам, оставляя на комиссию свою книгу, изданную в пятистах—семистах экземпляров. Так появляется здесь на свет большинство новых стихотворных сборников. Убыточность издательского дела, правда, заслоняет исландский книжный рынок от мутного потока порнографии, низкопробных детективов, который достигает берегов Острова саг лишь в зарубежных, иноязычных книгах, главным образом американских и датских издательств.

Тем значительнее вырисовывается деятельность Кристинна Андрессона.

Он не только публицист и автор работ по истории современной исландской

литературы, но и выдающийся деятель рабочего движения, депутат, директор социалистического издательства «Хеймскрингла», редактор толстого журнала «Язык и культура» и директор еще одного, им же организованного издательства — массового книжного клуба, носящего то же название, что и журнал.

• — В дни экономического кризиса, когда мало у кого было денег на покупку книг, — рассказывает он мне «Сагу об издательстве», — мы ломали головы: как же сделать так, чтобы хорошая книга была и дешева и давала автору хоть прожиточный минимум. И пришли к идее создать кооперативное общество-издательство «Язык и культура». Раньше Исландию именовали «Островом саг», — ныне многие с таким же правом называют ее «Островом кооперации». Законным детищем этого брака по любви Саг и Кооперации стало кооперативное издательство «Язык и культура». У нас в активе была наша молодость, любовь народа к литературе, такие замечательные писатели и поэты, как Лакснесс, Тоурберггур Тоурдарсон, Йоуханнес ур Кётлум, Халлдор Стефаунсон и талантливые публицисты-марксисты. Мы обратились с воззванием к народу, и в объединение записалось не три тысячи, как мы мечтали, а четыре тысячи пятьсот человек, — и вскоре число членов дошло до шести тысяч! Теперь общество наше издает ежегодно девять книг и толстый журнал «Язык и культура».

Журнал этот выходит в пяти тысячах экземпляров. Для толстого, серьезного художественного и теоретического журнала — в Исландии тираж невиданный. Это все равно как если бы в СССР толстый литературный журнал издавался в шести с половиной миллионах экземпляров.

Адрессон протягивает мне каталог издательства за последние годы. Среди работ, посвященных проблемам политики и истории, среди книг исландских авторов и иностранных писателей я нахожу и сказки Пушкина, и пять томов Максима Горького, и «Жизнь в искусстве» Станиславского, романы Томаса Манна, Хемингуэя, Стейнбека, Силанпяя, Чапека, книги А. Макаренко и Б. Полевого, переведенные Йоуханнесом ур Кётлумом произведения Николая Островского, Л. Леонова, П. Павленко, Т. Семушкина, вышедшие таким же тиражом, что и журнал.

Члены общества пользуются двадцатипятипроцентной скидкой на все издания обоих издательств. Фактически получают — каждая пятая книга бесплатно!

Читательский кооператив «Язык и культура» стал инициатором создания Общества «Исландия — Советский Союз». Бессменный председатель Общества Халлдор Лакснесс, генеральный секретарь — Кристина Адрессон. Возникновение Исландского Комитета защиты мира также тесно связано с деятельностью этого читательско-издательского кооператива.

Мытьем и катаньем — клеветой и бойкотом, обостренной конкуренцией боролись и борются противники Единой социалистической партии — сторонники НАТО — с «Языком и культурой».

Консерваторы предложили создать «Государственное издательство», выпускающее книги в продажу по себестоимости. Этим они собирались ограничить влияние общества «Язык и культура» и создать плацдарм для выпуска антикоммунистической литературы. Когда альтинг принял предложение консерваторов, депутаты социалисты внесли свое: в правление государственного издательства, состоящее из десяти человек, должны войти делегаты от всех партий, представленных в альтинге. От Единой социалистической партии в правление были введены Кристина Адрессон и Халлдор Лакснесс. И они сделали все, чтобы «Государственное издательство» не было использовано для борьбы с прогрессивными идеями, с передовыми кругами исландского общества. Ныне издательство выпускает книги, имеющие общекультурное значение, предпринимаемые обширные, сложные полиграфические издания, непосильные для других исландских издательств. Видя, что и эта ставка бита, консерваторы и социал-демократы попытались создать свои организации, схожие с «Языком и культурой». У социал-демократов такой союз оказался мало жизнеспособным. Больше повезло «Обществу издательству», созданному консерваторами. Но несмотря на то, что пайщики его более зажиточны, ни по массовости, ни по общественному влиянию оно не может сравниться с объединением «Язык и культура».

Владельцы типографий, инспирируемые правыми, объявили «Языку и культуре» бойкот.

— Пойдем посмотрим, к чему этот

бойкот привел, — лукаво улыбаясь, приглашает меня Кристина.

Он открывает дверь на лестничную площадку, и мы входим в просторные цехи типографии, расположенные в том же доме, что и контора издательства и редакция журнала.

— Мы бросили клич народу, — продолжает он свою сагу, — и за три недели был собран первоначальный фонд на строительство собственной типографии общества. Пятьсот крон стоила одна акция. Многие товарищи брали деньги под вексель — лишь бы приобрести акцию, помочь кооперативу. Так было собрано четыреста семьдесят тысяч крон! Этот дом и типография построены на том месте, где в 1574 году была опечатана нашим епископом-первопечатником первая исландская книга!

Доход, который приносит типография, идет на удешевление книг.

Противники «Языка и культуры», занимающие министерские посты, пытались наложить запрет на импорт бумаги для издательства, — мол, не хватает валюты. Но и с этим кооператив справился.

— Тогда нас решили спроводить на задворки. Владелец дома, где был книжный магазин, отказал в аренде. Мы не могли снять помещения на главных улицах. С трудом удалось открыть магазин в одном из узких боковых переулков. В 1958 году мы купили на главной улице на бойком месте ветхий дом. Одна земля стоила миллион с четвертью! Но место какое! Создали кооперативное общество по строительству нового дома и снова обратились к народу.

Был собран миллион крон на покупку места и разборку ветхого домика. Лучший архитектор страны Сигвальд Тоурдарсон безвозмездно спроектировал здание. Оно станет самым удобным современным зданием столицы.

Чтобы добыть деньги, необходимые для воплощения этого проекта, требовался настоящий организационный и финансовый гений. Недостающую сумму Адрессон получил как заем от банков, другую авансировали те организации, которые пожелали арендовать отдельные помещения этого шестизэтажного дома (Объединение профсоюзов и др.).

И вот сейчас мы ходим по уже почти законченному зданию. Цементная пыль устилает бетонные полы, проемы окон еще закрыты фанерой.

Поднимаемся на самый верхний — шестой — этаж. Оттуда виден океан, вулкан на другом берегу залива, гора Эсья, порт и весь город. Но мне сейчас приятнее всего смотреть на этого не по-скандинавски темноволосого, пожилого, энергичного человека с сияющими глазами, который под напускной сдержанностью хочет скрыть так и выпирающую радость при виде дела рук своих — дома, созданного книгой и для книги.

Вращающийся рекламный круг на крыше находящегося по соседству богатейшего Американского информационного

центра ниже, чем дом «Языка и культуры». Здание газеты консерваторов «Моргунбладит», до недавних пор самое высокое в городе, тоже уступает ему.

«Дворец культуры» в Хельсинки и дом «Языка и культуры» в Рейкьявике — творения талантливейших архитекторов Альвара Аалто и Сигвальда Тоурдарсона — сооружены на средства, собранные народом. Мне думается, что в этом есть глубокий внутренний смысл — знаменье все растущей силы рабочего движения. Его ведущую роль в культуре признают даже люди из других слоев общества. К примеру, Рагнар Йоунссон из Маури, нажившийся на маргариновом заводе и типографии, здешний Третьяков, свою коллекцию картин исландских мастеров, оцененную в миллионы крон, в этом году подарил не государству, не муниципалитету, а Объединению профсоюзов Исландии.

...Ветер доносит дыхание океана. В порту раздается гудок. Строители разворачивают принесенные из дома «ленчи».

— Консерваторы уже успели открыть на этой улице свой книжный магазин. Но ничего! Наш откроется к рождественским праздникам. Это будет в самый раз, — говорит Кристинн Андрессон и, уже спускаясь по лестнице, вдруг вспоминает наш утренний визит к Свейнссону: — А ведь отлично придумал старый Асмундур: Саймундур Мудрый и тюлень-дьявол. Книга убивает тьму!

III. РЫБАК И ЗОЛОТАЯ РЫБКА

«Цена действительности»

Исландский морской патруль застиг английский траулер, когда тот незаконно ловил рыбу в территориальных водах, в пяти милях от берега. Пойманный с поличным правонарушитель пытался протаранить мирное сторожевое судно, главным вооружением которого было воинственное имя «Один». Навязанное Англией соглашение — уж на что оно было невыгодно Исландии! — снова нарушено самими англичанами.

Сообщение об этой очередной схватке я видел во всех газетах Рейкьявика.

— Браконьерство в чужих водах кое-кто считает своим богоданным правом, — сказал Халлдор Лакнесс... — У каждого своя мораль. Есть страны, где вообще никому нельзя ловить рыбу. Всякий, кто поймал хоть одну рыбешку, подвергается публичной порке...

— Для нас в этих странах не хватило бы розог! — засмеялся Магнус.

И действительно, современная экономика Исландии, ее благосостояние основаны на рыболовстве. На рыбу. И дело не только в том, что Исландия остров. Англичане тоже островитяне и рыбаки, но там на душу населения вылавливается не больше четырех с половиной килограммов рыбы в год, тогда как на каждого исландца приходится почти три тонны.

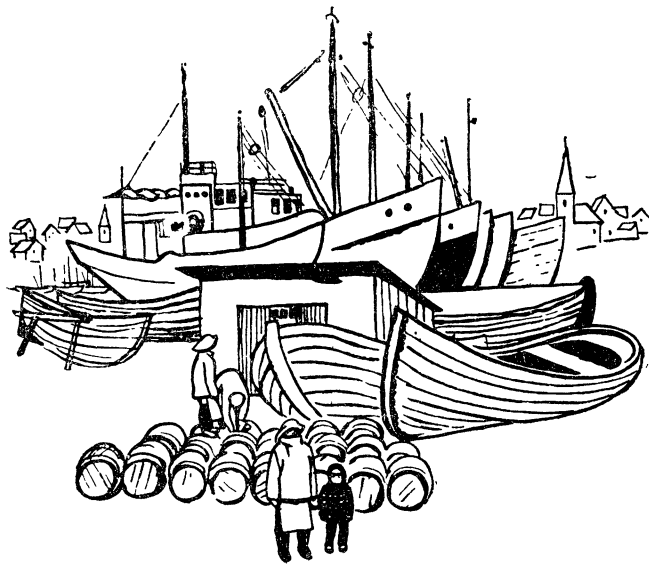
Как-то на одной из дорог Исландии, чтобы пропустить встречную машину, мы остановили свою около высокого телеграфного столба. Я приложил к нему ухо и услышал тонкое жалобное гудение проводов. Такое, как и у нас, как и всюду...

— Но зато пахнут эти столбы иначе, — мой спутник показал на далеко уходящие, превращающиеся из спиц в спички, теряющиеся в каменистой пустыне телеграфные столбы. — Они пахнут рыбой! Каждый столб — две бочки сельди!

Ведь Исландия весь лес ввозит из-за моря. Сколько же рыбы понадобилось, чтобы соединить проводами все шесть тысяч крестьянских дворов, отстоящих друг от друга на пять-десять километров!

Да, это треска позволила стосемидесятитысячному народу содержать правительство и разослать во многие страны послов и дипломатов. Это она отдает зимой детей рыбаков в школы в Рейкьявике, справляет девушкам новые платья, она открыла в столице университет. Это селедка включила восемнадцать тысяч телефонов в Рейкьявике, электрифицировала страну и каждую ферму снабдила трактором.

Если морские пространства делали Исландию «отшельником Атлантики», то рыба неразрывно связала ее со всем миром. Вяленая треска — стокфиск — с Африкой. Соленая треска — клипфиск — с католической Европой и Латинской Америкой. Мороженая рыба — с Англией и Со-



единенными Штатами. С Советским Союзом — те же мороженые треска, окунь, палтус и — сельдь.

Это рыба сделала жизненный уровень исландца — жителя острова, в каменных горах которого нет ни серебра, ни золота, ни железной руды, ни залежей угля и нефти, ни даже камня, годного для строительства, — чуть ли не самым высоким в Европе.

Поистине — сказка о золотой рыбке. О сварливой же старухе у разбитого корыта расскажем позже.

И насколько не погрешил против правды жизни Халлдор Лакснесс, говоря о Салке Валке, героине своего раннего романа: «девочка рано познала цену действительности — то есть рыбы».

Рыба совершенствует педагогика

Если в Норвегии шутят, что каждый лентяй мечтает зимой быть медведем, а летом учителем, то здесь эта пословица не в ходу. И не потому, что в Исландии нет медведей, а потому, что в летние каникулы мало кто из учителей не работает. В большинстве случаев они уходят «на рыбу». Не случайно и каникулы старшеклассников длятся четыре месяца. Рыба здесь «совершенствует» педагогика. Юноши и девушки летом должны основательно потрудиться. Летняя путина требует сотен тысяч рабочих рук. В эти месяцы все подчинено уборке «рыбного урожая». А воспитательное воздействие физического труда усиливается еще и тем, что на сельдяном Клондайке месяца за полтора можно заработать сумму, превышающую трехмесячное жалование учителя или священника.

...Автобус петлял по обрывистой горной дороге, не останавливаясь даже около самых живописных водопадов. Водитель включил «Последние известия». По радио называли имена и адреса рыбаков, фермеров, домохозяев, рабочих, чиновников — словом, всех исландцев без исключения, которым сегодня исполнилось пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, семьдесят пять, восемьдесят и больше лет. Диктор поздравил их всех с днем рождения и перешел к новостям с моря. С захватывающим вниманием все ловили каждое слово, когда он сообщал, где сейчас находятся траулеры, сейнеры, мотоботы, сколько каждым из них сегодня поймано рыбы и к пирсу какого рыбозавода он собирается пристать. Какой улов у Йоуна Гудмундссона из Кеблавика, у Юлиуса Бьёрнссона из Дальвика, Сигурдура из Акранеса и так далее. Насчитав более полутора десятков имен, я сбился со счета, а диктор все продолжал и продолжал называть имена рыбаков и вес их сегодняшнего улова. С таким же вниманием, как безработные на бирже следят за списком открывшихся вакансий или биржевики на фондовой бирже за курсом

акций, мои попутчики зачарованно слушали звонкий девичий голос, доносившийся из репродуктора. И немудрено. Пусть всего лишь семнадцать исландцев из сотни живут ловлей и обработкой рыбы — на ней основано девяносто семь процентов экспорта.

Но ни селедка, ни треска сами по себе, конечно, не могут стать благодетелями Исландии. Здесь, как говорится, надо приложить руки. А руки у исландского рыбака поистине золотые.

Каждый рыбак здесь вытаскивает из моря в среднем девяносто-девять тысяч пять тонн рыбы в год!

Норвежцы считаются, и это справедливо, прекрасными рыбаками. Но даже и в самый рекордный год в Норвегии никогда не вылавливали больше двадцати пяти тонн на рыбака. Дело не только в механизации. Траулеры ФРГ механизированы, пожалуй, даже лучше исландских, но и на них рыбак берет рыбы раза в два меньше, чем исландец. Исландцам не надо далеко ходить за добычей. Они ловят рыбу у «порога своего дома». В заливах Западной Исландии в сезон лова скопляется столько крупной трески, что на один квадратный метр приходится до пяти больших рыб. Рыбные богатства в водах, омывающих остров, на «материковой отмели», как говорят ихтиологи, пожалуй, самые мощные в мире. Они необозримы... Но все же, как видно, исчерпаемы... После войны английские и западногерманские траулеры у самых берегов Исландии хищнически вели лов. И рыбы становилось все меньше, уловы таяли на глазах.

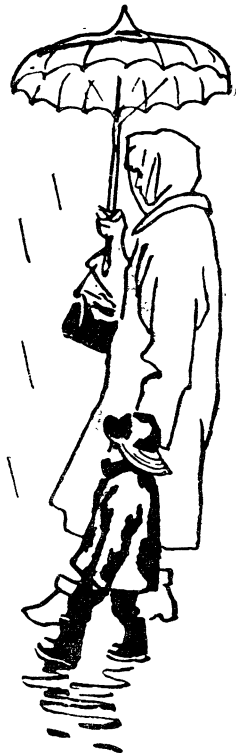
И тогда исландские власти спохватились и в 1952 году запретили рыболовство ближе чем в четырех милях от берега. Запрещение это касалось равно как иностранных, так и исландских рыбаков.

Однако английское правительство в ответ на эти разумные и законные меры запретило выгрузку исландской рыбы в портах Великобритании.

Исландцы заключили торговое соглашение с СССР, которое позволило обходиться и без английского рынка...

И через четыре года Англия вынуждена была снять «эмбарго»...

Но четырехмильная зона, разумеется, по-настоящему не могла защитить исландскую рыбу. В 1955 году, к примеру, мень-



ше половины улова у берегов Исландии принадлежало исландцам. Большую часть взяли хищничавшие здесь английские и западногерманские траулеры.

Вот почему борьба за установление двенадцатимильной зоны, внутри которой запрещен лов иностранцам, стала всенародным делом.

И мне становится вполне понятным, почему в Рейкьявике, когда я хотел узнать, где находится хоть один из патрульных кораблей, чтобы побеседовать с командой,— мне сказали: секрет! Их появление должно быть внезапным. Пожалуй, это единственная военная тайна в Исландии...

Сейдисфьордур и «селедочный король»

Наш путь лежал в Сейдисфьордур, который в конце прошлого века был вторым городом страны.

Проложенный по дну океана кабель впервые соединил телеграфом Исландию с материком, с Норвегией, не через Рейкьявик, а через Сейдисфьордур. Тогда он был богатым городом. И здесь любят вспоминать, что в конце прошлого века, после извержения, не помню какого, вулкана, в помощь пострадавшим собрали денег в Сейдисфьордуре больше, чем в любом другом городе страны.

Но после того как отсюда ушла сельдь, он постепенно захирел, «опустел», как шкатулка, из которой вынули деньги,— и сейчас в городе насчитывается лишь семьсот жителей. Но недавно вблизи фьорда



снова появилась сельдь, и город стал оживать.

Снова в сезон лова сюда будут съезжаться — верхом и на самолетах, на автобусах, на «газиках»-вездеходах и «виллисах» — со всех концов страны десять тысяч человек, чтобы приложить руки к обработке рыбы.

Так вот он какой, этот городок! С особым интересом я разглядываю и утес-великан, на груди которого заночевала тучка, и склоны горы, и прилепившиеся у ее подножья, на самом берегу, домики и пристани. И хотя я здесь впервые, но как мне памяты эти места по рассказам, услышанным в годы войны в Интернациональном клубе моряков и в госпиталях Мурманска! В Сейдисфьордуре из транспортных судов, добравшихся сюда в одиночку, формировались морские караваны. Отсюда уже под конвоем, выполняя союзнический долг, как драгоценными для нашего фронта грузами они отправлялись в зимний ночной героический путь в Мурманск — путь, освещенный, словно факелами, горящими судами, торпедированными немецкими подводными лодками и разбомбленными авиацией.

...Только что два сейнера выгрузили свой улов, и на далеко уходящем в фьорд пирсе кипит работа.

К длинному столу-помосту, за которым работает более полусотни молодых женщин, одетых в яркие цветастые платья-комбинезоны, подъезжает «пикапчик», и с него в ящик, укрепленный перед каждой работницей, сгружается гряда блестящей серебряной селедки. Девушки ловкими движениями отрубают рыбе голову, шкерят ее, вскрывая живот и выбрасывая оттуда потроха. Нож в их руках сверкает как молния... Одну за другой укладывают они рыбу рядами в бочку, прокладывая между рядами крупной солью — «исландский посол». Работают безостановочно — за каждую бочку причитается тридцать крон. А в час можно уложить от одной до трех бочек, все зависит от наличия рыбы и умения укладчика.

Отрубленные головы и потроха сбрасываются на протянутый под длинными столами лоток. Непрерывная струя воды смывает их в чаны, которые грузят на машину и отправляют на Сейдисфьордурский завод на перетопку... И в огромной цистерне у берега хранится не бензин или нефть, как обычно, не горячая вода, как в Рейкьявике,— а рыбий жир!

Исландская сельдь — самая крупная в мире, и жира в ней до двадцати четырех процентов. Он идет на выработку мыла, маргарина, медикаментов. Отходы перемалываются в муку — на корм скоту и удобрению...

— О, мы используем в сельди все, кроме запаха! — посмеиваясь, рассказывал мне мастер завода, вырабатывающего до трехсот тонн рыбьего жира за сутки... И в самом деле, только этот тошнотворный запах остается в цехе.

Завод в Сейдисфьордуре не самое

крупное предприятие. На нем пятьдесят рабочих. На самом большом — трудится человек двести. Оно находится в Сиглуфьордуре и принадлежит государству, так же как и другие семь крупнейших фабрик селедочного жира и муки. В Исландии производится до двадцати одной тысячи тонн сельдяного жира в год и до тринадцати тысяч тонн муки.

Здесь, на берегу — и рабочее время, и темп труда, как и у рыбаков на море, диктует рыба.

Рыба должна быть заморожена и посолена не позднее, чем через сорок восемь часов после того, как попала в сеть. Такой тут строго соблюдаемый закон, во многом объясняющий высокое качество «исландского посола».

То, что не успели засолить или заморозить в этот срок, в пищу не идет. Рыбу сдают на перемол и перетопку, а этот товар ценится намного дешевле. Поэтому-то при разделке трудятся чуть ли не до упаду. Часов шестнадцать, восемнадцать, а то и все двадцать. Несколько часов крепкого сна, и снова за дело.

Когда рыба «кончается», в ожидании следующих мотоботов и сейнеров девушки и парни оставляют свои «станки» — слышится веселый смех, поддразнивания, разговоры. Ведь большинство здесь — старшеклассники, студенты, сыновья и дочери фермеров, люди молодые, веселые, прибывшие со всех концов страны. На эту работу молодежь идет охотно не только потому, что она высоко оплачивается, но и потому, что здесь завязываются интересные знакомства, часто заканчивающиеся свадьбой.

Но вот пришел мотобот с живым хвостатом, многоголовым серебром — и снова сверканье ножевых молний и быстрые, ловкие движения безмолвно работающих девушек. Среди всей этой молодежи проходит высокий, грузный, немолодой уже, добродушный с виду толстяк... Да и почему ему не быть довольным! На этой, принадлежащей ему разделочной станции уже готово к отправке 15 600 бочек селедки — куда больше, чем ожидалось! А рыболовецкие суда все подходят и подходят. Это Свейд Бенедиктссон, «король селедки», один из заправил Селедочного комитета в Рейкьявике, человек, которому принадлежит в разных местах страны несколько таких разделочных станций. По совместительству он еще и директор самого мощного в Исландии, да и, пожалуй, в мире, государственного Сиглуфьордурского завода, который перерабатывает в сутки до полутора тысяч тонн сельди.

— Я сорок семь лет занимаюсь рыбой, — говорит он мне. — И это дело знаю... Прав шведский ученый, который, изучая саги и летописи, определил, что рыба тридцать пять лет приходит в одно место, потом уходит и снова возвращается лишь через тридцать пять лет. Вот почему я и распорядился реставрировать в этом году здесь, расширить разделочную станцию и забетонировать площадку. И не прогадал...

Уже в прошлом году приходила рыба, а в этом ее стало еще больше. Будущее сулит новый расцвет Сейдисфьордуру, — уверяет он. — Нашлись бы только покупатели... Посмотрите, какая у нас чудесная рыба! — Он вытаскивает из бочки, которую приготовились заколачивать, обезглавленную, мясистую селедку, с которой стекает жир и тузлук. — Если бы Советский Союз увеличил закупку нашей селедки, он бы не прогадал!.. А у меня как раз будет несколько тысяч бочек сверх того, о чем мы условились, — уговаривает он меня, словно я представлять Внешторга...

Но я знаю — то, о чем мечтает мой собеседник, осуществится. Наш торговый представитель сказал мне, что селедки закупят больше, чем предполагалось.

Посмотришь на Бенедиктссона — сущий народолюбец. С каждым из рабочих на «ты». И они отвечают тем же... Но по тому, с какой предупредительностью относятся к нему местные воротилы, как прислушиваются к каждому властному слову, непрерываемому тону, — сразу видишь, кто здесь хозяин.

Бенедиктссон разделяет взгляды своего брата — виднейшего из вожаков консервативной партии, министра нынешнего правительства... Но в одном он с ним все-таки не согласен — здесь его в спину подталкивает селедка: не надо было сдаваться в борьбе за двенадцатимильную зону и не надо ставить препоны продаже рыбы в Советский Союз и страны социализма.

Три учителя из Нескёйфстадура

Он приехал из городка на восточном побережье Нескёйфстадура с сыном, невесткой и внуком, чтобы отправить их из Эйильсстадира в Рейкьявик и сразу же вернуться обратно.

Высокий, коротко подстриженный, с залысинами, учитель по специальности, организатор по призванию, он в течение двух часов спокойно и деловито рассказывал мне за столиком придорожного кафе замечательную историю сегодняшнего расцвета Нескёйфстадура, истории своей жизни, борьбы за двенадцатимильную зону.

Из четырнадцати городов и городков Исландии десять — не что иное как простые рыбацкие поселки. Именно таким рыбацким поселком, — ни больше ни меньше — был и Нескёйфстадур. Точно так же, как и из Сейдисфьордура, от берегов Нескёйфстадура ушла сельдь. Но судьба города оказалась иной. В то время, когда населения в Сейдисфьордуре становилось все меньше, а жизнь труднее, в Нескёйфстадуре население все увеличивалось и жизнь облегчалась. Теперь там лучшая в Исландии коммунальная больница, никто не страдает от отсутствия работы, и этот маленький городок имеет судов рыболо-

вещкого флота столько же, сколько все остальное восточное побережье.

Началось с того, что в городе в начале тридцатых годов возникла коммунистическая ячейка — три школьных учителя, три сверстника-единомышленника, занялись политикой... Вначале коммунистов было очень мало, но уже в 1937 году большинство в местных профсоюзах пошло за ними, и на выборах в коммуно-муниципалитет они получили большинство... Оно за ними сохраняется и по сей день...

Рыбаки из местечка Нескёйфстадур поверили социализму, и через несколько лет коммунальный рыболовецкий флот, который кое-кто считал книжными выдумками, стал реальностью, а учитель средней школы Лудвиг Йоусепссон — директором муниципально-коммунальных траулеров.

Теперь в городе две фабрики по мороженому рыбе, фабрика по переработке сельди на жир и муку, продукция которой в этом году стоит сорок миллионов крон. Акции их принадлежат поровну муниципалитету и кооперации... А директор — второй школьный учитель, Йоханнес Стефаунссон. Он возглавляет кооператив, который обладает судами и станциями по обработке рыбы, и верфью для сейнеров, и ремонтно-механическими мастерскими.

Муниципалитету принадлежат построенные по последнему слову человеколюбивой техники школа, детский сад, плавательные бассейны... И председатель муниципалитета — третий учитель. Он же редактирует еженедельную газету. И ведает партийной типографией. (Ведь в Исландии народа мало, и почти каждый владеет несколькими профессиями). Сейчас в Нескёйфстадуре жителей вдвое больше, чем в соседнем Сейдисфьордуре. А Йоусепссон — заместитель председателя Единой социалистической партии Исландии — уже двадцать лет беспрерывно представляет в альтингге Нескёйфстадур.

И вот сейчас за столиком придорожного кафе на восточном берегу Исландии я разговаривал с одним из трех «школьных учителей», вожаков красного Нескёйфстадура, слушал его рассказ о том, как был подписан закон о двенадцатимильной зоне.

Внеочередные выборы пятьдесят шестого года принесли победу партиям, в предвыборной программе которых важнейшим пунктом было — расширить территориальные воды. Народ понимал, что главное — это сберечь национальное богатство — рыбу. В правительство вошли два представителя от каждой партии: от прогрессивной (фермерской), социал-демократической и от Народного союза.

— Я был в этом правительстве министром рыболовства и судоходства, — говорил Йоусепссон.

«Правительство считает, что расширение зоны охраняемых вод — важнейшая необходимость для экономического благосостояния народа. Поэтому правительство ставит своей задачей решение этого вопроса», — так написано было в программ-

ной декларации, с которой правительство обратилось к народу.

— Если ты спросишь, почему же тогда между правительственной декларацией и подписанием этого закона прошло почти два года, — я отвечу: Англия и США были против! А это означало, что социал-демократы внутри правительства заколебались. Много дней Совет НАТО обсуждал, как сделать нас уступчивее. Спаак бомбардировал телеграммами, угрожал экономическими санкциями. В то же время консерваторы начали в альтингге контркампанию во имя «атлантической солидарности». Выйти с этим к народу они, конечно, не могли. А министр иностранных дел социал-демократ Гудмундссон делал за кулисами все, чтобы оторвать министров-членов прогрессивной партии от нас, министров Народного союза. Но социалисты — наша партия — решили провести в жизнь требования народа, и в июне 1958 года я подписал постановление. Двенадцатимильная зона стала законом. Капитанам советских траулеров было приказано соблюдать эту зону. За Советским Союзом последовали и другие страны...

Слушая Йоусепссона, я вспоминал ультиматум Керзона в защиту английских траулеров, браконьерствовавших в наших территориальных водах у горла Белого моря, наш ответ на этот ультиматум, нашу борьбу за международное признание двенадцатимильной прибрежной зоны.

А Лудвиг Йоусепссон тем временем продолжал свой рассказ:

— Лишь английские траулеры остались в наших территориальных водах. Более того, адмиралтейство Англии направило в наши воды — против безоружного народа — тридцать семь военных кораблей с девятью тысячами моряков! Что и говорить, силы, намного превосходящие нашу патрульную службу!

Но щитом Исландии было чувство собственного достоинства и неистребимое стремление к независимости. Тысячи глаз во всем мире следили за этой неравной борьбой. Вопрос из экономического сразу превратился в острополитический.

Англия и Западная Германия, конкуренты Исландии на мировом рынке, заинтересованы в том, чтобы Исландия не расширяла рыбных промыслов — основы своей экономической независимости.

Англия и США предлагают Исландии займы на развитие других отраслей промышленности, для которой на острове нет своего сырья. Приняв такую помощь, Исландия стала бы еще более экономически зависимой от своих союзников по НАТО.

Два с половиной года действия нового закона очень благотворно сказались на ходе рыбы. Английские траулеры, промышленявшие под охраной военных кораблей, были скованы в свободе маневра и не могли брать рыбы столько, сколько они брали раньше.

Но после новых выборов социал-демократы, создав в блоке с консерваторами

новое правительство, забыли о своих предвыборных обещаниях.

— Если бы ты был в Рейкьявике этой весной, когда обсуждалось предложение правительства — разрешить Англии ловить рыбу в шестимильной зоне, — то увидел бы толпы у входа в альтинг. Люди не расходились целыми днями, требуя от депутатов отстаивать интересы Исландии. «Двенадцатимильная зона» — вот что было написано на десятках транспарантов. Конечно, Исландия — «свободная демократия», — с горечью заключил Йоусепссон, — поэтому наше требование провести всенародный опрос, референдум, было отвергнуто (все знали, каков будет результат!), а капитуляция протажена в альтинге большинством всего лишь в шесть голосов! И это в коренном вопросе нашей жизни! Прогрессивная партия и наша с парламентской трибуны заявили, что не признают уступок, которые сделаны под экономическим и политическим давлением... Я убежден, — уверенно сказал Йоусепссон, — что на ближайших выборах в альтинг народ скажет свое слово. Но до тех пор наше национальное богатство будет грабиться «на законном основании»... Дорого обойдется исландскому народу «атлантическая солидарность»!..

Вернувшись в Рейкьявик, я узнал, что предсказание депутатов оппозиции оправдалось. ФРГ также получила разрешение ловить рыбу в территориальных водах Исландии. И весной здесь ожидалось сотни три английских и сотня немецких траулеров.

«Атлантическая солидарность», как злая старуха в «Сказке о золотой рыбке», жадная, ненасытная, — последовательно ведет дело к тому, что вольнолюбивый исландский рыбак останется у разбитого корыта.

IV. В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРОВ

Якобина — дочь Сигурдура

...Прямые, светлые, надвое разобранные волосы доходят чуть ли не до плеч, на усталом лице, за поблескивающими стеклами очков острые внимательные глаза. А сама она тоненькая, стройная, как девушка, точно не ей месяц назад стукнуло сорок три года, словно не она мать четырех детей.

Якобина, дочь Сигурдура, подводит меня к окну. Дом стоит на высоком скалистом холме над самым озером. К воде, петляя между наваленными в беспорядке валунами, бежит стежка...

— Еще совсем недавно надо было ведрами таскать воду в дом. А теперь... — Она подходит к раковине в кухне, открывает кран и ласково смотрит на зажурчавший ручеек.

Наверху под крышей бак... Электронасос по утрам накачивает воду из озера. Всегда есть и теплая вода.

Я вспоминаю, как Лакснесс рассказывал, что когда зашла речь о водопроводе, его бабушка не поверила:

— Не может этого быть, чтобы вода сама шла в дом. Не верю!

Так же скептически она отнеслась и к такому нововведению, как телефон. И если ей сообщали какую-нибудь новость, она спрашивала:

— А вы откуда узнали об этом?.. А... по телефону!.. Ну, этому еще нельзя верить!..

— Мне довелось учиться в школе всего два года, — вздохнув, сказала Якобина, — и вообще я не считаю себя скальдом.

— Но в Рейкьявике мне показывали книгу ваших стихов.

— Что ж из этого. У нас часто бывает, что выходят книги стихов у людей, которые вовсе не считают себя поэтами.

— Вы же не просто скальд, народ считает вас крафтскальдом!

— Что вы, — засмеялась она. — Причина этому — совпадение. Когда я узнала, что в Хорнстранде будут американские маневры, а это мои родные места, все эти утесы у моря, тропинки, — я подумала, что там станут ходить чужие солдаты! Военные! Мины. Орудия. Стрельба!.. Все будет осквернено... Я и написала эти «Думы о Хорнстранде»... А потом разразилась буря... Погнала американцев... Ну, люди и посчитали меня крафтскальдом, решили, что мои стихи вызвали бурю... У нас ведь стихам придают большую силу...

— Да, — подтвердил Магнус, — раньше, если кто-нибудь хотел посвятить девушке стихотворение, он просил на это разрешение у ее отца... Иначе родители девушки могли привлечь его к суду тинга как за бесчестье, — и человека, сложившего стихи, сурово наказывали...

— А потом, — продолжала Якобина, — я написала об этом событии другие стихи: «Не смеялись ли тогда в скале?» Вот они. — Якобина раскрывает книгу своих стихотворений, прекрасно изданную «Хеймскрингой»...

Магнус скандирует последние строфы этого стихотворения наизусть:

Бессильная против исландских
Туманов, ветров и троллей,
Отпрянула прочь женщина.
То был не отход — побег!
Утесы сняли гордо,
Фиорды громко смеялись,
Ручьи обнимали вереск.
Сверкал нетронутый снег.
До срока в пещерах горных
Хранители-духи дремлют,
Но ветры в море рокочут,
И скал нерушима рать.
Навек сохранят преданья
Рассказ о сраженьях в Хорнстранде,
О смехе духов Исландии,
Врага обративших вспять.

Взглянув на часы, Якобина спохватывается.

— Заговорилась я с вами! Кофе еще не поставлен, блинчики не готовы, а сейчас придут мои мужчины: муж и свекор.

Хозяйство Торgrimура

Торgrimур, муж Якобины, и его отец — Бьергвин — складывали стены новой овчарни...

Старая стояла с раскрытыми воротами, пустая. А за ней из сарая, где виднелась гряда сена, раздавалось неумолчное и мерное таракхтенье движка. Вентилятор, суша сено, нагнетал воздух. Свекор Якобины отер руки и вступил с нами в беседу, тогда как Торgrimур продолжал работать — надо было использовать весь цементный замес, пока не затвердел. Видно было, что этот труд ему знаком. И впрямь, в ту зиму, когда он познакомился с девушкой, ставшей его женой, он работал строителем в Рейкьявике.

— О, о нашем хозяйстве в сагах ничего не сказано — оно не такое уж древнее, — рассказывал свекор Якобины. — Счет идет лишь с 1783 года. Сейчас хозяйствует седьмое поколение мужчин.

Нет, конечно, раньше все было по-другому. Когда он, Бьергвин, был мальчиком, а сейчас ему шестьдесят восемь, плуги в Исландии считались редкостью. Все руками да руками... Заступ, коса и грабли. Вот и весь инвентарь... А сейчас...

Я спрашиваю, сколько они возделывают земли.

— Примерно двенадцать гектаров. Десять под травой, два под картошкой, турнепсом, репой. Немного капусты и разная мелочь для дома. Собираем пятьдесят тонн сена. По пять тонн с гектара. Да... Бывает и по шесть. Этого урожая как раз хватает овцам и коровам на зиму...

— Много у вас овец?

— С октября двести голов. В начале мая выпускаем из овчарен на волю, в июле гоним в горы. Там они разбредаются, пасутся. — Он обвел рукой долину. — Вкусные у нас травы. И вода чистая, ледниковая,

пей вволю. На всем свете нет лучше воды, чем у нас в Исландии. Я читал, что у вас на континенте для овец бедствие — жара. Насекомые жалят... Волки ягнят уносят. У нас всего этого нет! И когда в сентябре пригонишь овец с ягнятами — их уже голов пятьсот... Ну, а корма — больше чем для двухсот не хватает. Вот штук двести-триста и продаем на кооперативную бойню...

— Сколько же на ферме работает народу?

— Трое. Я. Он, — показал старик на сына, кончавшего класть бетон, — и Якобина... Но она больше по дому. Ведь четверо детишек. Да еще три дойных коровы.

— Как же вы втроем справляетесь со всеми делами?

— Трактор есть и набор орудий к нему... Автомобиль — русский «джип» (так называют здесь «газ-69»), две лошади. Без них осенью не соберешь овец, не загоишь. Трактор еще по скалам лазить не умеет. У нас же земли в длину восемь километров, а поперек — пять. Кочки, камешки, болотца, лава! Конечно, если бы не траву сеяли, а что-нибудь другое, — не справились бы. А с травой ничего. Посеешь ее — и несколько лет снимай урожай. Каждый год — только гектара по три посевай да разбросай поверху навоз и селитру. Вот так и вертимся.

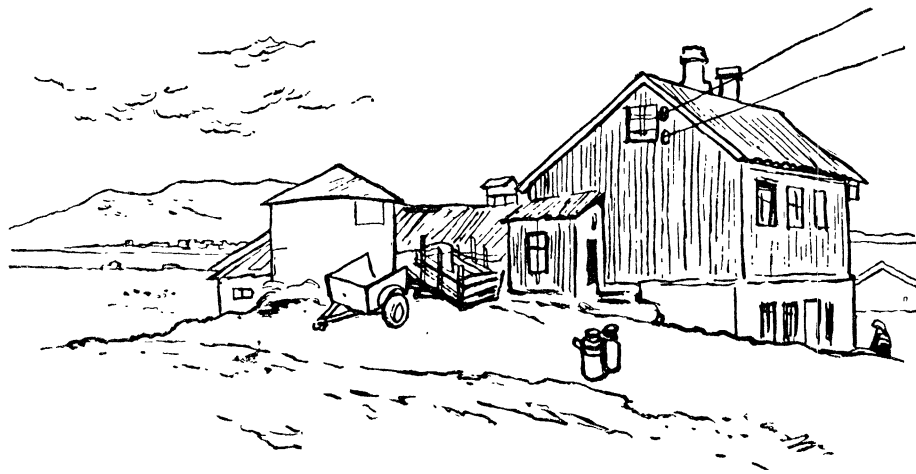
— Что вам еще, кроме химических удобрений и горючего, надо прикупать для хозяйства?

— Рыбную муку... Зимой каждой овце в корм ежедневно по полтора грамма подмешиваем...

Может быть, это было невежливо, но я не удержался, чтобы тут же не начать высчитывать производительность труда на ферме Торgrimура и его отца.

Ежели в год они сдают в среднем двести пятьдесят овец и ягнят, то на каждого работника выходит больше чем восемьдесят голов!.. Черт побери!..

— Не забывайте, кроме мяса — овчины. Да шерсть еще... По два килограмма чистой шерсти с овцы...



Шерсть у исландской овцы белая, блестящая, длинная, у нее нет ости.

Выходит, что двор старого Бьергвина производит еще двести—триста овчин в год да с полтонны шерсти!..

— А ты забыл масло!.. От двух коров — 260 килограммов, от третьей — молоко для семьи.

Итак, каждый работающий в хозяйстве Бьергвина человек сдает на рынок в год по восемьдесят овец и ягнят, столько же овчин, по сто пятьдесят килограммов шерсти и килограммов по девяносто масла!

— Неужели ж вам никто не помогает? Неужели обходиться без работников? — спрашиваю Бьергвина.

— Почему же? — отвечает за отца Торgrimur. — На июль-август приезжают ко всем фермерам из города школьники, юнцы. Лет по двенадцати, тринадцати. Трудовая практика... Это обычно родственники из городка... За харчи и небольшую плату. У нас тоже было двое мальчиков. Только на днях уехали. Те, кто постарше, едут на сельдь. Ее ход совпадает с сенокосами — рабочие руки нарасхват...

Якобина зовет нас к столу, и мы поднимаемся на второй этаж в столовую. На столах дымится кофе и вкусно пахнет свежее выпеченный хозяйкой сладкий пирог...

«Оспров кооперации»

На следующее утро очень рано мы с Магнусом, как это было уже сговорено с водителем, забрались в кабину грузовика, принадлежащего кооперативному молокозаводу в Хусавике, куда и лежал теперь наш путь...

Молодой шофер с женой и ребенком живет на берегу Миватна и каждое утро ведет свою машину на север в Хусавик — километров за сто.

Как в реку притоки, так и в большую эту дорогу вливалось десятка полтора малых, идущих от крестьянских дворов. У сливания их высился небольшой помост, на котором стояли бидона два-три с молоком, привезенных туда крестьянином. Водитель забирает бидоны, сдает на молокозавод, получает взамен вчерашние, пустые, и на обратном пути ставит их на помост.

Мы забрали бидон и на помосте вблизи от двора Якобины. На нем записка с просьбой купить такие-то и такие предметы.

Водитель взял записку. В Хусавике по дороге на молокозавод он заедет в универсальный кооперативный магазин, сдаст заказ и на обратном пути, получив покупки, положит свертки на помост рядом с бидонами.

— А как с расплатой?

Потребители могут заплатить по счетам, когда будут в городе, или поручить дело шоферу.

Проезжая дом Якобины, мы машем рукой его обитателям. Слушая доносящийся из сарая рокот вентилятора, сушащего

сено, я думаю о том, как сказочно изменилась жизнь Бьергвина. Раньше на поездку в Хусавик у него уходило четверо суток!..

Опять по две, по три белошерстных овцы подходят к обочинам, опять бегут мимо лавовые поля и любопытные пони изредка подымают голову и смотрят вслед грузовику.

На острове сейчас 777 тысяч овец, по 455 голов на сто душ населения! 48 тысяч голов крупного молочного скота (чуть было не сказал — рогатого, но коровы в Исландии почти все безрогие). По двадцать восемь коровьих голов на сотню человек.

Потребление молочных продуктов на душу здесь выше, чем в США, а мяса каждая здешняя душа съедает в год в среднем семьдесят килограммов.

Только кулаки, владеющие большими площадями и эксплуатирующие чужой труд, могли бы выиграть сейчас в Исландии от развития зернового хозяйства.

Восемьдесят пять процентов обрабатываемой земли идет под травы!

Тут, действуя в «содружестве с природой», просто стремятся наиболее выгодно использовать климатические и почвенные условия Исландии — горной страны с бескрайними лавовыми полями, этими естественными пастбищами.

Несколько минут ходьбы по главной улице главного города округа (сислы) Тингей — Хусавика, названной именем первопоселенца, раба Наттфари, тысячу лет назад бежавшего от своего господина, — и мы в храме современности: на молокозаводе, оборудованном по последнему слову техники, разве что нет еще тут электроники и полупроводников. Но чем черт не шутит — может быть, от полупроводников и фотозащитных элементов молоко сворачивается?!

Это небольшой завод, сверкающий чистотой стен и никелем новейших машин. Небольшой, но без напряжения перерабатывающий за день семнадцать тысяч литров молока (удой от трех тысяч коров, принадлежащих хозяйствам, раскинутым по сисле Тингей). Сюда-то и привез бидоны с фермы Якобины и десятка других тот грузовик, в кабине которого мы доехали до Хусавика. Отличнейшее масло и сыры — продукция этого, принадлежащего крестьянской кооперации молокозавода, по цехам которого мы проходили в белых халатах.

Здесь изготавливают и специфический исландский продукт «скир», который в недавно вышедшем в свет первом исландско-русском словаре определяется как «исландский молочный продукт кремообразной консистенции, изготовляемый с добавлением сычуга». Даже человек, не отведавший скира, по количеству слов, связанных с этим блюдом, мог бы догадаться, какое место оно занимает в исландском быту. «Скир, разбавленный водой», «скир с овсяной кашей», «ушат для скира», «ре-

шето для приготовления скира», «комок скира», «небольшое количество скира» — для обозначения всего этого имеются отдельные выражения, слова.

— Да, о скире узнают и другие страны, — с гордостью говорит мастер, показывая нам отделение, где готовят этот продукт. — Недавно приехал сюда и работал у нас практикантом мастер одного из датских молокозаводов. Поскольку скир не терпит дальней транспортировки, они хотят там, у себя в Дании, наладить его производство!

На прощанье на молокозаводе мне дарят небольшой круг сыра. Ведь Исландия из молочной продукции вывозит лишь казеин, а сыр и масло остаются внутри страны.

Отказы не помогают.

— Нет, нет! Пусть и у вас в Советском Союзе хоть кто-нибудь попробует не только исландскую рыбу, но и наш исландский сыр.

Этому натиску патриотической гордости я не в силах противостоять. Да, хусавикцы народ гордый и своим прошлым, и своим настоящим, и тем, что председатель прогрессивной партии — здешний уроженец, и тем, что они, крестьяне этого округа, были зачинателями кооперативного движения в Исландии.

Ни в одной стране мира нет такой всеобъемлющей кооперативной организации.

Нелегко здесь найти семью, которая не входила бы в то или иное кооперативное объединение. Исландская кооперация развивалась в резком противодействии датским купцам, которые, пользуясь монополией колонизаторов, нещадно грабили исландских крестьян. Путь, указанный Робертом Оуэном для облегчения жизни промышленных рабочих, опыт рочдельских пионеров в Исландии был подхвачен не рабочими, которых тогда здесь еще не было, а крестьянами. Это один из исландских парадоксов. Честь создания кооперации в Исландии принадлежит крестьянам... И в первую очередь — крестьянам сислы Тингей.

О том, как это было нелегко, рассказывал мне и мэр Хусавика, и невысокий, полный, похожий на диккенсовского Пиквика депутат альтинга в своем кабинете в Доме кооперации над универсальным магазином.

В вестибюле этого Дома кооперации невысокая статуя. Человек в сюртучке, с небольшой, клинышком, бородкой — фермер Якоб Халфданарсон, основоположник тингейской кооперации.

Несколько веков торговля с Исландией была монополией датских купцов. Но даже и через двадцать лет после того, как исландцы добились свободы торговли (в восьмидесяти годах прошлого века), из семидесяти двух фирм страны, ведущих торговлю в Исландии, — тридцать пять принадлежали иностранцам. Все тем же датчанам.

В Тингее это была компания «Эрум и

Вульф». Она продавала втридорога затхлую муку и другие низкого качества товары и по дешевке скупала овец и шерсть. Дед и отец мужа Якобины, тратившие три дня, чтобы добраться от Миватна до Хусавика, были не самыми дальними потребителями. Гнать же, овец требовалось еще дальше, через два горных хребта по бездорожью в Акурейри, где их принимали скупщики все той же всевластной фирмы...

Положение фермеров казалось безвыходным, когда в семидесятых годах в исландских водах появились английские и шотландские корабли — впервые за двести пятьдесят лет датской монополии. Они покупали овец на откорм, а также лошадей — пони для работы в угольных копях, причем платили за них куда больше, чем датские купцы. Правда, вся эта прибавка тоже уходила в карманы «Эрума и Вульфа», повышавших отпускные цены на свои залежалые товары, потому что англичане не привозили с собой нужных фермерам товаров, предпочитая расплачиваться наличными.

И вот однажды после долгих раздумий и дискуссий с друзьями фермер Якоб Халфданарсон, вернувшись из лавки «Эрума и Вульфа», вдвоем с приятелем Бенедиктом Йоунссоном при свете опывающих свечей, на языке, который они считали английским, сочинили письмо шотландскому купцу и судовладельцу Симону с просьбой привезти в следующий раз с собой в Хусавик товары для фермеров по приложенному большому списку.

В сентябре 1881 года корабль купца Симона вошел в Хусавик. Но здесь не было ни порта, ни годного для причала пирса, за исключением того, который принадлежал «Эруму и Вульфу», и, разумеется, компания не разрешила пристать к своему пирсу кораблю Симона.

Разгрузка была такой опасной, что капитан корабля заявил Якобу и его друзьям — они могут рассчитывать на то, что он приведет корабль сюда еще раз только в том случае, если соорудят и каменный мол, и пристань...

Фермеры пообещали сделать это. И обещание свое выполнили. Кооператив был создан, и взаимно выгодная торговля началась...

Но испытания на этом не кончились. Казалось, сами силы природы состояли на откупе у «Эрума и Вульфа». На северный берег Исландии обрушились небывало суровые зимы. Несколько лет подряд полярные льды, дрейфуя, пододвигали к устьям фиордов Северной Исландии ранней осенью и блокировали порты до самого лета. Зима 1886/87 годов была еще суровее, чем предыдущие.

Кооператив не смог получить грузы из Англии, а запасы товаров уже кончались. Управляющий «Эрума и Вульфа» полагал, что вряд ли представится лучший случай покончить с кооперативом, и отказывался что-либо продавать членам кооператива даже за наличные...

Самым обидным было то, что все то-

вары, необходимые кооперативу, были закуплены, оплачены и доставлены в шотландский порт Лейт, но ни один корабль не хотел riskовать — отправиться такой суровой зимой к берегам Исландии.

Представитель кооператива в Нью-Касле, исчерпав все возможности, бросился к норвежскому полярному капитану Тэннесу Ватне, который неоднократно плавал в Исландию, возмущался поведением датских купцов и сочувствовал фермерам.

Зная, что идет на большой риск, Тэннес согласился доставить грузы кооператива в Хусавик.

И в конце концов в начале марта корабль бросил якорь в Хусавике...

«Я отлично помню управляющего кооперативом Якоба Халфданарсона, который работал день и ночь, торопясь разгрузить судно, — сообщал потом об этом рейсе друзьям капитан. — И когда Якоб Халфданарсон увидел последний тук на берегу, я услышал, как он сказал: «Будь прокляты купцы и благословенна пища!»

Крестьяне-кооператоры взяли верх...

Уже в 1920 году только пять торговых-промышленных предприятий из сотни находились в руках иностранцев.

Первый удар монополии датского торгового капитала был нанесен кооперацией, вытеснившей иностранцев из местной торговли. Слабая, только начинающая развиваться местная буржуазия в этой борьбе за экономическую независимость оказалась позади крестьянства — на второй линии обороны.

Сколько трудностей пришлось одолеть, прежде чем были сооружены кооперативные бойни, а затем холодильники, и спрос на исландскую ягнятину поднялся до небывалых ранее размеров.

Одни и те же установки, которые замораживают рыбу, поскольку работа сезонная, в другое время занимаются и замораживанием ягнатины.

Через двадцать лет после создания кооператива — на ферме Изафельд вблизи Хусавика — встретились представители трех соседних кооперативов севера и основали для совместных оптовых закупок федерацию. Прошло еще несколько лет после этого почина, прежде чем возник Всеисландский кооперативный союз (SIS), играющий огромную роль в экономике и политике страны. Нынешний президент Исландии в свое время был председателем правления SIS.

Кооперации принадлежит сейчас двести семьдесят отлично оборудованных магазинов. В стране с населением в сто семьдесят тысяч это не мало — восемь молокозаводов, пятьдесят девять боен, сорок шесть морозильных установок. Кооперация — совладелец многих рыбозаводов и промысловых судов. Ей принадлежат ткацкая и прядильная фабрики, кожевенный завод и обувная фабрика, мыловаренный завод «Любовь», коферзвесочное заведение «Фрейя», заводик мелкой электромашинерии «Богатырь». Ей принадлежит семь современных коммерческих оке-

анских дизельэлектроходов, связывающих Исландию со всеми рынками, общей грузоподъемностью 28 000 тонн.

От маленького склада, построенного из обломков караблекрушения, — до огромных железобетонных пакгаузов в столице, от маленького суденышка шотландца Симона — до собственного дизельэлектрохода «хамрафелль» водоизмещением в шестнадцать тысяч тонн — вот далеко еще не заверченный путь развития исландской кооперации. И у начала этого пути стоял рыжебородый гигант — «самостоятельный человек» фермер Якоб Халфданарсон.

V. КЕБЛАВИКСКИЙ МАРШ

Привидения и оккупанты

«Отшельник Атлантики» — так раньше называлась Исландия. На дальних обочинах европейских дорог складывалась ее история, создавалась ее культура. Зброшенная туда, где, как острят школьники, «кончается карта», надежнее, чем крепостными рвами, страна была оборонена от вражеских нашествий тысячеверстными просторами бурных морей. По преданиям, охраняли Исландию и ее добрые духи — бык, орел, дракон и великан с дубинкой. Вот почему изваяны они на серой гранитной стене невысокого здания альтинга в Рейкьявике.

Но не только эти добрые духи стерегли независимость Исландии. Когда в средние века стране угрожали набеги алжирских сарацинских пиратов (их и по сей день здесь называют «турками»), исландские поэты — крафтскальды, обладавшие магической силой слова, одними лишь стихами, без выстрела пускали ко дну пиратские корабли.

Имена этих легендарных поэтов-заклинателей, их стихи сохранила народная память. Замечательный писатель, семидесятипятилетний Тоурбергтур Тоурдарсон читал мне их в своем кабинете, в Рейкьявике. А ныне силу крафтскальда приписал народ Якобине...

...Мы ехали в автобусе к Китовому фиорду (Хвальфьорду).

Внизу легким кружевом набегала морская пена, а справа темной громадой высились рожденные вулканической стихией базальтовые скалы. Обточенные временем и солнцем, ветрами и дождями, они напоминали уступы крепостных стен, возведенных доисторическими зодчими. Еще петля дороги и, пониже этих стен, — холм. На нем, как стадо испуганных слонов, жмутся друг к другу серые цистерны... Горючее.

И вот я слышу новую легенду о том, что когда американцы прибыли в Хвальфьорд, произошло нечто, не предвиденное воинским уставом. Среди ночи раздались

выстрелы. Несколько часовых, оставив посты, убежало в барак.

— Привидение! Призрак! — отвечали они, стуча зубами, на все расспросы.

Исландцы, узнавшие об этом происшествии, были довольны.

Они-то великолепно «знали», что это был призрак здешнего первого поселенца, охранявший берег от чужеземцев, что земля хутора Лихтенсандр — «заклятая». И хотя жители Хвальфьорда предупреждали об этом американского офицера, он не поверил им, так же как и своим солдатам. Однако следующей ночью, придя в караул, офицер убедился, что они не врал. К посту подошел полупрозрачный человек. На оклик часового он снял шляпу (это было вежливое привидение), но, не рассчитав движения, вместе со шляпой снял и голову. Раскланиваясь с часовым, держа в одной руке голову, другой он указывал: прочь отсюда!..

Какие нервы могли это выдержать! Часовой сошел с ума.

Вполне серьезно рассказывали мне эту новую легенду Китового фиорда попутчики по автобусу.

— У вас даже привидения ведут себя патриотически, — пошутил я.

— А что же вы думаете, если человек умер, он уже перестал быть патриотом? Нет! — возмущенно отозвался рассказчик.

Что ж, пожалуй, он прав. В самом деле, разве можно представить, что такой малочисленный народ целое тысячелетие перед лицом всех бурь истории мог сохранить свое неповторимое лицо и вновь обрести независимость, если бы бок о бок с живыми не стояли в одном ряду прошлые поколения — люди, создавшие самобытную культуру, в нищете и угнетении сохранившие и приумножившие вклад в сокровищницу человеческого духа, создавшие свой язык и свою литературу.

Похоже на то, что американцы передали построенные ими цистерны исландскому нефтяному акционерному обществу, потому что сами боялись противоборствовать «привидениям» и призракам. Но разве «потусторонние» силы перехитришь?! Разве они не понимают, что марка другая, а сущность та же: американская нефть для американских вооруженных сил! Акционерное общество — это выверенная организационная форма современного капитализма. Но средневековые привидения на почве Исландии живучи. Они сумели приспособить свою карательную деятельность к новым условиям существования. Анонимы не скрылись от них. Людей, осквернивших заклятую землю, полагающих, что прожит выше чести, дорожке родины, — постигло несчастье! Неведомо как, — а исландцы знают, чьи это холодные пальцы в чужой табакерке! — раскрылись незаконные валютные операции, подкупы в правлении акционерного общества. Нити вели даже к деятелям государственного эмиссионного банка. Заправилы попали под суд. А как говорится, пришла беда — отворяй ворота: второй удар! Некоторые руково-

дители акционерного общества оказались замешанными в нашумевшей афере: от цистерн беспешинного горючего на американской военной базе в Кеблавике, окрывается, были проложены тайные подземные трубы, по которым бензин перекачивался за ограждение базы в Кеблавик и продавался из бензоколонок гражданамскому населению по обычным здесь ценам. Так были перекачены сотни и сотни тонн горючего.

На сколько миллионов крон исландские и американские дельцы-контрабандисты обокрали покупателей и государство — можно судить по тому, что налог-пошлина составляет половину продажной цены бензина.

Да! Ни мифологический бык, ни геральдический орел, ни огнедышащий дракон, ни тролль-великан, ни все призраки и привидения, ни необыкновенная литература, ни бескрайние морские просторы не смогли охранить от оккупации этот мирный остров, когда из «Отшельника Атлантики» он превратился в средоточие трансконтинентальных воздушных путей, в людный международный перекресток, расположенный точно посредине пути между Нью-Йорком и Москвой.

Базы и совесть

Хвальфьорд!

Автобус замедляет ход. Одни пассажиры прильнули к окнам, чтобы получше разглядеть американские цистерны, другие демонстративно отвернулись.

Остановка у придорожного кафе, в больших зеркальных окнах которого отражается и кусок розовеющего предзакатного неба, и обрывистые скалы фиорда, и высокие оливковые борта грузовика. Похожий на кита, фырча, он медленно разворачивается, едва не задев наш автобус, а на бортах его крупными буквами выведено: «US Army» — «Вооруженные силы США».

Рейкьявикская вечерка «Визир», орган консерваторов, сетуя на то, что многие министры слишком налегают на спиртное и, куражась во хмелю, выбалтывают государственные тайны, как-то сообщила, что на банкете в честь американского адмирала, приехавшего в Исландию для переговоров, министр Х. сказал ему так, что слышно было многим:

— Нет, мы вам Хвальфьорда для базы подводных лодок не отдадим...

Таким образом министр выдал, возмущалась вечерка, содержание переговоров.

Но то, что консервативная газета считает государственной тайной, давно уже не секрет ни для жителей Хвальфьорда, ни для любого проезжего.

Когда после короткого «кофепития» мы покидали городок и проезжали мимо пристани единственного в стране китового завода, шофер обернулся и сказал:

— Смотрите внимательно! Скоро этого завода вы не увидите. Американцы

предлагают перенести его на север, чтобы не мешал им.—И, помолчав, добавил:— Заодно уж получше глядите и вокруг... Эту дорогу тоже могут закрыть.—И он перехватил руками баранку—дорога делала крутой поворот, загораживая скалой и китовый завод, и грузные цистерны.

Однако народ не хочет смириться с тем, что, вопреки конституции, его то и дело ставят перед такими свершившимися фактами. Получить военную базу в Кеблавике, в пятидесяти километрах от Рейкьявика, американцам удалось лишь после того, как они втянули Исландию в НАТО. Вся операция была проделана тайком от народа, за его спиной.

Протест исландцев против американской оккупации был так силен, что на очередных выборах в альтинг большинство партий выдвинуло в своих предвыборных платформах требование ликвидировать базу в Кеблавике.

— Не давайте оккупировать свой ум и сердце, ибо такая оккупация опаснее всего!—призывала в те дни Единая социалистическая партия Исландии. Призыв этот стал нормой поведения подавляющего большинства исландцев.

Но свои предвыборные обещания буржуазные партии снова грубо нарушили.

Лейф Эриксон и Христофор Колумб

Американцы стремятся утвердить свое влияние, воздействуя и на карман и на душу.

Их сторонники утверждают, что строительство базы, заняв много рабочих рук, избавило исландцев от послевоенной безработицы и принесло им немало долларов. Воздействуя на душу, они утверждают, что Исландия вообще по недоразумению считается европейской страной—на самом деле она географически относится к американскому матерiku. Исландия от Европы дальше, чем от Америки, так как Гренландия—это уже Америка, а расстояние между ней и Исландией куда меньше, чем расстояние от Америки до какого-нибудь вестиндского острова.

«Первая американская республика»—так именуется Исландия во многих книгах, вышедших в США. Американец исландского происхождения известный полярный путешественник Вильямур Стефансон даже назвал так свою книгу об Исландии...

Это уже, так сказать, соображение социологическое и пропагандистское. Дескать, у вас республика была провозглашена в 930 году, у нас в 1776. Вы опередили нас больше, чем на восемьсот лет, но зато мы—самая мощная республика Нового Света. Сейчас в Исландии американские солдаты, но ведь было же время, когда исландские воины пришли на территорию теперешних Соединенных Штатов. Мы сейчас открываем для себя Исландию, но вы,

а никто другой, открыли Америку! Не только солдат мы посылаем в Исландию, но и скульптурные памятники вашего приоритета. В Рейкьявике воздвигнута статуя викинга Лейфа Эрикссона, работы американского скульптора Стерлинга Калдера—дар США. На сером камне пьедестала высечено: Лейф Эриксон, сын Исландии, которого наука официально признала открывателем континента Америки.

Он высадился в Северной Америке в том же году, когда решением альтинга христианство стало религией исландцев.

Итак, не Христофор Колумб, а Лейф Эриксон, не 1492, а 1000 год!..

И я вспоминаю слова, которые ошарашили репортеров, обступивших Оскара Уайльда после его возвращения из поездки по Америке. Репортеры спросили: как вам понравилась Америка?

Он ответил:

— Исландцы умные люди...

— ???

— Они открыли Америку и никому об этом не сказали...

— Это, может, и остроумно,—отвечает мне мой молодой друг Магнус,—но не верно... Нет, они «сказали» Колумбу. Помогли найти путь в Америку...

Действительно, в своем завещании сыну Фердинанду Колумб писал, что он побывал в Исландии зимой 1477 года. Если вначале многие поверили ему, то потом большинство ученых засомневались. Это сообщение объявлялось или ложью, или позднейшей вставкой в завещание... Дело в том, что Колумб писал, что, пройдя на север на триста миль, он не видел льдов— море было чистое. А считалось непреложным, что льды начинаются уже через десяток-другой миль на север от берегов Исландии...

Однако австрийская экспедиция в 1882—1883 году на острове Ян-Майн, затем и норвежская исследовательская экспедиция Хагбарда Экерольда, проводившая здесь наблюдения в течение девятнадцати лет (1921—1940 гг.), установили, что за все эти годы на юге, в Строне Исландии, на море не было льда. И в свете этих новейших исследований ничего невероятного нет в том, что утверждал Колумб.

Но как бы то ни было, представители страны, открытой исландцами, ведут себя здесь часто так, что исландцы действительно могут пожалеть, что они так или иначе участвовали в этом деле.

...Долина Тинга—ныне заповедный национальный парк. Здесь место народных празднеств, и сотни семей в палатках проводят тут среди скал летние отпуска. Сюда приезжают тысячи туристов со всех стран; только американским военным после того, как они не раз безобразничали на этой священной для исландцев земле,—строганострого запрещено появляться в Тингведлире.

...В Кеблавике на военной базе действует телецентр, единственный в стране. Но американские телепередачи бойкотируют

ся. Ми в одной квартире, где я побывал, нет телевизора.

...У ворот, при выезде с территории американской военной базы в Кеблавике исландские полицейские устраивают в каждой машине обыск и вытаскивают из багажника бутылки с виски и другими горючительными напитками, которыми американские военные, пользуясь тем, что спиртное стоит в Исландии очень дорого, всю спекулируют. Увольнительные им теперь дают только по средам — в тот день недели, когда во всей стране запрещена продажа спиртного. Полицейские следят и за тем, чтобы солдаты не провели в казармы исландских девиц... Уступая общественному мнению, правительство отдало приказ полицейским следить за тем, чтобы ни одна исландская девушка не участвовала в кутежах с американцами. Впрочем, и до этого исландские девушки считали для себя зазорным знакомство с военным американцем.

Действия американской военщины настолько противоречат пропаганде Американского информационного центра, что во многом сводят ее на нет. Было бы неправильно сказать, что она не находит себе пути к сознанию многих исландцев. Но еще более очевидно, что настроения, желания, волю огромного большинства народа выражает «Союз борьбы с оккупацией». К одному из активных деятелей этого Союза, школьному учителю Йоунасу Аурнассону, мы с Магнусом и поехали на местном рейсовом автобусе из Рейкьявика в Хабнафьордур.

Кеблавикский марш

Разыскивая новое жилье Аурнассона, мы по пути забрели в центре городка в любопытнейший сквер, именуемый здесь «райским парком», с глубоким небольшим озерком посредине, обсаженным пестрыми яркими цветами, с молоденькими, неуверенными в себе рябинками и березками на склонах сквера, которые начитанная, но непривычная к деревьям, игравшая среди них детвора считает зарослями джунглей — чудом, нисколько не думая о том, что чудом тут было совсем другое: парк разбит в кратере угасшего вулкана. Но что поделаешь, деревья здесь — экзотика, чудо, вулкан — быт...

Высокий, загорелый голубоглазый скандинав Йоунас Аурнассон стоял в дверях квартиры.

Восемь месяцев в году Йоунас — школьный учитель, четыре летних месяца — рыбак. Уходит на лов на сейнере, принадлежащем муниципалитету Хабнафьордура.

— Если впиталась в кровь морская соль, то иначе нельзя! Я с юности был рыбаком и без моря зачах бы. Эта работа — лучший отдых от зимы, от школы, от письменного стола. Да к тому же на одно учительское жалованье, с такой большой семьей, без рыбацкого заработка не просуществоешь... И наконец, я — среди своих ге-

роев. Нужно знать, о чем они думают, слышать, как они говорят!

Аурнассону принадлежит три сборника талантливых рассказов. Книга «Люди и море» сделала его имя популярным в стране.

В школе он преподает исландский язык и литературу, датский язык и английский. Во время войны, юношей, Аурнассон учился в Институте журналистики в Миннеаполисе, изъездил США. Но вопреки ожиданиям людей, пригласивших его учиться там, вернулся на родину не пропагандистом, а яростным противником американского образа жизни и, главное, — образа мыслей...

— Нас, исландцев, мало, — говорит Аурнассон. — Мы никогда не имели своей армии. А сейчас в моей стране несколько тысяч вооруженных до зубов иностранных солдат. Их куда больше, чем наших молодых людей того же возраста! И кое-кто променял благородный труд рыбака, труд строителя на доллары, на жалованье обслуживающего американцев персонала! Разве можно это терпеть!

Аурнассон с группой единомышленников решил организовать поход от базы в Кеблавике к столице — марш в пятьдесят километров — с требованием: ликвидировать американскую базу.

— Как над нами смеялись! — вспоминает он. — Говорили, что ничего не получится. Но мы решили — пусть придет хоть двадцать, хоть тридцать человек — надо начать. И 19 июня 1960 года в Кеблавике к месту сбора у ворот американской военной базы прибыло двести человек! Это для нас не мало! Обращение к народу прочитал скальд Эйнар Брайи. Затем начался марш. Рано утром. Шли целый день. Посредине пути хлынул дождь. Потом духи страны, — улыбнулся Аурнассон, — вняли нашей просьбе — и подул попутный ветер в спину. Он поддерживал нас и подгонял. Мы думали, что последние десять километров на марше будут самыми трудными, а на самом деле они оказались самыми легкими, ведь стало очевидно, что идея наша удалась, — с каждым часом нас становилось больше, примыкали новые люди. В одном ряду вместе шли бабушка, дочка и внучка. Когда подходили к Рейкьявику, национальный флаг Исландии взял на плечо самый старый из участников марша — Сигурдур Гуднассон, бывший председатель «Дагсбруна», — ему семьдесят три года, но он прошел пешком весь путь! В Рейкьявике он вошел первым, а справа и слева от него шагали как оруженосцы десятилетние мальчики.

В Рейкьявике на митинг пришли не двадцать, не двести, а несколько тысяч человек. Это был такой успех, на который даже самые горячие головы не рассчитывали.

— И тогда мы, — Йоунас Аурнассон называет имена известнейших деятелей культуры, — разъехались по всей Исландии, проводили в местах митинги, создавали в каждом городке и поселке опорные группы.

В то лето Йоунас рыбачил меньше, чем обычно. Но если десятого сентября в ясный осенний день на Тингведдире собрались триста пятьдесят делегатов со всей страны и на Скале Закона основали Союз борьбы с оккупацией,— в этом заслуга и школьного учителя из Хабнафьордура.

В 1961 году для участия в Кевлавикском марше на сборный пункт пришло уже не двести, а четыреста человек, и закончился марш в Рейкьявике десятитысячным митингом.

— Вы улыбаетесь? Вам кажется — как мало? Вы были на митинге в Трафальгарсквере, куда после Олдермастонского марша пришло сто тысяч человек! Но ведь для нас десять тысяч — все равно, что миллион для Лондона. Наше движение уже настолько сильно, что мы собираемся издавать свой печатный орган! За нами народ! И скоро это станет ясно каждому.

Лесная Исландия

В Исландии лесов, как мы их себе представляем, нет. То, что здесь называют лесом, обычно извращенные, скрюченные ветрами низкорослые березки, рябинки, ивы, вершины которых не доходят до пояса всаднику (хотя исландская лошадка тоже низкоросла), больше напоминающие засеки. А то и вовсе это стелющиеся березки.

И хотя вот такие леса занимают, как говорят исландцы, одну десятую часть всей площади острова, понимаешь, почему норвежцы говорят, что в Исландии много леса, но нет деревьев.

Грибы, именуемые у нас подберезовиками, здесь могут называться и надберезовиками. Огромные оранжевые шапки их поднимаются высоко над стелющейся березкой. Ведь здесь никто грибы не собирает, считая их несъедобными.

В Эгильстадир, находящийся на востоке страны, я прилетел из Рейкьявика на самолете, и меня повезли прямо в Халломстадур.

В Халломстадурском государственном лесном заповеднике, куда мы пришли вместе с его директором, ученым лесником Сигурдуром Блонделем, круглолицым, румяным и полным молодым человеком, — шестьсот пятьдесят гектаров такого дико-го, реликтового, извращенного леса и семьдесят гектаров новых культурных посадок.

— В глубокой древности Исландия не была такой безлесной,— говорит Блондель.— Древние леса были погребены подо льдами. А остальные истреблены людьми и овцами. Но я убежден, что скоро и в нашей стране настоящий лес будет не в диковинку...

Здесь, в заповеднике, удалось разбить господствовавшее раньше убеждение, что хвойные деревья в Исландии не растут и расти не могут. Блондель повел нас мимо березючка и мимо зеленеющих в рядках древесных всходов в то место, которое

«даже русский назовет лесом». И действительно, минут через десять мы оказались в настоящем лиственничном лесу — некоторые деревья достигали десяти метров в высоту. Это первый и пока единственный хвойный лес в Исландии. Он занимает всего лишь полгектара. Сибирская лиственница прижилась на исландской земле. Сейчас ее семенами засеяно уже двадцать пять гектаров.

— Но вот поди достань семена,— говорит Блондель.— Те, из которых вырос этот лес, мы получили случайно — в 1938 году. Скоро они заплодоносят, и тогда все будет в порядке. А до тех пор?! Каждое семечко у нас на счету. Спасибо профессору Нестерову — сделал нам чудесный подарок, прислав в этом году полкилограмма семян сибирской лиственницы. Мы с ним познакомились еще в 1953 году, когда мне посчастливилось с норвежской студенческой делегацией побывать в Москве, в Тимирязевской академии.

Да, это был настоящий лес.

— Исландия ввозит ежегодно по полкубометра леса на душу населения и затрачивает на этот импорт около шестидесяти миллионов крон. Естественно, что экономисты поддерживают нас. Но есть и противодействие. Вы слышали об обществе противников лесонасаждений?

Очевидно, на моем лице было написано такое удивление, что Блондель рассмеялся и затем уже совершенно серьезно объяснил, в чем дело.

— Воздух Исландии исключительно прозрачен. В безоблачные дни здесь можно видеть и горы, и долины на десятки и десятки километров. При закате и при восходе солнца это зрелище незабываемо красиво, грандиозно. И вот некоторые исландцы считают, что лесные испарения сделают воздух менее прозрачным, и красота исландского пейзажа будет нарушена. Но они не правы — лес войдет в пейзаж как новый прекрасный элемент. Испарения вовсе не так уж велики, как это кажется перепуганным любителям «чистой» исландской природы. Так же многие боялись расставаться с домами, сложенными из торфа!.. Люди часто боятся всего нового, забывая, что новое новому рознь.

Так разговор наш от лесоводческих тем перешел на темы «общечеловеческие». Здесь же, в тенистом лесу, где Магнус подхватил насморк, я узнал, что Сигурдур Блондель произнес на Тингведдире, на Скале Закона, при создании Союза борьбы против оккупации горячую речь и был одним из его организаторов.

— А как же иначе можем думать мы — те, кто сажает леса! — сказал он мне.— Люди должны жить, леса должны расти!.. — И, помолчав, добавил: — Наши убеждения мы не меняем, как «Моргунбладит»...

И Блондель рассказал, как «Моргунбладит» резко критиковала население полуострова Рейкьянес за то, что оно временно не убрало овец, которые могут погубить молодые лесопосадки на полу-

острове. Прошло три года, и эта же самая газета без возмущения, бесстрастно сообщила, что залпы американских солдат на учении в районе Вогар подожгли украинившиеся молодые деревья, причем огонь охватил растения, и потушить его было невозможно.

От Блонделя я уезжал вместе с тридцатичетырехлетним священником Рагнвальдуром Финнбогасоном.

До его фермы было, казалось, рукой подать. Но пока «газ-69» мчал нас по прибрежной тряской дороге, мы успели о многом переговорить.

— Как в древнем Риме Катон каждую свою речь кончал словами: «Карфаген должен быть разрушен»,— сказал Магнус,— так отец Рагнвальдур, о чем бы ни была его проповедь, говорит, что американские базы должны убраться из Исландии. Он не устает повторять это и в воскресной проповеди, и на рождество, и на пасху, и на крестинах, и при венчании. Всегда и везде!

— Не преувеличивай! — улыбнулся священник.— На похоронах я об этом не говорю...

И хотя мы с Рагнвальдуром Финнбогасоном не сошлись в том, что религия дает в горестях и сомнениях подлинное утешение страждущему, общий язык мы нашли в том, что и верующие и атеисты должны спокойно жить, думать, любить, трудиться «для рта и для души» — поэтому необходимо, чтобы мир не был низвергнут в атомную бездну.

— Самая большая опасность угрожает нам, исландцам. Нас ведь так мало! Всего сто семьдесят тысяч человек. Наше спасение в том, чтобы уничтожить здесь американскую военную базу! — еще раз повторил исландский Катон.

Вот почему он принял участие в Кеблавикском походе, вот почему он оказался и на Скале Закона в числе организаторов Союза борьбы с американской оккупацией.

И сейчас мы застали его в приходе только потому, что предупредили по телефону о своем приезде. Он все время разъезжает по восточному побережью, вместе с друзьями собирает подписи под требованием ликвидировать американскую базу.

Мы подъезжаем к церкви. В доме пастора никого нет. В кабинете рядом со столом пустая колыбелька. И качнув ее, Рагнвальдур Финнбогасон смущенно улыбается:

— Ждем нового человека.

Теща его, жена и дочурка как раз и были теми «тремя поколениями», которые вышагали весь Кеблавикский марш.

* *

*

Союз борьбы с оккупацией снимает две комнатки на втором этаже старого деревянного дома в Рейкьявике. На дверях домика даже нет записки о том, что здесь помещается Союз борьбы...

— А для чего? И так все знают!

И народ и почтальоны! Никто не перепутает! — отвечают мне молодые парни, испытывающие в переулочке новенький автомобиль «фольксваген», главный выигрыш лотереи Союза,— он только что прибыл из-за границы.

— Пусть ФРГ тоже внесет свой вклад в борьбу с американскими военными базами,— смеясь, говорит мне один из активистов Союза, кивая на поблескивающий лаком «фольксваген».

В комнатах Союза на втором этажелюдно. Несколько человек за столом раскладывают по конвертам лотерейные билеты. Среди них я вижу и скальда Эйнара Брайи.

— Когда сбор подписей будет завершен,— говорит Брайи,— наш Союз предъявит петицию всем партиям альтинга. Мы потребуем всенародного референдума. Иностранцы войска должны покинуть Исландию. Нейтралитет должен быть восстановлен... Этого требует народ.

Из окна комнаты виден соседний двор, где с автомобиля сгружают огромные рулоны газетной бумаги для «Моргунбладит» — редакция газеты консерваторов помещается рядом.

Но то, что волю народа выражает Союз, занимающий две маленьких комнаты, а не эта, расположенная в огромном доме, двадцатистраничная ежедневная газета, недавно подтвердил телеграф. Он принес весть, что уже в семи сислах (округах), где сбор подписей закончен, требование ликвидировать американские военные базы подписало абсолютное большинство избирателей. В остальных сислах сбор еще продолжается, но воля народа уже ясна.

«Тебя побилa женщина»

Из кооперативной хлебопекарни в Ху-савике вкусно пахло теплым хлебом. Внизу, у самого берега фиорда, разместились корпуса кооперативного рыбозавода. Отсюда, сверху, было видно, как фиорд широко раскрывал свои крылья навстречу океану... И в их распахе на горизонте что-то темнело — не то корабль, не то скала.

— Видишь этот остров? — спросил наш водитель Лаурус.— Остров Гримсей.

Его название у исландцев вызывает исторические воспоминания.

Когда норвежский король Улаф Святой (он же Улаф Толстый), вернувшись из Киева (где он долгие годы жил в эмиграции), захотел присоединить к своему королевству Исландию, он начал с притязаний на этот словно тающий за горизонтом небольшой остров.

О, у него были в Исландии знатные и богатые единомышленники, такие, как хавдинг Гудмунд Могучий, мечтавший о власти, славе и дружбе короля.

И тогда на тинге, на Скале Закона, встал мудрый муж Эйнар из Тве-ры и произнес знаменитую речь, в которой дал отпор посягательствам Улафа Толстого на

исландскую территорию. Эту речь знает каждый исландский школьник.

— Если жители нашей страны хотят сохранить свободу, которой они пользуются с тех пор, как заселена Исландия, то должно сделать так, чтобы король не смог получить здесь владения,— убеждал своих сограждан Эйнар из Тверы.

И тинг внял мудрому совету.

— Это принесло Исландии счастье на несколько веков,— сказал мне другой Эйнар — Эйнар Ольгейрссон...

Какое же все это имеет отношение к современности? 1024 год,— недоуменно разведет руками редактор.

Да самое прямое... Не раз я слышал здесь, как Эйнара Ольгейрссона — его неустанную борьбу за независимость Исландии, его речи в альтинге против американских баз, против вступления Исландии в НАТО — сравнивают с речами Эйнара из Тверы.

Заседание альтинга, на котором было дано согласие войти в этот военный блок, началось необычно. Председатель предложил ограничить прения тремя часами, ссылаясь на параграф парламентской процедуры, который гласил: «Если дебаты затягиваются сверх обычного...»

Некоторые депутаты, протестуя, заявили, что дебаты не могли «затянуться сверх обычного», поскольку они еще не начинались...

Свое выступление Эйнар Ольгейрссон начал ссылкой на нарушение правил процедуры альтинга.

— Нечего тут разглагольствовать! — воскликнул министр Сигурдур Кристианссон.

— Нечего мне указывать,— ответил Эйнар.

Но премьер-министр Стефаунссон перебил его...

— Замолчи! — осадил его Ольгейрссон.— Пять лет назад народ собрался у Скалы Закона, чтобы воссоздать республику. А что происходит сейчас в альтинге? С помощью силы правительство толкает народ на путь унижения. В истории Исландии начинается такой же период, какой переживала она, когда агенты иностранного государства силой сломили народ.

— Не угодно ли председателю позволить депутатам провести голосование? — восклицает премьер-министр.

— Тебе еще не дали слова,— отвечает Эйнар.

— Голосование! — кричит председатель.

Но Эйнар продолжает:

— Да, начинается новый период унижения, поскольку председатель альтинга принуждают нарушать правила процедуры альтинга. Я прошу председателя сохранять спокойствие и заставить замолчать премьер-министра, чтобы я смог закончить свое заявление.

— Это слишком длинное заявление,— говорит председатель.

— Я распоряжаюсь своим заявлением сам,— продолжает Ольгейрссон.

Речи транслируются по радио, и, может быть, поэтому министры все-таки замолкают. А может быть потому, что знают — хотя за стенами альтинга большинство народа против предложения о вступлении в НАТО,— в зале заседания большинство депутатов будет голосовать «как следует».

Так и вышло!

За предложение Единой социалистической партии провести по этому вопросу референдум голосовало шестнадцать депутатов из пятидесяти. Остальные предпочли утвердить предложение о вступлении в НАТО, не спрашивая воли народа. И мне думалось, что когда-нибудь, перечитывая стенограммы этого траурного для Исландии заседания, потомки увидят, что речи рабочих лидеров Лудвига Йоусепссона, Бриньольфура Бьярнсона, Эйнара Ольгейрссона действительно схожи с речами Эйнара из Тверы, но увы, пригорюнятся они — насколько мужи древнего тинга были свободолюбивее, неподкупнее и мудрее тех, кто составил большинство в нынешнем альтинге.

Так, дорогой товарищ читатель, мы снова из дебрей истории выбрались на плато современности. И поэтому ты простишь, что, рассказывая о том роковом дне, когда Исландия вошла в НАТО, я опять вынужден буду отступить в век саг.

Гисли объявлен был вне закона. Его преследовал знатный и богатый человек — Эйольфур Серый,— так повествует сага о Гисли, но Ауд, дочь Вестейна, женщина, любившая Гисли, не покинула мужа. Двадцать лет она скрывала его. К ней-то и пришел Эйольфур Серый, веривший в силу золота, считавший, что все можно купить. Он предложил Ауд выдать Гисли. Она с негодованием бросила кошелек ему в лицо и отпустила вескую пощечину.

— Неужели ты и в самом деле думал, что я выдам тебе, злодею, своего мужа? Вот тебе, и пусть на тебя падут стыд и позор! Помни, жалкий человек, что тебя побил женщина!.. — так говорила Ауд, дочь Вестейна.

В тот злополучный день, когда премьер-министр после того, как альтинг принял предложение вступить в НАТО, выходил из здания, к нему подошла семнадцатилетняя девушка, ученица выпускного класса гимназии, и все окружающие услышали звук оплеухи. Щека премьер-министра зарделась.

— Помни, жалкий человек, что тебя побил женщина! — повторила девушка слова Ауд.

Она была арестована...

— На следующем заседании альтинга,— рассказывал мне Эйнар Ольгейрссон,— я встал и задал вопрос: правда ли, что девочка, которая погладила по щеке премьер-министра, арестована и находится под замком... На другой день ее освободили.

Так из дальнего прошлого тянулись нити к настоящему — от речи Эйнара из Тверы к речи Эйнара Ольгейрссона.

РОБОТ

Мне снился робот несколько ночей.
Он, словно доктор, подходил к постели.
Два острия рентгеновских очей,
Как два ножа, в моем копались теле.

Он в медицине сведущ был, как бог.
Вся мудрость врачевания земная
Светилась в нем, но он понять не мог,
О чем кричит душа моя больная.

Он был в недоумении всю ночь,
И я сказал, приподнимая веки:
«О эскулап железный, мне помочь
Нельзя. Та женщина ушла навеки».

В нем щелкнули упрямые реле.
Надменный, он строчил напропалую

Ужасные рецепты, в том числе:
«Та женщина ушла — возьми другую».

И, мстительными чувствами объят,
Я закричал с тоской и черной злобой:
«Чудовище! Бездушный автомат!
Совет прекрасен! На, возьми, попробуй!»

И душу я свою в него вложил.
Вложил свои и думы, и страдания,
И в страшном напряжении всех жил
Он скорчился, как скорби изваянье.

И не было на свете никого
Несчастнее ночного автомата.
Я, содрогнувшись, пожалел его
И вскрикнул, и проснулся виновато.

РЕБЕНОК УЧИТ ЧЕЛОВЕЧЬЮ РЕЧЬ

Ребенок учит человеческую речь,
Играет словом, строит обороты.
Его ничем нельзя уже отвлечь
От этой созидательной работы.

Он морщит лоб, он крутит головой
И, дав названья тысяче предметов,
Несет в очах тот пламень вековой,
Который жжет ученых и поэтов.

Вот, протрубя в свой жестяной рожок
Над царством мелких тварей и растений,

Он по траве шагает, как божок,
Вершитель судеб, всемогущий гений.

Над ним большая туча, встав ребром,
Исторгла звук, в котором «р» основа.
И с губ его срывается, как гром,
Тяжелое таинственное слово.

И гром гремит! И он кричит опять:
«Дождь! Дождь!» И дождь волшебный
льется.

А между тем рассерженная мать,
Найдя его, и плачет, и смеется.

НАРОДНЫЙ ПОЭТ

(К 70-летию со дня рождения
Владимира Маяковского)

Владимир Маяковский принадлежит, конечно, всем нам, так же как Пушкин, Лермонтов, Некрасов... И о нем с полным правом можно говорить: «Наш Маяковский». Но миллионы людей, признавая его «нашим», «общим», могут от всей души сказать: «Мой Маяковский». Одно нисколько не противоречит другому, а лишь подчеркивает, насколько «общее» стало близким и дорогим каждому.

«...Мне было только пятнадцать лет, но уже тогда Маяковский был самым любимым и близким мне поэтом,— пишет девушка, которая назвала Маяковского «своим».— Можно точно сказать, что стихи Маяковского сформировали мой характер, научили переносить все трудности, научили отношению к людям. Все годы войны, с 9 ноября 1941 по сентябрь 1945 года, я была в армии. Почти три года находилась на передовой: работала комсоргом батальона, комсоргом полка. Маяковский помог в моей сложной работе с людьми, помог вынести много тяжелого и страшного. Я знаю, как относились к его стихам наши люди, как любили и берегли его».

И одновременно с этим:

«Если бы вы знали, как больно становится, когда слышишь пустенькие, пошлые, а порой и злые суждения о нем. Вот артисты, выступающие с концертами. Спрашиваем: «А стихи Маяковского читать будете?» Морщатся. «Знаете ли, Маяковский не принимается народом...». Начинаем «доругиваться». Узнаем, что они Маяковского не знают. Инженер: «Ну что бы он сейчас делал, ваш Маяковский, рекламы писал для Госстраха?» Снова ругаемся... И все-таки это не страшно, потому что с каждым годом Маяковский завоевывает все больше и больше сердец...»

Да, это несомненно так. И вместе с тем приходится еще преодолевать известную предубежденность, разъяснять, убеждать, бороться с разного рода ошибочными

взглядами, с открытыми и скрытыми попытками приуменьшить значение Маяковского для поэзии и для самой жизни.

...В памяти оживают 1922, 1923, 1924 годы. Город Елисаветград, ныне Кировоград, на юге Украины. Мы были тогда подростками-комсомольцами. Днем работали на заводе «Красная звезда» (бывший Эльворти), вечерами учились. По ночам несли службу в отряде ЧОНа. Часто устраивались тогда демонстрации. Мы шагали в красных косоворотках, с трудом удерживая винтовки с примкнутыми штыками, и будоражили улицы родного города боевыми песнями.

Скандируя, читали стихи Маяковского:

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место в клаузе!
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!..

И «Марш комсомольца»:

...Пусть их скулит, дяде! —
Наши ряды юны.
Мы
наверно войдем
в самый полдень Коммуны.

Далеко не все слова поэта были нам тогда понятны. Но юными своими сердцами мы чувствовали их близость. В энергичных и дерзких строчках Маяковского пульсировала могучая сила нового мира, отвергающего старые законы и утверждающего свои, новые, революционные. Нас окрыляла непоколебимая вера поэта в торжество нашего дела, в то, что вовеки «коммуне не быть покоренной».

В комсомольском клубе шли тогда бурные диспуты. Спорили о разном: о морали, о религии, об искусстве... Спорили, разумеется, и о Маяковском. У него всюду были не только друзья, но и недруги. Были они и в нашем городе. Нас пугали тем, что Маяковский, мол, футурист, анархист, нигилист, формалист, индивидуалист... Как его только не крестили!

Мы не сдавались. Каждый из моих друзей жил тогда мыслью, что вот в горячие часы этих споров появится Маяковский и скажет: «Молодцы, ребята! Здорово защищаете меня!» Маяковский поистине был властителем наших дум и чувств.

Читатель, надеюсь, простит меня за это лирическое отступление. Я не стыжусь признаться, что с юных лет был «апологетом» Маяковского. И, каюсь, делил людей на хороших и плохих по тому, как они относились к моему любимому — нет, пожалуй, не то слово — к обожаемому мною поэту. Позже я нашел объяснение этому чувству у Белинского: «Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком... И потому нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всех других поэтов, нельзя не утратить своей способности понимать произведения других поэтов и восхищаться ими».

Напрасно иные думают, что величие Маяковского будто бы связано с той самой «известной формулой известной резолюции», которой удостоился Маяковский в период культа личности. Поэт не уждался ни в чьей высокой протекции. Что бы изменилось, если бы не было этой формулы? Ничего бы не изменилось! Величие Маяковского было очевидно задолго до того, как последовало официальное признание. Его поэзия — ценность объективная.

Что же мешало и мешает разглядеть Маяковского во весь рост? Догматизм и его пережитки.

Нет нужды повторять бесспорное. Спорное же требует внимания к себе, пояснения.

Совсем недавно, с трибуны IV Всесоюзного совещания молодых писателей, было, например, заявлено, что Маяковский широким шагом перешагнул через русский модернизм «на нашу сторону баррикады». Создается впечатление, что до того он находился по другую сторону баррикады.



Так ли это? Формальная логика довольствуется формальными построениями: футуризм — это декаданс. Маяковский в ранней юности был с футуристами — значит, он был декадентом. Остается только определить меру его декаданса. Вот откуда и образ баррикады. Но ведь Маяковский и в 1927 году озорно писал: «Тряхнем и мы футурстаринной». А еще позже — в октябре 1929 года — он заявил: «...мы нисколько не отказываемся от всей нашей прошлой работы и как футуристов...»

Диалектическая логика, в отличие от формальной, не признает абстрактных истин. Истина конкретна, говорит она, и требует рассматривать каждое явление исторически и в связи с другими явлениями.

«Русского футуризма нет, — заметил не без основания еще в 1915 году А. М. Горький. — Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский».

В полном соответствии с этим Маяковский писал в 1922 году:

«Футуризма как единого точно формулированного течения в России до Октябрьской революции не существовало».

И еще одно немаловажное признание, сделанное поэтом в 1929 году. Бросая

взгляд в прошлое, Маяковский считал необходимым сказать о «временной» и «кажущейся солидарности», которая было поставила его в один ряд с тогдашними «соратниками».

«Пользуясь отдаленным сравнением,— писал он,— так якобы солидарно были по самодержавию разные классы, чтоб, победив, немедленно продолжить основную борьбу друг с другом».

Стоит вдуматься в это объяснение, в эти исторические параллели: «якобы солидарно», «разные классы». Маяковский ни в какой степени не объединял себя со своими давними спутниками, а подчеркивал принципиальное, непримиримое различие, которое существовало. Он говорил о противоречиях, предполагающих не мир, а «основную борьбу друг с другом».

Заслуживает внимания и весьма важное свидетельство матери поэта — Александры Алексеевны Маяковской, приведенное в ее книге «Детство и юность Владимира Маяковского». Она рассказывает о дореволюционных вечерах Маяковского. Буржуазная публика возмущалась его стихами. Демократическая же молодежь, наоборот, сочувствовала тому, что он читал, слышала в его произведениях призывы к разрушению старого общества.

На мой вопрос, почему он пишет так, что не все понятно, Володя ответил:

— Если я буду писать все ясно, то мне в Москве не жить, а где-нибудь в сибирской ссылке, в Туруханске. За мной следят, и я же не могу сказать открыто: «Долой самодержавие!»

Не ясно ли после этого, на какой стороне баррикад находился «футурист» Маяковский?!

Маяковский шел в поэзию не из футуризма. Еще в то время, когда он сидел на школьной скамье в Кутаиси и тайком читал революционные листовки в стихах, привезенные из Москвы его старшей сестрой Людмилой Владимировной, стихи и революция «объединились в его голове». А несколько позже, после того как Маяковский в третий раз был арестован и просидел одиннадцать месяцев в бутырской тюрьме, он сказал товарищу по партии: «Хочу делать социалистическое искусство».

Когда Маяковский организовал выставку, посвященную двадцатилетию творческой деятельности? В 1929 году. Значит, он вел свою творческую биографию с 1909 года, с тех самых одиннадцати бутырских месяцев, о которых только что шла речь, а не с 1912 года, когда опубликовал стихотворение «Ночь» в сборнике футуристов.

Некоторые исследователи представляют эволюцию Маяковского как движение от футуризма к социалистическому реализму, исключая при этом движение самого социалистического реализма и забывая, что с помощью этого творческого метода создаются не стандартные произведения, а разные.

Лет десять с лишним тому назад вышла, например, книга В. Бакинського «Мая-

ковский в борьбе за социалистический реализм», в которой все произведения поэта 1918—1923 годов были отнесены лишь к периоду «формирования» в его творчестве социалистического реализма, к периоду так называемого первоначального накопления, позволившему затем создать поэму «Владимир Ильич Ленин» — произведение социалистического реализма.

О книге В. Бакинського можно было бы сейчас и не вспоминать, если бы ее концепция стала далеким прошлым. Нет! Она в разных видах дает о себе знать и сегодня. И автор ее, конечно, не один В. Бакинський.

Мы помним, например, как Ан. Тарасенков браковал такие «частности» поэтической речи Маяковского, как «я планов наших люблю громадь», «...в коммунальную стройку слова-кирпичи». В. Бакинський же объявил «порочными футуристическими приемами» такие образы Маяковского, как «дряблая луна», «выжженное небо», «догнивающие в ливнях огни» и т. д. Чтобы сделать свою аргументацию убедительной, он сопроводил «дряблую луну» примечанием: «Вспомним название сборника футуристов «Дохлая луна».

Спрашивается: почему мы должны вспоминать «Дохлая луна» футуристов? Что общего между «дряблой» и «дохлой»? Только то, что слова начинаются на «д». Критика удивил эпитет «дряблая». А что он думает по поводу пушкинской «глупой луны»? Чистейший футуризм — не правда ли? Другое дело: «Луна в воздушной синеве» или «...луна сияла томным светом».

На каком основании бракуется «выжженное небо»? Что порочного в этом свежем, емком и сильном образе?

По В. Бакинському выходило, что социалистический реализм не приемлет «дряблой луны» и «выжженного неба». Примитивное представление о социалистическом реализме! Слова не делятся на плохие и хорошие: они живут в общении, в ряду с другими и зависимы друг от друга. Важно, на каком месте стоит слово, что оно в данном случае означает, какие вызывает ассоциации. Небо может быть и «веселым», и «пасмурным», и «выжженным». Разве не «выжженное небо» над Хиросимой и Нагасаки?! Разве его не жгли над Кореей и Вьетнамом?! И луна может быть и «молодой», и «старой», и «глупой», и «дряблой». Поэт вправе назвать ее «небесной лампадой» и одушевить: «Луна... в свои мечты погружена».

Социалистический реализм — враг художественного шаблона, стандарта.

В. Бакинському пришелся не по душе образ «догнивающие в ливнях огни». Он нашел и его футуристическим. Почему? Разве за словами Маяковского (взятymi из стихотворения «От усталости». 1913 г.) не встает сырой и серый, злобный и гниющий капиталистический город?

Строка «...мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней» легко воплощается в целую картину. Такой образ может найти свое место в сегодняшнем стихотворе-

ниями о сегодняшнем Лондоне или Вашингтоне. Вряд ли кому придет на ум наклеивать на него ярлычок футуризма.

Доходило до нелепости.

В. Бакинский рассматривал стихотворение Маяковского «Революция. Поэтохроника». Он нашел, что в этом стихотворении есть места «удивительно созвучные» ленинским мыслям, призывам, что слово «социализм» употребляется поэтом в большевистском, ленинском понимании. Все это правда. Но она разрушает легенду о «футуризме» Маяковского. Что же делать? И В. Бакинский нашел «выход». Он писал: «Нельзя сказать, что «Поэтохроника» отвечает ленинским выступлениям полностью и целиком». Далее приводится выдержка из речи В. И. Ленина на митинге в Измайловском полку и делается более чем странное, на мой взгляд, заключение: «Такой предельно четкой характеристики войны Маяковский в «Поэтохронике» не дал. В стихотворении есть и ненависть к буржуазии, и негодование против войны.

Чья злорада надвое землю сломала?
Кто вздыбил дым над заревом боем? —

спрашивает поэт.

Однако ответа на этот прямой, суровый вопрос Маяковский не дал... По-видимому, в тот момент Маяковский не сознавал ясно, что это надо сказать, что одного протеста мало».

Маяковский в «Поэтохронике» дал ответ на прямой и суровый вопрос. И не он повинен в том, что критик не сумел прочесть стихотворение, что его смутила вопросительная интонация. Ответ содержится в тех самых строках, которые процитировал В. Бакинский. Маяковский прибегнул к такой форме поэтического выражения вовсе не потому, что ему был еще не ясен империалистический характер войны. Он не только сам ясно представлял себе смысл войны, но и не сомневался в том, что каждый читатель его стихотворения знает, чья злорада поссорила людей, кто бросил народы в огонь войны.

Оговорками относительно того, что «Поэтохроника» не отвечала все же «целиком и полностью» ленинским выступлениям, В. Бакинский хотел, конечно, отдалить время наступления идейно-художественной зрелости Маяковского. Находились люди, которые шли дальше В. Бакинського и утверждали, что Маяковский в самом конце своей жизни «может быть» еще только начинал говорить «во весь голос», то есть, что его произведения могут быть еще только начинали становиться произведениями социалистического реализма. Вот откуда и берется «эпоха футуризма».

А ведь социалистический реализм не есть нечто схожее с мерой длины, веса, объема, не есть что-то такое, к чему нужно лишь приблизиться и взять. Это то, что в разное время и по-разному творится: «Мать» Горького и «Тихий Дон» Шолохова, «Левый марш» Маяковского и «Задалью — даль» Твардовского... Произведе-

ниями социалистического реализма являются такие разные вещи Маяковского, как «Революция. Поэтохроника» и «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и «Сволочи», «Моя речь на Генуэзской конференции» и «Прозаседавшиеся», «Юбилейное» и «Товарищу Нетте...», поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!..»

Я не случайно так подробно остановился на методе аргументации В. Бакинського. Он характерен и поучителен. И он имеет, увы, своих последователей.

То, как толковал В. Бакинский стихотворение Маяковского «Революция. Поэтохроника», повторил куда позже Г. Черемин. Я имею в виду его выступления в «Известиях Академии наук СССР» (Отделение литературы и языка) в 1958 году (т. XVII, вып. 6) и в 1960 году (т. XIX, вып. 1). А вот и его книжка «Ранний Маяковский», изданная в 1962 году (издательство Академии наук СССР). В ней утверждается, что строки Маяковского —

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова —

относятся только к периоду февральской буржуазно-демократической революции. Маяковский будто бы искренне верил, что «именно Февраль открыл новую, счастливую эру в жизни России и всего человечества».

Г. Черемин вслед за В. Бакинским весьма упрощенно понимает поэтический образ «сегодня». Он видит в нем лишь календарное сегодня, связанное только с февралем. Но поэтический образ более емко. Он относится ко всему периоду революции, который начался в феврале 1917 года и, развиваясь, завершился в октябре. Именно в этом смысл строк Маяковского: «Граждане! Это первый день рабочего потока. Первый, а не второй, десятый, последний. «Новые несем земле скрижали с нашего серого Синая». Несем, а не принесли. «...Сбывается былью социалистов великая ересь!» «Сбывается», а не сбывлась. Всюду имеется в виду процесс, продолжение.

Г. Черемин отрицает, что Маяковский воспринял февральскую революцию как начало великой борьбы за освобождение человечества, как первый этап, и пишет: «Маяковскому казалось, что наступил момент осуществления его заветных социалистических чаяний...»

Читаешь и дивишься! Неужели лозунг «Да здравствует социализм!» можно было провозглашать только после Великой Октябрьской революции?! Откуда это взял уважаемый Г. Черемин?

В. И. Ленин писал в апреле 1917 года:

«Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели еще миллионов и миллионов людей».

Маяковский верил в победу социализма. Приближалась «его революция».

И именно потому он восторженно писал: «...днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь!»

Чего требует от Маяковского Г. Черемин? Того же, что и В. Бакинский. Точных политических формулировок. Но ведь мы имеем дело с поэтом. Допустимо ли накладывать на поэтический образ политические формулировки и искать их тождества?

Маяковский — поэтический знаменосец Октября. Он стал строителем и защитником того невиданно нового, что родилось в нашей стране и громкогласно заявило о себе на весь мир.

Я с теми,
кто вышел
 строить
 и мечь
в сплошной
 лихорадке
 буден.
Я радуюсь
 маршу,
 которым идем
в работу
и в сраженья.

Маяковский говорил от своего имени. У нас же широк в обиходе термин «лирический герой»: автор, мол, одно, а «лирический герой» — другое. Но в поэзии Маяковского, как мы знаем, нет никакого другого «лирического героя», кроме самого Маяковского. И в этом тоже, как я убежден, ее сила. «Моя революция» — это сказал не «лирический герой», а он сам.

Тем не менее возникла проблема «лирического героя» в творчестве Маяковского. Стоит на ней остановиться. Она представляет не только теоретический интерес.

Белинский писал в своей «Эстетике» о лирической поэзии:

«...Все общее, все субстанциональное, всякая идея, всякая мысль... могут составить содержание лирического произведения, но при условии, однако ж, чтоб общее было претворено в кровное достояние субъекта, входило в его ощущение, было связано не с какою-либо одною его стороною, но со всею целостию его существа. Все, что занимает, волнует, радует, печалит, услаждает, мучит, успокаивает, тревожит, словом, все, что составляет содержание духовной жизни субъекта, все, что входит в него, возникает в нем,— все это приемлется лирикою как законное ее достояние».

Великий критик нигде не употреблял термина «лирический герой». В творчестве Кольцова, Пушкина, Лермонтова он видел самих поэтов, их натуру. Белинский писал: «поэт говорит», а не «лирический герой говорит». Вот, например, его рассуждения о «Мцыри»: «Уже из этих слов вы видите, что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполнинская натура у этого мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, веет его собственным духом, поражает его собственной мощью».

Так понимал Белинский Лермонтова и мцыри.

А вот в 1961 году вышла книга З. Паперного «Поэтический образ у Маяковского». В ней много ценных наблюдений и суждений. Но как же автор отвечает на интересующий нас вопрос? Он склонен отделить «лирического героя» Маяковского от самого Маяковского. Потому-то З. Паперный и назвал отдельные главы своей книги: «Лирический герой предреволюционных лет», «Развитие лирического героя в советские годы». Он пишет: «Было бы

А. И. Ревякин. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского. М. «Московский рабочий». 1962. 543 стр. Цена 1 руб. 34 коп.



Ни один из русских писателей не был так тесно и продолжительно связан с Москвой, как А. Н. Островский, бывший, по его собственным словам, «кореным жителем Москвы». В Москве он прожил всю свою жизнь, лишь изредка выезжая за ее пределы. Но книги о жизни драматурга в Москве и об отражении московских впечатлений в его творчестве не существовало. В настоящее время этот пробел восполнен монографией профессора А. И. Ревякина.

А. И. Ревякин воссоздает картину московской

жизни великого русского драматурга А. Н. Островского, его житейских, семейных, художественных и научных связей. Буржуазное литературоведение пыталось представить писателя человеком замкнутым, знакомства которого не выходили за пределы так называемой «молодой редакции» «Москвитянина». В работе профессора Ревякина Островский предстает во всем богатстве и сложности своих общественных и личных отношений как необычайно общительный, наблюдательный и отзывчивый человек, большой знаток

Москвы. Автор прослеживает широкие связи драматурга с литераторами, начинающими писателями, артистами Малого театра, музыкантами-исполнителями, композиторами, скульпторами, художниками, учеными. Эти отношения освещаются и с бытовой и с творческой стороны.

Мы становимся свидетелями борьбы Островского за русский национальный театр, за его освобождение от невежественного театрального начальства, пошлых, низменных вкусов. Во многом дополняется наше представление об Остров-

неверным сводить образ лирического героя к личности автора. Этот образ раскрывается не только там, где автор прямо говорит о себе. Это не поэтический автопортрет только, но образ, который возникает у нас в итоге всего произведения. И дальше: «Обращаясь к Маяковскому, можно сказать, что лирический герой ощущается нами не только в словах вроде: «Я волком бы выгрыз бюрократизм», но, скажем, и в таких строчках:

Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброну.

На этом примере, взятом из «Разговора на Одесском рейде двух десантных судов», можно наглядно убедиться в том, как эмоционально окрашивается и как преломляется картина действительности в лирическом произведении, — воспринимая ее, мы начинаем угадывать черты стоящего за ней образа — лирического героя».

Я прочел это место с недоумением, которое имел уже возможность высказать в одной из своих статей. Продолжу разговор. Какая же разница между «лирическим героем» Маяковского и самим поэтом? Почему их нужно отделять друг от друга, подчеркивать разницу, а не единство?

Белинский утверждал: «Сила гениального таланта основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом. Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека как личности, как природы...» Его талант — это его кровь и его плоть, его дыхание и биение его сердца, это его жизнь, «весь он сам».

Разве не то же самое следует сказать о поэзии Маяковского? Как это понимать, что его «лирический герой» — не только

поэтический автопортрет, но «образ, который возникает в итоге всего произведения»? В итоге может возникнуть и автопортрет. Он тоже образ! Маяковский обращался к потомкам: «Я сам расскажу о времени и о себе». Он не говорил: «Я сам расскажу о времени и о моем «лирическом герое».

Чем руководствуется З. Паперный? Его намерения самые что ни на есть благие. Он полагает, что поэтический автопортрет (субъективное) всегда меньше «лирического героя» (объективное). А раз так, то «свести» образ «лирического героя» к личности автора значит непременно приуменьшить этот образ. Так называемый автопортрет — лишь его частица. Он, по логике З. Паперного, вырисовывается не из всего лирического стихотворения. Иное дело — «лирический герой».

Но Белинский, как мы видели, не ходил духовной разницы между мцыри («лирическим героем») и Лермонтовым. И «Мцыри», заметим, нисколько от этого не проиграл. Белинский не побоялся назвать «Мцыри» произведением субъективным. Да, да, так буквально и сказано: «Это произведение субъективное». И это «субъективное» — то, в чем выражается «автопортрет», — ни в какой мере, конечно, не противоречило «объективному» — тому, что З. Паперный называет «лирическим героем». Почему? А вот почему. «...В созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопределенно предощущали или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слово и что, следовательно, поэт умел только выразить».

ском как организаторе артистического кружка, который был первым русским клубом на широкой демократической основе. Автор книги рассказывает об участии Островского в создании Общества русских драматических писателей — первого объединения русских литераторов.

Совершенно новый материал поднимается в главах «А. Н. Островский в кругу художников», «Островский и ученая Москва». В них констатируются личные и творческие связи драматурга не только с Рамазановым, Федотовым, Боклевским, но и с Перовым, Маковским, Репиным, Микешиним и другими художниками. Существенный интерес представляют обнаруженные исследователем

факты общения драматурга с учеными, собирателями произведений народного творчества — Снегиревым, Бессоновым, Шейном, Якушкиным, историком литературы Тихонравовым, историками Забелиным, Грановским, Костомаровым, физиологом Сеченовым.

А. И. Ревякин вводит в научный оборот многие факты биографии и творчества Островского, заимствуя их из архивов. В книге использованы рукописные источники Пушкинского дома, театрального музея им. А. Бахрушина, частных собраний. А. И. Ревякиным приводятся неизвестные ранее стихи А. Н. Островского, сочиненные к шуточной народной картинке художника Микешина «О том, как мужик Епифан поддался в

обман, и о том, что из этого вышло потом», помещается текст тоста, произнесенного А. Н. Островским в честь А. Г. Рубинштейна и русской оперы, ответ драматурга на тосты в его честь в Докторском клубе и другие неизвестные ранее материалы.

Полнота и точность фактических данных сочетается в монографии с простотой и доступностью изложения. Отличающаяся стройностью композиции, написанная хорошим языком, книга является существенной частью научной биографии Островского. Ее с удовольствием и пользой прочтает любой москвич, каждый, кто интересуется творчеством великого русского драматурга.

Из сказанного отнюдь не следует, что «лирический герой» всегда похож на автора, всегда его псевдоним. Безликие поэты создают своего «лирического героя» отнюдь не по образу и подобию своему. Приведу в этой связи и слова Александра Блока: «В чем же разгадка того странного факта, что прекрасные стихи поэта, нам современного, не радуют нас и мы принуждены, отдав им дань холодного уважения, идти к другим? Мне приходится останавливаться на единственной догадке, которую я считаю близкой к истине: на неполной искренности поэта. Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в том, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического» характера. Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, — для того ли, чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть, — только оно может стать великим».

Гениальный Маяковский сжигал себя дотла. Я разделяю вывод З. Паперного относительно строчек из «Разговора на Одесском рейде...»:

«Черное море описывали и олицетворяли самые разные поэты. Но именно Маяковский, а не Пушкин, не Лермонтов, не Блок и не Багрицкий, только он увидел в Черном море «синь-слезищу». Каким же огромным виделся ему мир, у которого слеза — с Черное море! Такой образ, грандиозный и чуть ироничный, мог родиться у поэта, запросто разговаривающего с солнцем, с облаками, с океаном».

Но этот вывод не подтверждает основного положения З. Паперного, что нельзя сводить образ «лирического героя» Маяковского к личности автора, а опровергает его, убеждает нас в том, что образ поэта ощущается не только в словах вроде «Я волком бы выгрыз бюрократизм», но и в строчках из «Разговора на Одесском рейде...»

Сам Маяковский писал о своем «лирическом герое» так:

Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоём.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Приятно отметить, что в защиту именно такого понимания «лирического героя» выступил недавно молодой поэт Игорь Волгин. Одно из его стихотворений начинается открыто полемическими строками:

Придумали — «лирический герой...»
Я не встречал подобного героя.

А заканчивается оно так:

...И если вдруг атака
И на льду
Залегший взвод подкову образует,

Не мой герой,
а сам я упаду,
Закрыв рывком последним амбразуру.
И знает взвод,
поднявшийся за мной,
Рванувшийся с земли окровавленной,
Что я погиб в атаке как герой.
Не как лирический.
Как обыкновенный.

Применительно к Маяковскому редко употреблялось слово — народный. Чаше говорили о его «непонятности» широким массам. А между тем он наш подлинно народный поэт, куда более народный, нежели многие другие, которых критика легко и охотно удаивала этого высочайшего титула. Он народен не только потому, что его произведения разошлись уже миллионными тиражами, активно участвовали и участвуют в воспитании нескольких поколений советских людей. Маяковский истинно народен прежде всего потому, что с наибольшей поэтической полнотой и силой выразил дух нашего народа.

В одной из статей о Пушкине Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное; и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Маяковский — тоже явление чрезвычайное. И о нем можно повторить слова Гоголя о Пушкине, но с тем обязательным добавлением, что Маяковский — русский советский человек. Этим-то и определяется историческое своеобразие его творчества.

...Главное в нас —
и это
ничем не заслонится,—
главное в нас —
это наша
Страна советов,
советская воля,
советское знамя,
советское солнце.

Поэзия Маяковского во всем верна советской действительности, ее пафосу, ее коммунистическому идеалу. Отсюда ее патриотизм и интернационализм, «громеда-любовь» и «громеда-ненависть».

Маяковский не мыслил себя поэтом вне идей Ленина:

Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП,—

писал он еще в 1920 году в связи с пятидесятилетием Владимира Ильича. Безмерный свод партии, усеянный пятиконечными коммунистическими звездами, стал тем счастливым небом, под которым расцвела его поэзия. Во вступлении к поэме «Во весь голос», обращенном уже к потомкам, Мая-

ковский, подводя итог своей жизни, с полным правом мог уподобить свои книжки большевистскому партбилету.

Партийность и народность — важнейший принцип нашего искусства. В наше время служить народу — значит активно бороться за линию партии. «Кто хочет быть с народом, тот всегда будет с партией», — сказал Н. С. Хрущев. — Кто прочно стоит на позициях партии, тот всегда будет с народом».

Не о том ли думал Маяковский, когда давал свою крылатую формулу: поэт — «народа водитель и одновременно — народный слуга».

Партийность и народность нашли в его творчестве свое ярчайшее выражение. И в этом — главная традиция Маяковского.

Не все, увы, склонны это понимать. И далеко не все молодые поэты, которые готовы признать Маяковского своим учителем, извлекают нужное и полезное из его творческого опыта. Так, например, А. Вознесенскому казалось, что «основная традиция Маяковского — это влюбленность в таланты». Е. Евтушенко утверждал: «Но то, что остается и останется бессмертным в Маяковском, это, может быть, не способности, но сам дух революционной борьбы».

Влюбленность в таланты! Но ведь еще Белинский писал: «Разумеется, прежде всего поэтом делает человека талант; но к этому так же необходимы еще и характер, и образование, и направление...» Известно, что для Маяковского решающее значение имело направление таланта. Он всегда был бойцом и относился к поэзии как к оружию. «Слово — полководец человеческой силы».

Да какая это традиция — влюбленность в таланты? Пустословие!

А что представляет собой высказывание Е. Евтушенко? Попытку отделить дух Маяковского от его поэтической плоти. Но ведь дух его живет не сам по себе, а именно в «способах», которыми он выражен.

Поэтические традиции Маяковского — в единстве содержания и формы, в том, чтобы мерять «по коммуне стихов сорта», в постоянном сближении поэзии с жизнью. Ее новаторство обусловлено новаторством самой действительности. Именно потому: «Поэзия — вся! — езда в незнаемое».

Если слово поэта — его дело, то можно сказать, что труд Маяковского — поистине подвиг. У его поэзии действительно «мозолистые руки».

Теперь о беспорном.

Тот, кто не умеет любить, — не умеет и ненавидеть. Маяковский умел любить и умел ненавидеть.

Он — поэт ясной идейной позиции. Всегда видишь и чувствуешь его «за» и его «против».

Он славил наш труднейший марш в коммунизм, бессмертие Ленина, героическую волю ленинской партии. С каким душевным жаром он об этом писал! Он звал молодежь «делать жизнь» с Феликса Дзержинского и воздвиг поэтический памятник Теодору Нетте... Он боролся за нового советского человека.

И одновременно поэт зло бичевал ту-неядцев, бюрократов, хулиганов, взяточников, карьеристов, пьяниц. Грозным оружием своего стиха он сражался с мезальянсовыми и моментальниковыми, пресмыкающимися перед «британским англосаксом» Понт Кичем, разил подхалимов от искусства — белведонских, шкурников, пошляков...

А стихи Маяковского о загранице, его «открытие Америки!» Сколько в них сочувствия к угнетенным и сколько ненависти к «хозяевам жизни», к «его препохабию капиталу!» И сегодня не утратили своей злободневности слова поэта, который предвидел и предостерегал: «Может статься, что Соединенные Штаты сообщая станут последними вооруженными защитниками безнадёжного буржуазного дела».

Чем выше поэт, тем больше ему присуще ощущение будущего, понимание путей, которыми движется история. Маяковский видел дороги, которыми мир идет к коммунизму.

Это о нас думал поэт:

Чтоб в будущем
век
жизнь человека
ракетой
неслась в небеса...

И он звал:

«Даешь небо!»

Как живой с живыми разговаривает Маяковский сегодня со своими потомками. Мы слышим его мощный бас, который торопит время:

Шагай, страна,
быстрой, моя,
коммуна —
у ворот!
Вперед,
время!
Время,
вперед!

уж не до знаков препинания! В других случаях мелодия требует раскованности, высоты, она бесконечна, как заключительная нота певца. Тогда ей опять мешают ограды из точек и запятых».

В свете этого заявления Пушкин выглядит наивным простаком. Он-то ведь расставил знаки препинания при передаче речи отрубленной головы в поэме «Руслан и Людмила».

И еще. Оказывается, для того чтобы расковать мелодию, придать ей высоту, достаточно отказаться от грамматики. Куда уж проще! Поэт никогда не должен упустить из виду, что он пишет для двух аудиторий: аудитории читающей и аудитории слушающей. В нем как бы соединяются «поэт — театр» и «поэт-книга» (заимствуя два удачных определения Б. Слуцкого). На слух аудитория не в состоянии уловить, расставил или нет поэт в стихотворении знаки препинания. Критерий измерения раскованности, высоты стиха, а значит, его естественности лежит для слушающих, очевидно, не в отказе от грамматики. А читателя, обладающего элементарными синтаксическими познаниями, отсутствие знаков препинания неизбежно будет раздражать. Его внимание будет задерживаться на графическом оформлении стиха, а это, в конечном счете, не помогает, а мешает восприятию стихотворения.

Что значит писать «современно»? Для формалистов этот вопрос решен современно — это значит не традиционно. А действительно ли исчерпана до конца традиционная форма стиха? Вот прочитайте:

Мир детства моего на дне морском исчез...
Где петухи скликались на рассвете,
Где зрела рожь, синел далекий лес,
Теперь в воде сквозят рыбацьи сети.

Ты грустным взглядом в глубину глядишь,
Без горьких сожалений и обиды.
Там чудится тебе солома крыш
Уснувшей деревенской Атлантиды.

Крепчает ветер. Между черных свай
Вскипает пены белоснежной вата...
Спи, Атлантида. Спи и не всплывай.
Тому, что затонуло, нет возврата.

Это стихотворение далеко не молодого поэта Алексея Суркова.

Как будто бы здесь все традиционно. Традиционная рифма (исчез — лес, рассвете — сети и т. д.), традиционный размер (если не считать того, что первая строка умышленно выбивается из общего ритма). Но разбирать таким образом стихотворение — значит рассматривать раму, не замечая картины.

Эти строки, думается мне, способны тронуть человека, даже весьма далекого от поэзии. Что подкупает в них? Искренность авторского повествования. Правдивость — неувядающая альтернатива искусства. «Чтобы словам было тесно, мыслям — просторно». Это Некрасов. Настоящее стихотворение всегда заставляет размышлять. Мысль, заключенная в нем, выходит за рамки написанного. В этом случае мы говорим о подтексте. «Тому, что затонуло,

нет возврата». Это не только о деревне, оказавшейся на дне искусственного моря, это и грустная усмешка пожилого человека, вспоминающего свое детство.

Раздумчивое стихотворение А. Суркова неброско. Любитель формы ради формы вряд ли найдет в нем для себя что-нибудь интересное. Любитель поэзии найдет в нем Поэзию. Этим они и отличаются друг от друга.

Нет, я вовсе не отрицаю так называемые современные поэтические средства. Стихи могут иметь самые современные рифмы, ультрамодерный ритм — и быть очень хорошими. Но хорошими они будут не только из-за рифмы или ритма, а прежде всего из-за глубокой мысли, которая в них содержится. В поэзии действует закон соразмерности. Выпяченные, взятые отдельно от стиха поэтические средства превращаются в безделушки, в поэтические побрякушки. И напротив, умело используемые поэтом, они оттеняют, уточняют, углубляют смысл стиха, помогают читателю ярче воспринять описываемую картину.

Молодой ленинградский поэт Виктор Соснора написал вариации на тему «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве». Исторические стихи для каждого поэта — своего рода экзамен на мастерство. В них очень легко сфальшивить словом, впасть в нарочитую стилизацию, так как поэт должен убедительно воскресить, а читатель не менее убедительно пережить «дела давно минувших дней». Соснора воскрешает не только быт и нравы Киевской Руси. В его стихах оживает архаическая лексика XII века.

Одним,
как ни старайся,
тоска, морока
И девы пробираются
к ско-
морохам.

Сейчас из-за своего звукового состава сочетание «к скоморохам» труднопроизносимо. В эпоху, описываемую В. Соснорой, произнести это сочетание не представляло особой трудности. В Киевской Руси писали: «Къ скоморохам». Буква «ъ» по произношению была близка к современному «о» и «ы». Разбивка сочетания «к ско — морохам» у Сосноры таким образом, когда первая часть этого сочетания «к ско» рифмуется с первым словом третьей строки «тоска», и передает древнейшее произношение.

Но читатель, возразят мне, может всего этого не знать. Это верно. Но прочитает читатель стихотворение именно так, как этого хочет автор. А поскольку поэту удалось передать произношение языка древности, постольку же это сделает и читатель. И древнейшее произношение так или иначе поможет ему лучше почувствовать написанное:

Ну и луг!
И волье и поперек раскошен
Тихо...
Громкие копыта окутаны рожей.

Тихо...
 Кони сумасбродные под шпорами
 покорны.

Тихо...
 Под луной дымятся потные попоны.
 Тихо!
 Войско восемь тысяч,
 и восемь тысяч доблестны.

Тихо...
 Латы златокованы, а на латах
 отблески.

Тихо...
 Волки чуют падаль,
 приумолкли волки.

Тихо!
 Сеча!
 Скоро сеча!
 И — победа,
 только...
 тихо...

Русские ночью подходят к половецкому стану. Но они не просто подходят, они безмолвно подкрадываются. И это безмолвное подкрадывание мастерски передается Соснорой. По мере приближения русских из авторской передачи совершенно исчезает звук «р» и появляется много свистящих звуков. Этот прием — аллитерация, но аллитерация не выпяченная, не навязчивая. Я бы назвал ее тактичной по отношению к читателю. Она не отвлекает его. Она помогает ему.

Формалисты много любят рассуждать об образе в поэзии, об образном мышлении поэта. Современное стихотворение представляется им в виде длинной цепи образов. «Образ рождает образ», — говорят они. То есть образ они рассматривают не как средство поэта, а как его самоцель.

Что на это ответить? В начале 1919 года в русской поэзии возникло направление, получившее название имажинизма. Глава русских имажинистов В. Шершеневич писал: «Стихотворение — не организм, а толпа образов, из него может быть вынут один образ, вставлено еще десять». Потому-то, наверное, это течение меньше всех других продержалось в поэзии (оно распалось в 1923—24 годах), что оно меньше всех других имело отношение к поэзии.

Образ, как и любое другое средство стиха, не мыслим отдельно от стихотворения. Соснора добивается удачи там, где он находит наиболее убедительные средства для выражения содержания стиха. Именно таким образом достигается и «раскован-

ность мелодии», и естественность стиха. Формалистические выверты, перегруженность стиха незначительными деталями неизбежно приводят поэта к неудаче. Такой неудачей по сравнению с хорошей книжкой стихов «Январский ливень» я считаю цикл стихов В. Сосноры «Линзы», опубликованный в прошлом году. Многие стихи этого цикла грешат нарочитостью, путанностью, чрезмерной усложненностью, за что они справедливо критиковались.

Повторяю, я не против усложненности. Иногда усложненность — необходимая иллюстрация действительно образной мысли поэта. Ряд недавно опубликованных стихов Владимира Цыбина показывает, что поэт все больше утверждается как мастер психологического рисунка, сложной психологической характеристики.

Когда я в тебя влюбился,
 Во мне кто-то другой народился!
 Я слышал,
 когда мы с тобою стояли,
 Как глаза его
 из глаз моих выростали,
 Как губы его
 из губ моих росли...

Любя, человек становится другим. Эту многократно обыгранную литературную истину Цыбин осмыслил по-своему. Процесс перерождения — процесс постепенный. Для того чтобы стать другим, в человеке должен сначала родиться этот другой, а затем некоторое время пусть не мирно, но сосуществовать с прежним. Этот момент и выхватывается Цыбиным.

И стал я знать
 и больше и дальше,
 И стал я жить
 Без фальши, без фальши,
 Стал видеть, что раньше сроду
 не видел,
 Любить, что раньше так
 ненавидел!

Новое вторгается в жизнь героя поэта. Активно влияет на его психологию рождающийся в нем человек. Но старое не сдается без борьбы. И чтобы показать эту борьбу, Цыбин находит интересный психологический ход. Он смотрит на героя одновременно глазами самого героя и глазами любящей его девушки. Перерождающийся, растущий человек склонен к самоанализу.

Очерки московской жизни. М. «Московский рабочий». 1962. 375 стр. Цена 80 коп.



Какой москвич XX века не заинтересуется разговором с земляками из далекого прошлого, если он к тому же ведется великолепным русским языком и ведут его великие наши писатели, а также известные и малоизвестные журналисты, общественные деятели,

горячо любившие свой город москвичи!

«Очерки московской жизни» отличаются от многих подобных изданий тем, что в этой книге собраны свидетельства людей, по-разному прошедших жизненный путь, по-разному понимавших те или иные

исторические события, но с одинаковой любовью рассказывающих о древней и всегда юной Москве.

В этой книге мы находим очерки К. Н. Батюшкова и статьи о Москве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена.

Самоанализ героя Цыбина, оценка им себя самого — уничтожительны. В то же время его любимая смотрит на него глазами, ослепленными любовью. Девушке кажется, что любимый уже стал таким, каким на самом деле ему только предстоит еще стать. Отсюда — цепь противопоставлений:

Я был груб — ты слышала нежность,
Я был глух — ты слышала верность,
Я был злым — ты слышала робость,
Я был слаб — ты слышала рокот!..

Мучительный самоанализ героя приводит его к пониманию того, что он далеко еще не такой, каким представляется любимой. Ломка прежних представлений уыбстряется.

Я расту,
Чтобы мне от тебя не отстать.
И слышу и слышу
Наяву и во сне,
Как прежний Я
умирает во мне!

Сложное ли это стихотворение? Да, очень. Примут ли его сторонники формализма в поэзии? Вряд ли. Почему? Чтобы это стихотворение расшифровать, надо вникнуть в содержание стиха. А формалисты это делать не любят. Их вполне удовлетворяет заумь. Заумь бездумна. Ее не надо расшифровывать, поскольку она не поддается расшифровке.

И еще одна важнейшая сторона поэзии (да и не только поэзии) выпадает из формалистического понятия «современность». Это — гражданственность. Выпадает, потому что гражданственность опять-таки неразрывно связана с содержанием. Не буду повторять давно известные истины, что без гражданственности немислима современность, что современную литературу отличает высокий гражданский пафос. Я лучше постараюсь показать, насколько выигрывает стихотворение, когда высокий гражданский пафос поэта органически вливается в содержание стиха, становится его неотъемлемой частью:

Ворон ворону глаз не выклюет.
Ворон воину очи выклюет...

Список этот можно продолжить, назвав в числе «участников» сборника и автора исторических романов М. Н. Загоскина, и великого драматурга А. Н. Островского, и известного путешественника П. А. Крапоткина, и многих, многих других. В целом книга воссоздает целую эпоху в жизни первого города России, о котором Белинский писал: «Из всех российских городов Москва есть истинный

русский город, сохранивший свою национальную физиономию».

«Городом желтого дьявола» предстал перед Горьким Нью-Йорк — символ капитализма, торговая биржа, на которой решаются судьбы народов. Символом света, миролюбия, народного счастья в глазах всего мира является сегодняшняя Москва, бережно хранящая все то, что вызывало в ней любовь наших далеких

предков, любовь, так хорошо понятную и героям Октября 1917 года, и тем, кто начал громить фашизм у ее стен в 1941 году, и тем, кто в наши дни любовно создает город большой человеческой красоты.

Книга «Очерков московской жизни» еще раз напоминает нашим современникам об их ответственности и перед грядущими поколениями. Что рассказут они им на страницах аналогичного сборника?

Пели стрелы, посвистывали сабли,
И свинцовые пчелы жгли,
И ложились сильные слабыми
На зеленую кожу земли.
Где-то птицы шелково щелкали,
Волновались цветы на лугу,
Солнце плыло с черною челкою —
Непричесанной тучкой во лбу.
И тогда он слетал, нахален,
И садился с левой руки,
И вокруг глаз его набухали
Красноватые ободки...
Я не видел, как ставили к стенке,
Как стреляли в атаках в упор,
Или как поднимали над Стенькой
Солнцеликий, веселый топор.
Я не видел, что ж из того?
Ведь мужчина с рождения воин.
Значит, где-то живет мой ворон.
Нет, не он — меня,
я — его!

Нужно ли комментировать это стихотворение? На мой взгляд, оно говорит само за себя. Это стихотворение Владимира Кострова, поэта большого эпического дарования.

Нелегкий и благородный талант — гражданственность отличает наших хороших молодых поэтов. Давно завоевали признание читателей страстные стихи А. Балина, С. Евсеевой, В. Кострова, С. Куныяева, А. Поперечного, В. Цыбина и многих, многих других.

Формалисты гражданственность не замечают. Это содержание, а их интересует форма.

Форма и содержание...

Так уж устроен человек, что когда ему грустно, он слабо, вежливо улыбается в ответ на ваши попытки рассмешить его. Они, ваши попытки, оказываются напрасными, так как их форма не соответствует содержанию человека, его состоянию в данный момент. Но как этот же человек хохочет от души вместе с вами, если ему весело и ваша шутка попала в резонанс с его настроением!

Конечно же, форма стиха должна соответствовать его содержанию. Предчувствую злорадную усмешку формалиста. «Действительно, — качнет он головой, — не бог весть, какое открытие!» Ну что ж. Пусть я не сделал никакого открытия. Пусть истина эта стара как мир. Но без нее не существует Поэзии!

Писателю Борису Сергеевичу Евгеньеву исполнилось шестьдесят лет.

Редакционная коллегия и весь коллектив «Москвы» от всего сердца поздравляют своего товарища, бесшменного члена редколлегии журнала, одного из его зачинателей, энергичного и неутомимого труженика литературы, и желают ему многих, многих лет жизни, новых творческих успехов и радостей!

Вл. Лидин

КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД

Строгости руки писателя сопутствует и строгость руки редактора. Когда думаешь о Борисе Сергеевиче Евгеньеве, то видишь уже в перспективе многих лет его безупречную, отмеченную строгим вкусом и пониманием литературы работу редактора.

Обычно работа редактора представляется трудной и неблагодарной. Это, конечно, неверно и не в природе и традициях русской литературы. Стоит вспомнить редакторскую работу Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина или В. Короленко и М. Горького: кто подсчитает, в какой степени обязана их руке редактора русская литература? Однако списка имен тех, кого редактировал Короленко в «Русском богатстве» или Горький в сборниках «Знание», достаточно, чтобы оценить их труд, который может быть уподоблен подвигу.

Борис Сергеевич Евгеньев всегда редактирует творчески. Да иначе и не может быть по его таланту и по его отношению к литературе. И когда обращаешься к книгам, которые он написал, чувствуешь и строгое перо, и точное знание законов стилистики. Именно поэтому, а не только по юбилейному поводу, хочется сказать доброе слово о нем. Его книги отмечены прежде всего взыскательностью и к материалу и к форме, редко я читал какое-либо художественное произведение с таким увлечением, как его, по существу документальную или, как принято говорить, очерковую книгу «Стрела над океаном».

В 1959 году автор на транспортной



шхуне ходил на Командорские острова, затем жил в Петропавловске-на-Камчатке. Он описал это путешествие приемами художника, и даже проходные, связующие главы этой книги воспринимаешь как художественное повествование. Это своего рода ряд маленьких новелл, связанных одной темой, и вот как, к примеру, написана эта документальная книга:

«Вся трава на склонах сопок пестреет бледно-лиловой луговой геранью, темно-розовыми анемонами, синими хрупкими колокольчиками с тонким медвяным запахом... А вот и «знаменитая» лилия-саранка... Нужно внимательно вглядеться, чтобы понять, как прелестны ее лепестки, тоже похожие на крылья бабочки, с мягким, бархатистым переливом от коричневого к густому вишневому тону.

И есть еще какие-то неизвестные мне цветы. Грозди их нежных розовых соцветий клонятся на тонких длинных стеблях. Они растут у прибрежных камней, не страшась соленых брызг океанской волны...»

Так пишет художник, тонко видящий мир.

Книга Б. Евгеньева посвящена Камчатке, труду ее людей, экономическому преобразению края, но вся она вместе с тем глубоко поэтическая, и, читая ее, меньше всего думаешь об очерке.

Такое же впечатление оставляет и недавно опубликованная в журнале «Москва» повесть «Светлея, стелется дорога...» — о людях и природе Подмосквья.

Следует оценить и другую книгу Бориса Евгеньева «Голос друга», в которой рассказана судьба и история одной книги. В истории этой искусно сплетены и события французской революции, и отступление наполеоновских войск в России, и эпоха декабристов. Ненавязчиво, с глубоким ощущением времени, пластически связывая события, дает Б. Евгеньев на их фоне историю одной книги о вольности, предшественницы «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Все вымышленное представляется подлинным, и, честно говоря, прочитав книгу Б. Евгеньева, я задумался — может быть, в действительности существовало это «Рассуждение о свободе человека» Франсуа Тибо — и даже потянулся к справочникам.

Я вспоминаю и другие рассказы Б. Евгеньева, которые привелось мне читать в журналах, и каждый раз возникал передо мной образ писателя-стилиста с тонким, лирическим видением мира, и я всегда думал о том, что те, кому пришлось узнать редакторскую руку этого взыскательного человека, несомненно многое обрели для себя и в отношении понимания стиля и законов композиции, да и русской речи, эмоциональной и в высоких своих образцах неотразимой.

Истинного писателя отличает непрерывность действия. Мы знаем, что никакой временный успех, как бы шумен он ни был, не определяет судьбы писателя. Судьба писателя заключена в постоянном его движении, это

каждодневный труд, это будни, но всегда празднично озаренные, ибо в этом и состоит природа искусства.

Б. С. Евгеньев писатель-труженик, я только раз видел его отдыхающим на берегу Балтийского моря, и то, кажется, где-то рядом со столом, за которым он сидел, лежала папка с его рукописью или рукописью, которую он редактировал.

В книге «День рождения» — сборнике рассказов Б. Евгеньева — узнаешь все то, что отличает его как писателя. Собранность и лирическую наполненность фразы чувствуешь почти во всех его рассказах. А какого тонкого психологического рисунка такие рассказы, как «Мамина свадьба» или «Тверской бульвар, осень...»

Да и вся книга Б. Евгеньева посвящена лирической, никогда не слабеющей теме о человеке с его чувствами, его трудом, его отношением к миру. Природа никогда не служит только фоном в рассказах Б. Евгеньева, она действительна, она определяет поступки и душевное состояние человека. Я порадовался этой книге и подумал о том, что лишь скромность и строгая самопроверка писателя помешали ему собрать в одну книгу все свои рассказы.

Глубоко ценя редакторскую работу Бориса Евгеньева, хочешь прежде всего пожелать ему новых книг и еще глубже утвердить в советской литературе свое доброе писательское имя.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

А. Чаковский. *Свет далекой звезды.*
Повесть. «Октябрь». № 11, 12. 1962.

Александр Чаковский пишет много, порой спорно и почти всегда интересно. Писатель одаренный, он ставит острые жизненные вопросы, прокладывает свой путь к читателю, умеет увлечь его. Новая повесть А. Чаковского «Свет далекой звезды», увидевшая свет в канун пятидесятилетия писателя, побуждает размышлять о многом, весьма существенном для нас всех и каждого в отдельности.

Что самое главное в этом, получившем живые отклики произведении? Драматичность сюжета? Отчасти. В самом деле, мимо человека, по обстоятельствам, от него не зависящим, проходит большое счастье. С Ольгой Мироновой Завьялов впервые встретился 17 октября 1941 года, встретился, чтобы полюбить на всю жизнь, радостно, вдохновенно. Ему тогда было девятнадцать, Оле — семнадцать лет. «В те годы Володя еще не знал, что первым признаком настоящей любви является желание взять на себя ответственность за судьбу другого человека. И ты не можешь не взять такую ответственность, потому что для тебя она не тяжесть, а счастье». Еще не понимая, что любит, Володя ради Оли уже был готов на самопожертвование, подвиг. В тот трагический день они неожиданно нашли друг друга, чтобы столь же неожиданно расстаться на годы.

Второй раз Завьялов, уже боевой офицер, летчик-истребитель, встретился с Мироновой на фронте, она служила в эскадрилье штурмовиков. Тогда, вопреки житейской логике, руководствуясь логикой любви, они стали мужем и женой. Это была их последняя встреча. Завьялов, попав в окружение, считался погибшим. В бою убит и воздушный стрелок Миронова. Так ответили на его запрос впоследствии.

Шли годы, Завьялов был вынужден уйти из армии. Жизнь для него потускнела, семья не сложилась. И вдруг в старом иллюстрированном журнале он видит фотографию ее, Ольги. И опять, вопреки благоразумию, житейской логике, он начинает мучительные розыски той, которая исчезла,

превратилась для него в далекую звезду. Завьялов встречается со многими, большей частью хорошими людьми, а автор получает возможность рассказать о современниках и окружающей их действительности, по сути, он создает ряд новелл о разных людях и судьбах. Написаны они полемически, живо, занимательно. А. Чаковский, это характерно для всех его произведений, предпочитает контрастность характеров, судеб.

В этой повести изображены не пострадавшие и пострадавшие в пору культа Сталина офицеры, люди боевые, честные. И рядом с ними отставник Симонок, для которого жизнь «только синоним места в служебной иерархии, комплекса связей и взаимоотношений с начальством и подчиненными». Эти люди, комментирует автор, лишены какой бы то ни было индивидуальности, они убили ее в себе. Однако, добавим мы, утерев индивидуальность личности, такие люди сохраняют индивидуальность отрицательного типа, и ее очень удачно воспроизводит Чаковский.

Его Симонок выше всего ценит «не пыльную» должность и больше всего не любит «идейных» людей, тех, кто, по его определению, «трепыхается», то есть в любых обстоятельствах продолжает активную, целеустремленную жизнь. Он рассматривает такую жизнь «как вызов, как личное оскорбление». Беседы его с Завьяловым обнаруживают их расхождение во всем — в принципах жизни, идеологии, в отношении к социалистическому обществу. Симонок — человек в отставке, инертная сила косности, противодействия великим преобразованиям. В этом его немалая опасность.

Новообразованием мешанства является и курортная знакомая Завьялова Лена — «самая красивая и самая ненужная из всех женщин», которых когда-либо он встречал на своем пути. Лена мельчит, стремится жить беззаботно, легко. Ее помыслы, энергия, способности — все направлено к одной цели — иждивенчеству. И когда ей это не удается, она горюет, ищет виновника, злится. Она — растратчица своих возможностей, судьбы. В этом осечка ее «умения» жить, в этом ее несчастье. «Осмотревшись, — говорит она Завьялову в минуты горького признания, — увидела, что я никому не нужна». Таков неожиданный для

Лены, но естественный в нашем обществе итог подобной затраты сил, хлопот.

Ольга Миронова прожила жизнь иную — трудную, порой героическую. Познав горечь большой утраты и женского одиночества, она все равно отвергает возможность своего благополучия за счет несчастья других. Миронова рвет с любящим ее и полюбившимся ей Осокиным ради его жены и дочери. Столь же противоестественно для нее строить свою карьеру на подлости и клевете, мужественно она ведет себя на допросе в пору культа Сталина. Такие люди всегда на переднем крае, они — та могучая сила, которая в самые тяжелые для всех времена противостояла всему нам чуждому, была опорой в дальнейшем нашем движении вперед. Говоря о нашем современнике, мы прежде всего имеем в виду таких, как Ольга Миронова, тех, кто верен духу, целям Великого Октября.

Ольга Миронова гибнет, работая над новыми, дотоле не исследованными видами авиационного топлива. Гибнет столь же героически, не уклоняясь от опасности, как и жила. Но она, как и все, окрыленные высокой целью, бессмертна.

Ольга органически противостоит мешающему, обывательщине, карьеризму. Ее проницательность помогает разоблачению трусов и приспособленцев. Вспомним, что диалогия Чаковского («Год жизни», «Дороги, которые мы выбираем») тоже была направлена против людей, стремящихся паразитировать на достижениях социализма и порой в этом преуспевающих.

В новой повести разновидность Крамов — Звягинцев осовременена, рассматривается Чаковским в аспекте опасности эгоцентризма, самокульта для общества. Ему противостоят в повести честные люди, подлинные герои нашего времени, новаторы истории. Они строят коммунизм, преодолевают вредоносные последствия культа Сталина. Среди этих людей, кроме Завьялова и Мироновой, — генерал Осокин, секретарь горкома партии в Тайгинске Лукашев, старик гидролог Гладышев и много других. Наиболее значительных из них Осокин, личность примечательная, я бы сказала, историческая. Этот шестидесятилетний генерал-лейтенант в отставке назначен директором целинного совхоза. Побуждает его к этой деятельности долг коммуниста, чувство ответственности перед народом.

«Ты что же думаешь, — говорит он Завьялову, — покончить с культом — это значит только разоблачить темные стороны личности Сталина? Отменить славословия и закрыть лагеря? А как быть с разоренной деревней? Ты ведь решения Пленума ЦК читал? Как восстановить здравый смысл, права объективных законов в нашей экономике в тех случаях, когда они подменялись экономическим произволом, администрированием?.. Так вот, для того чтобы только проклинать культ, можно, конечно, спокойно сидеть дома или речи произносить с трибун. А вот для того чтобы покончить с его наследством, надо бороться,

то есть работать. Понимаешь, работать!»

Эта мысль, такая простая, здравая, естественная, впервые так точно, заостренно прозвучала в повести Чаковского. Образ человека, осознавшего свою ответственность перед историей, активно действующего, этот центральный образ нашего искусства обогатился в повести Чаковского новыми, общественно значимыми чертами.

Повесть отражает морально-политическое единство разных поколений — и тех, кто построил социализм, героев гражданской и Отечественной войн, и тех, кто из их рук принял эту почетную и ответственную эстафету. Большая удача Чаковского в том, что герои его повести — живые люди, со своими запоминающимися чертами характера, судьбой, со своими взглядами.

«Думаю, — говорит Филонов Завьялову, — свобода — это сознание, что ты все можешь сделать. Понимаете? Скажем, построить дом, стать ученым, написать проект каких-то усовершенствований в нашем государстве и добиться его реализации, полететь на Луну, сказать правду о плохих людях, какие бы посты они ни занимали... Нет, нет, вы поймите меня правильно, я отлично сознаю: чтобы построить дом, надо иметь знания; чтобы стать ученым, надо долго учиться, да и призвание иметь; государственные реформы надо тоже с умом, пониманием вопроса предлагать... Но сознание, что ты можешь, имеешь неотъемлемое право все это сделать, — это ведь тоже чувство свободы...»

Чаковский, повторяю, умелый беллетрист. И эти размышления органичны в художественной ткани повести. Этого, к сожалению, нельзя сказать о тех страницах, где автор, на наш взгляд, упрощает затрагиваемые им проблемы. Я имею в виду образ Виктора, по мысли Чаковского, олицетворяющий опасность критики культа с позиций нигилизма.

Чем только Виктор не наделен в повести! И себялюбиец он, и фразер, и циник. И вот этот законченный негодяй в повести в единственном числе представляет ту молодежь, которая болезненно, с идеологическими срывами восприняла критику культа Сталина. Но разве тут дело только в подлцах?

Вольно или невольно автор переводит разговор о сложном явлении в идеологической жизни в план уголовный.

«Ты убийца, парень! — кричит Завьялов Виктору. — Элементарный, пошлый, примитивный убийца!»

Прав в отношении Виктора Завьялов. Но какое отношение к хорошо работающей, честной молодежи, стремящейся быть зрячей, политически зрелой, но порой ошибающейся в своем стремлении постичь правду, имеет сам Виктор, человек безнравственный, аполитичный?! Это явления не идентичные. И повесть бы значительно выиграла, если бы у Чаковского не произошло подмены одного общественного явления другим.

О. Войтинская

БЕЛЫЙ ФЛАГ НАД АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

К. Икрамов, В. Тендряков. Белый флаг. Пьеса. «Молодая гвардия». № 12. 1962.

Так сложилось, что творчество В. Тендрякова всегда вызывает споры.

Объясняется это как насыщенностью произведений В. Тендрякова острыми публицистическими проблемами, так и противоречивостью авторской позиции, позволившей критикам говорить даже о существовании двух Тендряковых.

Первый Тендряков, автор «Падения Ивана Чупрова», «Не ко двору», «Тугого узла», «Ненастья», «Чрезвычайного», «Короткого замыкания», тяготеет к изображению важнейших общественных событий, к утверждению активной гражданственности, к разоблачению «страдательного гуманизма».

Второй Тендряков, создатель «Тройки, семерки, туза», «За бегущим днем», «Суда», напротив, отличается крайней пассивностью авторского отношения к материалу, грешит объективизмом и даже пропагандирует этот самый «страдательный гуманизм».

Немало споров вызывает также и художественный метод В. Тендрякова, порой откровенно публицистический, превращающий художественные характеры в схему (Д. Стариков), героев произведений — в «прямой рупор идей» (В. Литвинов), что и позволило критику И. Соловьевой высказать справедливую сентенцию: «Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию, а не наваливаться на нее сверху».

Естественно, что выступление В. Тендрякова (в соавторстве с К. Икрамовым) в новом качестве — в качестве драматурга — не могло не привлечь внимания. И, надо сказать, что это его выступление — с пьесой «Белый флаг» — и впрямь явилось скачком в новое качество, — результатом накопления и развития некоторых уже ранее проявившихся тенденций в его творчестве.

Прежде всего эта пьеса не просто «проблемное произведение», это — «клубок проблем», адски переплетенных, с той потерей ясности авторской мысли и позиции, когда доведенная до точки кипения идея превращается в пар.

Чего только нет в пьесе: и трагедия судьбы талантливых людей в пору культа личности Сталина, и тема предательства и возмездия, и уродливо выпирающая проблема конфликта между отцами (грешниками) и детьми (судьями), и снова, тема возмездия, падающего за преступления отцов на головы детей в виде их страшного морального опустошения, и «философская» теория роковой повторяемости истории, высказанная коммунистом «дядей Митей», и бесконечно варьирующийся лейтмотив пьесы о всеобщем бессилии в «этой жизни», в которой «никто ничего не может». Все

герои пьесы поразительно единодушны. Главный герой, талантливый инженер Петров, изобретатель уникального дорожного комбайна, асфальтирующего любые дороги «с космической скоростью», многие годы изнемогает в трагической и бесплодной борьбе. Друг Петрова «дядя Митя» невинно арестован в годы культа личности, и Петров, желая спасти проект, в отчаянии уничтожает его имя на титульном листе и затем долгие годы публично отрекается от своего друга. Это предательство, а точнее, страшная, трагическая жертва раздавила Петрова. К моменту реабилитации и возвращения Дмитрия Петров уже вконец сломленный и затравленный человек. Тем более, что и жертва оказалась напрасной — проект так и не увидел света в результате интриг бездарного, но ловкого и влиятельного соперника. Этот соперник, по утверждению Петрова, хоть и изменил свои приемы, но еще более окреп после разоблачения культа личности. Он теперь использует против Петрова слух о реабилитации его друга, угрожает ему позором за бывшее предательство, предлагает отказать от проекта.

«Петров. Опозорят, обесчестят, снимут с работы!.. Пусть! Не подыму белый флаг!.. Втопчут в землю!.. О-о, в их руках козыри!»

Ярик (сын). Но теперь-то правда на твоей стороне!

Петров. Она всегда была на моей!.. Всегда, иначе зачем же я так поступал? И вот странно — на мне проклятие. Стоял за правду, а приходилось лгать. На мне проклятие. Меня так легко затоптать. Вместе с правдой!..»

Затоптать вместе с правдой талантливого, подвижнически преданного своему делу человека — какой страшный вывод! И авторы пьесы с удивительной последовательностью стараются нас в этом уверить: в пьесе Петров затоптан, он капитулировал, предал свое дело — свой проект. Капитулировал накануне победы, когда вернулся друг, не только не упрекнувший его за предательство, но и оправдавший его! Но тщетно зывает Дмитрий к Петрову — он обращается к живому трупу.

«Дядя Митя. Подымись! Помогу! Слышишь, помогу!»

Петров. Ради чего, Митя?.. Опозорят, а проект-то все равно примут не наш. Так — не наш, и эдак — не наш. Ради чего идти? Я устал. Куда ни кинь — бессмыслица. А я хочу покоя, я устал, пусть будет лучше без шума, без позора!..

Дядя Митя. С твоей головой, с твоей душой!»

Но поздно, белый флаг уже поднят, и юный Ярик вершит свой суд над «отцами».

«Ярик. Зачем родился? Ничего не добиться, ничего не оставить после себя, кроме кучи грязи!»

Петров (тихо). Оставлю сына.

Ярик. Ах, вот как! Сына и лужу грязи! Чтoб род не перевелся, чтобы грязь не просыхала!.. О-о, сына и лужу грязи!»

Не хочу быть его сыном! Не хочу продолжать этот род! Быть другим! Только другим!»

Да, он другой, авторы втолковывают нам это с первых страниц. Отец не начинал жизни с подлости, у него «было суровое и чистое начало. Он не собирался портить походя жизнь другому человеку...» И предательство отцом было совершено, по его убеждению, только для спасения дела. Сын вступает в жизнь, совершая подлость, масштабы и мотивы которой особенно мелки. Узнав о том, что близкая ему девушка, которой он говорил о любви, ожидает ребенка, двадцатилетний Ярик немедленно отмежевывается: «Случайность... между нами ничего...»

«Ах, паскудник!..» — комментирует это событие воспитательница Ярика тетя Густя. «Негодяй... человек раздавлен, у человека покалечена жизнь!» — справедливо возмущается отец. Тут-то Ярик и облачается в судейскую мантию. «Начал ты,— обрезают он отца.— Ты назвал меня негодяем. Ты упрекнул, что я гублю человека, растапываю его жизнь. Ты! А по вопросу погубленных людей и раздавленных жизней ты не имеешь права голоса!» Вот как ловко наступает Ярик, он даже эксплуатирует в своих целях трагедию отцовской жизни и здесь смыкается с коварным отцовским соперником Аглаевым. Впрочем, он смыкается не только с интриганом Аглаевым. «Вы все много думали, а чего добились...» — не без наглости заявляет он дяде Мите, буквально повторяя слова следователя, допрашивавшего дядю Митю.

Дядя Митя, по замыслу авторов, единственная светлая личность в пьесе. Много пострадавший, но не сломленный человек, живший все годы ссылки мечтой о проекте, от сердца простивший другу, закончившему проект, предательство,— этот дядя Митя выступает в пьесе глашатаем конфликта между отцами и детьми. Не мелко, истерически, как себялюбивый Ярик, а, так сказать, серьезно, на «философской» основе. Но какая это основа!

«Тут недавно на шахту к нам двое прибыли,— рассказывает дядя Митя,— из Москвы, прямо со студенческой скамьи. Славные мальчишки, слов нет. Узнали о моей судьбе и... вознегодовали: «При нас этого не повторится». А жизнь, Густя, та большая жизнь, которую называют историей, имеет привычку повторяться... Отвратительная привычка, унижающая достоинство человека... Я бы готов поклониться низко в ножки этим молодым и славным ребятам... если б они знали секрет, как избежать повторений. Если б знали, но не знают. Не-ет! Есть желание, одно голое желание, но этого-то и у меня с лихвой хватает. Они более невежественны, чем я. Они беспомощны! Кричат: «Все, что до нас, перечеркнуть! Не верим! Знать не хотим!» Вечное стремление к справедливости, и никакого урока из наших ошибок...»

Да, молодежь, такая, какой она представлена в пьесе, жалка, беспомощна, по-

рой отвратительна: и эти двое, и Ярик, и Нина, и тот «бомбардир мирового класса», футболист Лешка Синцов, севший в тюрьму за преступление.

В пьесе редкое собрание омерзительных личностей. На первую же страницу врывается паталогическая фигура резонерствующего полотера — любителя футбола, произносящего бредовые речи, в которых, однако, скрыт ядовитый смысл. И представьте себе, ему вторит Ярик: «Жизнь жестока. Великим приходится прощать слабости, их не втиснешь в тесные рамки мещанского кодекса». А тетя Густя, что же делает «добрая и чуткая» тетя Густя? «Цыц, щенок! Чужой же человек здесь», — только и произносит она. Впрочем, она еще дальше развернется, тетя Густя, она еще покажет желтые клыки: «Поперек порога лягу, не выпущу! Пусть что хотят говорят про меня. Пускай подлая, пускай бессовестная, злыдня из злыдней — все снесу, все вытерплю! Из-за девки с улицы... Не променяю!» Так в пользу племянника, перешедшего от теории к практике, разрешила тетя Густя назревший моральный конфликт.

Таковы они все шесть действующих лиц пьесы — понстине какой-то «клубок змей». И как же разрешается этот конгломерат проблем, какова же авторская позиция?

«Бежим!.. Скорей бежим отсюда!.. Бежим дальше, чтоб не вернуться! В Братск! На Дальний Восток! Бежим, пока не упрямся в океан!» — так решается «проблема детей». Не вынеся зрелища всеобщего разгрома, уходит «из кадра» и дядя Митя. Петров остается на пепелище. И, может быть, в финальной фарсовой сцене, когда звук разбившейся в кабинете Петрова фрамуги принимается всеми за оружейный выстрел, и в заключительной реплике оракула-полотера: «А мы починим... Живенько... Все будет как прежде, даже лучше...» — и заключается мораль пьесы, содержится авторская оценка событий? Уж слишком претенциозно многозначительны эти сцены.

Пьеса кончается ничем, ни один из конфликтов не состоялся, «дети» еще слабее, еще малодушнее, чем «отцы», никаких принципиальных перемен в общественной жизни, якобы, не случилось, просто зло и несправедливость приобрели новые формы, борьба стала бесполезной, и единственный выход — «белый флаг!» И он выброшен, этот «белый флаг», выброшен авторами как символ их капитуляции перед «проклятыми» сложностями жизни, как символ неумения осмыслить затронутые ими большие проблемы, как невольное признание своей идейной и художественной беспомощности.

До сих пор я пыталась как-то выкристаллизовать нагроможденные авторами «проблемы». Разговор совершенно не касался художественных, эстетических особенностей пьесы, между тем как в художественном произведении идея постигается только из языка образов, ибо общественная тенденциозность в искусстве опосре-

дуются законами художественности. Но пьеса К. Икрамова и В. Тендрякова не дает пищи для такого разговора: отношение ее к художественному произведению — чисто формальное. О принципе единства идеи и формы в отношении к данной вещи можно говорить лишь в плане недостаточности того и другого, а эмоциональное воздействие пьесы сказывается разве что в том чувстве досады и неудовлетворенности, которое она оставляет.

В пьесе нет живых людей — это плоские, угловато вырезанные фигуры из жести, со скрипучими голосами и царапающими прикосновениями. Навяная, лобовая прямолинейность «художественных» приемов утомляет, как всегда утомляют говорящие манекены, ходячие схемы, общие места.

Авторы затронули многие свежезарубцованные и незажившие раны нашей жизни, такие, что тронь грубо — и снова боль. Вызвать такую боль легко, но ковырять в ранах жестоко и бессмысленно. Мы должны знать правду, но правда эта должна быть полной исторической правдой, в искусстве воплощенной в психологически достоверных характерах. А непостижимая глубоко сложность жизни в искусстве неизбежно превращается в хаос. Это и произошло с пьесой «Белый флаг».

Лариса Крячко

«ИНТЕРЕС ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

*Георгий Садовников. Суета сует.
«Юность». № 3. 1963.*

С Левого Зуевым, главным героем наибольшей повести «Суета сует», мы знакомы давно. Вернее, не с самим Левоу, а с многочисленной его родней — ведь родовое дерево молодого героя Г. Садовникова насчитывает множество поколений и восходит едва ли не к началу XIX века, а может быть, уходит еще дальше, в глубь веков.

Кто же такой Лева Зуев? Высокий парень, чернявый, с энергичным разрезом на подбородке. Ему девятнадцать лет. Он неглуп, начитан. Больше, того, он интеллектуал. Любит «безвольную музыку» Сарасате. И ему ничего не стоит сравнить Елочку с Шоколадницей Лиотара. Не просто сравнить — это удел посредственности. «Вообразите Шоколадницу Лиотара с современной прической. С таким слегка рассыпавшимся стогом соломы на голове. Оденьте Шоколадницу в короткую юбку колоколом, и получится портрет Елочки. Лиотар предвидел, что на улицах нашего земного шара появится Елочка. И написал ее. Одел он ее чуточку старомодно. Откуда ему было знать, до чего докатится женская мода. Тут уж его фантазия спасовала».

Вот на какое лихое сравнение способен Лева. Он вообще мыслитель, запросто

выдает парадоксы: «Нет на свете более принципиальных людей, чем голодные». Он честолюбив и эгоистичен, обычная, «внешняя» жизнь волнует его только тогда, когда события касаются его непосредственно. Ко всему остальному Зуев паталогически равнодушен. Он лицемер, и твердо уверен, что слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Честолюбие, жажда выделиться, доказать самому себе и окружающим свое превосходство — движущая сила его характера.

Когда-то одаренные энергичные и волевые люди вынуждены были подчас лицемерить, чтобы добиться успеха, лицемерие и честолюбие было подсказано дальним предкам Левы Зуева жизненной необходимостью. В самом деле, как иначе мог завоевать место в расчлененном, по выражению Стендаля, как бамбуковый стебель, обществе талантливым и честолюбивым Жюльен Сорель, сын плотника? Он-то ведь жил в эпоху, когда «на одного человека, готового пожертвовать всем ради общего блага, приходится тысячи тысяч, миллионы таких, которым нет дела ни до чего, кроме собственного удовольствия и тщеславия».

А Лева Зуев родился через сто лет после Жюльена. И в социалистической стране. Поэтому нет ничего удивительного, что Г. Садовников показывает нам своего героя обывателем, мещанином, действующим «применительно к подлости». Автор справедливо утверждает, что его герой находится в непримиримом конфликте с окружающими людьми, с морально-нравственными принципами современного советского человека. И Кирилл Севостьянов, почти двойник Левы, его «однокурсник и лучший друг», должен, по замыслу автора, разбить вдребезги гнилую эгоистическую философию Левы, «выдавить из него раба», доказать, что равнодушные к миру и себялюбие приводят к подлости, к предательству.

Кирилл очень похож на Леву внешне, и чтобы не ошибиться, их зовут сразу: «Эй, Севостьянов-Зуев, иди сюда!» Биографии у них тоже одинаковые — оба кончили школу, оба работали. Лева — слесарем в мастерских научно-исследовательского института, Кирилл — слесарем на ремонтном заводе; оба они учатся на одном курсе историко-филологического факультета, живут в общежитии и ухаживают за одной и той же девушкой. И все-таки, по замыслу автора, Кирилл — антипод Левы, победитель в трудном споре об отношении к жизни. Лева — потребитель, Кирилл — хозяин жизни, натура живая, деятельная. Кирилл — романтик, или «псих», по выражению автора. Плохо, по старинке, читает зарубежную литературу Гусаков, и Кирилл восстает против Гусакова: берет и переворачивает несколько страниц в конспекте Гусакова, и тот преспокойно повторяет лекцию. А когда это не помогает, романтик Кирилл прямо-таки жертвует собой на экзамене — вместо фамилий современных писателей Гондураса называет футболистов из сборной Испании. Ки-

риллу нужен анекдот, чтобы поднялся шум и Гусакова выгнали из института. Правда, из института выгоняют Кирилла, но ведь жертвовать собой и делать это по возможности эффектно — удел записных романтиков.

Кирилл проходит эволюцию, он понимает, что нельзя действовать в одиночку, что еще много таких, как он, и восставать против несправедливости легче, когда с тобой товарищи. Кроме того, так легче противостоять таким, как Лева Зуев. Ведь Лева «хотел проверить, кто из нас прав — Кирилл или я. Это спор веков. В нем участвовали миллионы людей. Мы с Кириллом должны решить его».

Автор уверяет нас, что победил в этом споре Кирилл, и заканчивает повесть патетически: «Да здравствуют психи!» Мы тоже верим, что Зуев Лева побежден: время сейчас такое и люди такие, что невозможно представить себе победу эгоизма, равнодушия и честолюбия. Но разве Кирилл — победитель? Разве может этот очень далекий от жизни, хотя и эмоциональный парень победить философию себялюбия и приспособленчества?

«Кирилл распространялся насчет смысла жизни. В конце концов мне это надоело. Я сказал:

— Жизнь бывает разная. У кого серая, у кого веселая...

— Все зависит от самого человека. Есть у него талант к жизни или бездарь.

— Как это понять?

— У тебя бывают скучные дни?

— Сколько угодно.

— А у меня не было ни одного. За всю жизнь.

— Не верю.

— Клянусь.

— Заливаешь. Идем спать.

— Подожди. День складывается из деталей. Иной человек их воспринимает. С иного — как с гуся вода. В этом и талант жить и бездарность».

Вполне понятно желание Г. Садовникова столкнуть в этом споре два мировоззрения, противопоставить «бездарю» Зуеву «талант к жизни» Севостьянова. И в этом же споре писатель терпит поражение, потому что хоть и не хочется, а приходится согласиться с Зуевым (он, к тому же, говорит определениями ремарковского Роберта Локампа), что Кирилл — «сентиментальный неврастеник». В самом деле, какой бедной и никчемной жизнью живут героини Садовникова, если им для хорошего самочувствия требуются такие «детали», как доброжелательный собачий взгляд, а для свершения героических подвигов — косность и недостаток эрудиции преподавателя. В самом деле, отчего Лева Зуев стал таким, каким показывает его автор? Поступки его предков были обусловлены социальными условиями. Что вызвало к жизни этот характер сейчас? Почему таким беспомощным в своей тяге к самой идее абстрактной справедливости показан Кирилл? Что, наконец, заставило автора противопоставить эгоизму честолюбивого Зуева хрупкую сентимен-

тальность интеллигента Севостьянова? И зачем понадобилось вести повествование от первого лица?

Г. Садовников создал для своих героев своеобразный инкубатор с очень жестким режимом и толстыми стенами. Что происходит за этими стенами, выходит за рамки местами блестяще написанного студенческого быта — неизвестно.

Проблема, поставленная Г. Садовниковым в повести, — воспитание гражданственности — важная общественная проблема. Но изолированность героев от современной действительности, сотни «почему», возникающие при чтении повести, заставляют думать, что мы имеем дело с частным случаем, который не поднимается до уровня художественного обобщения.

И — что уже совсем противоречит добрым намерениям автора — его герои вдруг начинают говорить с чужого голоса, и поступки их немедленно вызывают в памяти жалкие копии ремарковских героев. Достаточно вспомнить, как Кирилл и Лева отбили Елочку у футболистов, или советы, которые Лева дает отцу.

Больше века назад, в 1847 году, Белинский писал: «В наше время искусство и литература, больше чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов». Неудивительно, что наш читатель не довольствуется описанием частных случаев и требует от литераторов ответа на вопросы «первой степени». И литераторам, особенно молодым, нельзя забывать об этом.

Д. Тевекелян

БОИ НА ДАЛЕКОЙ ИГРЕНЬ-РЕКЕ

Петр Проскурин. Корни обнажаются в бурю. Роман. М. «Советский писатель». 1962. 284 стр. Цена 52 коп.

В Москве, в Союзе писателей РСФСР, шло обсуждение романа хабаровчанина Петра Проскурина «Корни обнажаются в бурю». Отмечая несомненную одаренность автора, выступившего с интересным романом, участники обсуждения предложили рекомендовать Проскурина на Высшие литературные курсы. И тут возникло неожиданное препятствие: Проскурин не получил аттестата зрелости, ибо кончил только восемь классов.

Ему было тринадцать лет, когда фашисты захватили Брянщину, где он родился и вырос. Не до учения было, когда приходилось помогать женщинам хозяйничать в колхозе, работать на торфоразработках. Светлым событием в его юности был призыв в Советскую Армию. После демобилизации поехал он на давно манивший его

Дальний Восток. Был и шофером, и электропилищиком, и сплавщиком, и трелевщиком в Камчатском леспромхозе. Писал под открытым небом у костра, в брезентовой палатке при свете свечи и шуме дождя, притулившись у печурки...

Первый роман Проскурина «Глубокие раны» рожден пережитым во время войны. Одновременно создавались им рассказы о мирных буднях современников, рассказы то лиричные, то острые и всегда актуальные. Они вошли в книги П. Проскурина «Цена хлеба», «Таежная песня», «Роса на рельсах». Эти-то книги и аттестовали писателя. С осени прошлого года он приступил к занятиям на Литературных курсах.

Роман «Корни обнажаются в бурю» несомненно написан талантливым человеком, знающим своих героев, людей по виду простых, по сути сложных, много переживших; автору хорошо знакомы и места, где живут его герои.

Далеко на краю советской земли стоит поселок Игреньск. Много здесь необычного. Парящие гейзеры напоминают гаснущие костры. Трактористы в метель отогреваются в сторожке, построенной у горячих ключей, купаются в них...

Но Проскурин не увлекается экзотикой. На первом плане люди, их жизнь.

Директор леспромхоза Головин «взбрался на лес, наваленный в несколько этажей. Перед ним открылась чуть ли не вся лесосека — место работы шести заготовочных бригад. Море сваленного леса, море костров. Валка шла полосой, почти в километр ширины. Деревья падали непрерывно. За вальщиками шли сучкорубы, раскряжевщики; почти из-под пил выхватывали лес трелевщики, то и дело понукая своих привычных ко всяким передрягам коней».

Казалось бы, радоваться должен директор леспромхоза, наблюдающий слаженную работу, а он с горечью думает, что в сотнях костров сгорают миллионы рублей. На свой страх и риск выращивает он лес на вырубленных делянках, используя для этого эсэкомленные деньги. Он понимает, что запасы леса в стране не безграничны; тайга отступает; леспромхозы через каждые двадцать пять — тридцать лет перекочевывают на новое место. Ему видятся постоянные лесные городки, которые будут стоять сотни лет, окруженные молодым лесом. И тут же комбинаты по переработке деловой древесины.

На далекой Игрень-реке идут бои между людьми, чувствующими свою ответственность перед будущим, и людьми, живущими одним днем, живущими лишь своим, личным благополучием.

Лесной пожар обнажил корни, связывающие людей с жизнью, показал, на что каждый оказался способен. Директор Головин погиб, кинувшись на помощь людям. Главный инженер Почкин, убежденный, что «кусочек мяса для человека важнее самых захватывающих идей», не стал подвергать себя опасности. Рабочий Васильев в минуту отчаянья, когда огонь грозил ги-

белью всей его бригаде, сделал настил, на котором люди смогли удержаться в трясине, поглотившей немало человеческих жизней. Художник Косачев, в первую минуту струсивший, потрясенный благородством кинувшихся ему на помощь рабочих, увидел свою «главную» картину. Шофер Шамотко, собравшийся ехать к жене в родильный дом, повел машину в пылающую тайгу...

А на первый взгляд не такие уж «правильные» все эти люди, совершающие героические поступки. Васильев вином пытается залить свое горе, подорванную веру в людей, в правду нашей жизни. Александр Архипов не сразу разбирается в своих чувствах, мечется между Галинкой и Ириной, не понимая, где — настоящее. Из-за своей бесшабашности несколько раз оказывается на краю гибели этот очень искренний и очень честный парень. Кончив среднюю школу, он сравнительно быстро находит свое место в жизни: нужно было помогать больной матери, и он идет работать в леспромхоз. Он вырос в тайге, любил лес и был счастлив, что так сложилась его судьба. А поработав среди увлеченных своим делом людей, он уже мечтает создать бригаду без учетчиков, утверждает, что настанет время, когда рабочие будут управлять сами своим предприятием, убежден, что «людям верить надо». И, казалось бы, приметная только тем, что умеет любить, учетчица Галинка нашла в себе силы отказаться от любимого ею, но не любящего ее по-настоящему человека.

Большая сила — подрастающая и повзрослевшая молодежь, пришедшая на производство из школы. В романе Проскурина она выглядит старше своих лет. Даже трудно представить, что Александр и Ирина, люди со сложившимися характерами, только что расстались со школьной скамьей, что Галинка двадцать с небольшим лет. Еще более существенно, что молодые рабочие, изображенные в романе, чувствуют ответственность за все, что они делают. Закрывая книгу, испытываешь чувство гордости за рабочую молодежь, которая трудится на далекой окраине советской земли.

Автор прекрасно знает жизнь, которую изображает, людей, с которых писал своих героев. Подобных людей встречаешь на новостройках, в леспромхозах, на целине. Это не припомаженные, не прикрашенные и не сплошной черной краской намалеванные люди.

Правда, не все герои удались автору. Как-то обособлены в романе образы Нины Федоровны Архиповой, матери Александра, и художника Косачева. Они как бы пересажены на неподходящую для них почву, взяты из другой среды. И автор, человек эмоциональный, воспринимает их лишь разумно. Но это лишь частная неудача. В целом книга увлекает своей человечностью, страстностью, пониманием людских сердец.

Галина К олесникова

КРАСНОЕ КРЫЛАТОЕ СЛОВЦО

Иконники

Иконники — это, пожалуй, особая каста антиквариев. Чаще всего этой отраслью коммерции занимались иконописцы и реставраторы. Хорошо разбираясь в образах иконописи, различая их по так называемым «школам» и эпохам, отправлялись они в глухую провинцию, чаще всего в старообрядческие поселения, и выменивали или по дешевой цене скупали «чки божии», то есть иконы. Выбирали, конечно, только ценные иконы, пережившие века, писанные по старому уставу или «переводу», многоликые, сюжетные (сложные по композиции) и без заметных следов реставрации.

Входил такой антикварий в дом старообрядца, срывал с головы шапку или картуз и, осеняя себя двуперстным крестом, начинал истово молиться на образа. Потом низко кланялся хозяевам и говорил:

— Я из Москвы, собираю для устройства молений святые образа, по старому чину писанные... Для молитвы, для доброго дела — греха нет продать, может, на чем и сладимся во имя божье.

Иногда уловка эта удавалась, иногда антикварий уходил ни с чем. Тогда он запоминал адрес и спустя некоторое время подсылал «подручного человека».

Распознать ценную иконопись подчас и для специалистов было делом нелегким. А новички-коллекционеры ошибались очень часто. Этим пользовались антикварии, не отличавшиеся щепетильностью. К тому же существовали целые артели профессионалов по выработке дубликатов, копий и поделок, писанных на старых досках, закопченных, хорошо покрытых темной олифой. Надо было обладать большим опытом, чтобы найти, иногда просто угадать подлинную «послойность», то есть наложенные один на другой слои красок, происшедшие от стародавнего обычая «подновлять» икону, сдавать ее при потемнении для поправки мастеру. Такие поправки в виду оседавшей на живопись копоти от свечей и лампад могли производиться не один раз в столетие. Например, на иконе хотя бы XIV столетия могли быть записи и XV, и XVI, и XVII веков и даже современные. Этим-то и пользовались фальсификаторы. На старой «чке» или доске писали икону древнего образа, покрывали ее оли-

фой, высушивали, подкапчивали, на этом слое делали второе изображение с такими же процедурами, на втором третью и т. д. Когда икона была покрыта последним слоем темной олифы и хорошо выдержана в сухом помещении, делали в каком-нибудь месте расчистку, то есть проскабливали до начального слоя настолько, чтобы был виден «древнейший» рисунок. В таком виде продавали ее коллекционеру с таинственным и дружеским сообщением:

— Иконочка, святой образок, изволите видеть, не позднее века пятнадцатого, да записана... Расчищать надобно... Получится первоклассная вещь для вашего собрания. Я уж чуть почистил, испробовал... Вон там, внизу-то... и не дорого.

Насколько тонка была работа фальсификаторов, можно судить по случаю, рассказанному мне большим знатоком и специалистом иконописи Григорием Иосифовичем Чириковым.

— Купил и я раз в Мстере, в сарае под грязью и копотью, пять больших икон. Старые, насквозь их вижу, что не моложе четырнадцатого века, а привез в Москву, начал вскрывать — настоящая подделка. Так и смолчал... Стыдно было, что и меня накрутили...

Очень любили антикварии-иконники устраиваться экспертами, оценщиками и советниками при каком-нибудь «денежном», не особенно опытном собирателе. Здесь было самое широкое поле для их деятельности. Через третьи подставные лица продавали они новоделы или слабые по исполнению предметы, причем сами их оценивали, иногда подхваливая, иногда для вида торгуясь с продавцом. Если же были предложения со стороны, то они требовали от продающего негласную «хабару» (гонорар), в противном случае «проваливали» покупку.

В быту антиквариев этой категории немало случалось курезов.

Около книжного склада П. П. Шибанова и иконных магазинов Силиных на Никольской бродил, выжидая покупателей, выходящих от антиквариев, «мстёрский богомаз» Мосолов. Человек этот бросался в глаза тем, что бородатое лицо его сохраняло всегда одно и то же улыбающееся, восторженное

выражение. Создавалось впечатление, что у него неисчерпаемый источник душевных радостей и энергии, которыми он может снабдить по сходной цене каждого желающего. Человек этот был агентом крупных, не имевших открытой торговли иконописных мастерских и сбывал заведомые подделки. Товара никакого при себе никогда не имел, а только разузнавал и записывал адреса, обещая зайти и занести требуемое на квартиру. По-знакомившись таким образом, аккуратно приходил и начинал ежедневно носить всякую всячину, чаще всего древние предметы религиозного культа.

Один из московских купцов начал коллекционировать древние иконы, причем по странной фантазии покупал их только с «мошевиками», то есть с врезанными в дерево, застекленными частями мощей. За короткое время Мосолов награбил его целым собранием хорошо сделанных фальсификатов. Почти всех святых собрал этот меценат в свою коллекцию. Тогда конкуренты ловкого иконника начали подсмеиваться над незадачливым коллекционером и уверили его в том, что он стал жертвой ловкого обмана. А для

проверки порекомендовали ему заказать Мосолову мощи Ильи-пророка, взятого, по библейскому преданию, живым на небо. Так и сделал купец, потребовав от ничего не подозревавшего своего поставщика нетленные останки святого Ильи. Через неделю Мосолов принес не только икону с мощами, но даже с особой металлической коробочкой, в которой, судя по надписи, был запаян чудесно сохранившийся волос из бороды пророка.

Собиратель мощей вцепился в длинную рыжую бороду Мосолова и выдрал из нее несколько клочьев. Дело перешло в суд, где, вызывая общий смех, ответчик оправдывался:

— Илья пророк живым, по писанию, на небо взят, потому мощей его на земле обретаться никак не может. И сейчас на колеснице своей преподобный еще перед дождем разъезжает, а нечестивец этот во грех, соблазн да в искушение меня ввел...

В период 1909—1913 годов в Москве от разных лиц мне удалось записать следующие острословицы и разговоры, рисующие быт иконников:

Он не лоб, а кошель крестит...

Что ты олифу-то зря на святого налил, ровно масла на хлеб...

Сам святой, товар святой — наскрозь его, жулика, видать...

Ты его спроси, как он Варвару-великомученицу на святого архангела Гавриила переписал... крылья ей подшил, копыце в руки дал, конька подвел...

Это первый оператор по святой части!

Реставратор тоже... Замыл мне Максима Грека и бородку ему не вбок, а на прямое причесал. Сам знаешь, что Максим-то Грек с широкой бородой, ровно полицмейстер...

Очеса-то подписаны, да в косину... Выходит, для святого неудобно — очки надобны...

По совести тебя просил: напиши мне святого Георгия на белом... беспрерывно на белом коне. А это что? Мышастая кобыла с чужого двора... Рази конь это... Со своей бабы, что ли, рисовал?..

Илья пророк на колеснице? А где огонь?.. Дым один?.. Что тебе краски, что ли, жаль?..

Он от мстерского богомаза, и сам пролаза. Гляди за ним в четыре глаза... Опять из-под носа всю моленную скупил... Помянешь Елисея Иваныча Силина — благородный был человек, а этот — чертов ухват, в аду из пламени головешки таскает и не обожжется...

Эх ты, реставратор! Клеевар копытный... Как хочешь, так и обижайся... Калоши тебе заливать, а не таким делом сурьезным заниматься!..

ЮМОРЕСКИ

Дальтонизм

— Покрасьте меня,— просит Лоскут.— Я уже себе и палку подобрал — для дрезка. Остается только покраситься.

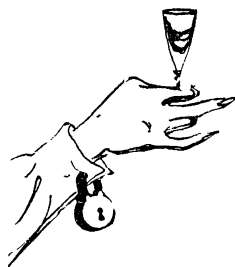
— В какой же тебя цвет — в зеленый, красный, оранжевый?

— Я плохо разбираюсь в цветах,— признается Лоскут.— Мне бы только стать знаменем.

Почему

— Почему вы не носите очки? — спросили у Муравья.

— Как вам сказать...— ответил он.— Мне нужно видеть солнце, и небо, и эту дорогу, которая неизвестно куда ведет. Мне нужно видеть улыбки моих друзей... Мелочи меня не интересуют.



Запонки

Запонки очень изящны, они придают Рубашке элегантный и даже изысканный вид.

Но они мешают ей засучить рукава. А это в жизни так необходимо!

Мнение

Хорошо, когда мнение — не одно,
Когда есть у мнения
Собратья-сомнения.
Но беда, когда всех отвергает оно,
Когда выступает
Само мнение.

Лень

— О лень! — возмутился олень.—
— Что ты лежишь, словно пень?
— Тю лень! — удивился тюлень.—
Чего ты все бродишь, как тень?
Но им не ответила лень:
Лень!



Дорога

Прибежала Тропинка к Дороге и остановилась в восхищении.

— Теть, а теть, откуда ты такая большая?

— Обыкновенно,— нехотя объяснила Дорога.— Была малой, вроде тебя, а потом выросла.

— Вот бы мне вырасти! — вздохнула Тропинка.

— А чего тут хорошего? Каждый на тебе ездит, каждый топчет — вот и вся радость.

— Нет, не вся,— сказала Тропинка.— Пока я маленькая, меня далеко не пускают, а тогда бы я... ух, как далеко ушла!

— Далеко? А зачем — далеко? Я вот до города дошла, и все, с меня хватит...

Поникла Тропинка и обратно в лес побрела. «С меня хватит!». Стоит ли ради этого быть Дорогой? Может, лучше остаться Тропинкой, навсегда затеряться в лесу?

Нет, не лучше, совсем не лучше. Просто Тропинка вышла не на ту дорогу.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Эстрада! Достаточно произнести это слово, как лица людей расплываются в улыбке. Ах, это очень весело, очень легко, очень приятно! Одним словом, легкий жанр. Легкий ли?

УС решил заглянуть за кулисы московской эстрады и проинтервьюировать тех, кто несет зрителям улыбку. Мы побеседовали с ветераном эстрады, одним из самых популярных мастеров смеха — заслуженным артистом РСФСР Л. Б. Мировым и молодым актером коллектива «Юность» М. Злотниковым. Вот что они поведали УСу.

Лев Мир



— В первой программе Мюзик-Холла «Шахматы» вы будете выступать с партнершей, — весело улыбаясь, объявил нам режиссер.

Мы с Новицким на дыбы. Никаких третьих лиц. У нас сложившиеся маски. Мы не можем ломать нашу парную творческую индивидуальность.

Но когда нас познакомили, мы сдались. Сразу. Без боя. Очаровательная фигура. Стройные ноги классической формы. Гордо посаженная голова. Умные, с небольшим разрезом глаза. Ей все было к лицу. Даже конский хвост. Сердце мое затрепетало. И я не нашел ничего лучшего, как предложить ей конфетку.

Она грациозно повернула голову в мою сторону, окинула меня каким-то загадочным взглядом, прерзительно фыркнула и отвернулась.

Я был смущен. Но друзья советовали не обращать на ее капризы внимания. Это, мол, у нее в крови. Родители ее тоже не тихого нрава. Недаром они неоднократно брали призы на больших соревнованиях.

Так эта прелестная лошадка вошла в нашу творческую семью.

Согласно сценарию и режиссерским указаниям, я должен был сразу же оседлать нашу партнершу. Принимать мгновенные смелые решения — самое отличительное мое качество. Поэтому, отойдя шага на четыре, я, не раздумывая, так сказать, смаху... отказался. И тут-то началось! Смех и шуточки друзей, грозные окрики режиссера, прозрачные намеки на строгое взыскание. Ведь через несколько дней должна была состояться премьера. Сколько я ни доказывал, что я человек скромный и

не могу быть выше других на целую конскую голову и что вообще ехать мне надо в другую сторону, а не туда, куда смотрит партнерша, — все было тщетно. Мне принесли стул. И я поднялся на эшафот.

Вы, конечно, представляете себе, что было дальше. Лошадь резко повернулась ко мне задом и, не глядя, смахнула меня со стула на землю. Я, разумеется, гордо поднялся (почти без посторонней помощи) и послал всех к черту вместе с этой лошадью и ее задом.

Окружающие стали мне объяснять, что это не зад, а круп, как будто мне от этого могло стать легче.

Наконец, несмотря на мои протесты, объединенными силами творческого и вспомогательного коллективов меня забросили на лошадиную спину — не знаю, как она у них там называется, — и отбежали в сторону. Моя нога сразу же попала в какое-то сооружение — нечто среднее между капканом и кандалами. Среди лошадей оно известно под названием стремя. Во всяком случае нога моя почему-то немедленно стала предметом вожделения партнерши. И так как я был связан по рукам (узdeckой) и по ногам (стременами), у нее оказалось несколько сладостных секунд, чтобы полакомиться моим ботинком и частично тем, что в нем находилось.

В перевязочной ко мне отнеслись очень вниматель-

но, а администрация предложила возместить стоимость ботинка. Премьеру отложили на три дня.

На генеральной репетиции меня встретили овацией, и я почувствовал себя тореадором из последней картины оперы Ж. Бизе «Кармен». Моя мегера стояла в стороне, меланхолично пожевывая пирожные, которые совали ей со всех сторон. Когда я оказался в поле ее зрения, она заметно оживилась. Задрала голову и — хотите верить, хотите нет — засмеялась. Да, засмеялась, приподняв верхнюю губку и обнажив прелестные зубы.

Этого я стерпеть не смог.

— В конце концов, — взорвался я, — кто из нас человек и кто на ком должен ездить?!

Испытанным путем (творческий состав плюс вспомогательный) я оказался на должной высоте. При

этом ловко избегал капканов, и ноги мои наслаждались полной свободой.

Творческая задача моя в данной мизансцене была весьма скромной. Под музыку надо было проехать всего три-четыре метра по прямой. Но это хорошо знал я, и, вероятно, не очень твердо усвоила лошадь. С точки зрения шахматного искусства мне определенно не следовало делать этого хода конем, но на обдумывание у меня не оставалось времени. Я, так сказать, был в «цейтноте».

Заиграла музыка. По спине моей партнерши прошла нервная дрожь, напоминающая легкую морскую зыбь. Я почувствовал симптомы морской болезни. Музыка заиграла громче. Партнерша встrepенулась, заржала и предложила мне тур рок-н-ролла или твиста, — я не разбираюсь в тонкостях. Но я оказался плохим парт-

нером. Задолго до окончания первого тура моя партнерша по всем правилам элегантно вскинула задние ноги вверх, и я почувствовал состояние, близкое к невесомости. Я понял, что нахожусь в свободном полете. Летел я недолго... Поднимался долго. Две недели не мог подняться с больничной койки.

На этот же срок была отложена и премьера.

Но самое тяжелое было еще впереди. По решению дирекции и общественных организаций я был спешен, а в кавалеристы произведен Новицкий.

И можете себе представить всю мою горечь и обиду, когда на почти прирученной мною партнерше под гром аплодисментов гарцевал Новицкий. Я подавал реплики у его ног. Для меня это был смех сквозь слезы. Да и понятно. Каждому хочется быть на коне! Даже если это лошадь.

М. Злотников



МОЯ ПЕРВАЯ РОЛЬ



Все началось с цитаты Станиславского: «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры». Это было первое, что сказал мне главный режиссер Театра юного зрителя, в труппу которого я был принят по окончании театрального училища.

— Я два года у Мейерхольда вообще неодушевленный предмет играл, а именно — изображал фонтан, — продолжал он. — И только после этого получил роль осла в спектакле по мотивам басен Крылова. Так вот, этот образ осла и открыл мне широкий путь к самостоятельному творчеству, давшему возможности

впоследствии стать вашим главным режиссером.

Все это вступление понадобилось для того, чтобы не очень уж отпугнуть меня, молодого актера, от той первой роли, которую я должен сыграть в театре. Короче, мне было предложено попробовать себя в роли... щенка в жизнерадостной детской комедии «В стране кривых парт».

Прямо надо сказать, не очень весело я приступил к тому, что главный режиссер назвал ролью. Прежде всего я решил познакомиться с каким-нибудь прообразом, чтобы знать, с кого лепить тип.

Знакомство окончилось

очень быстро: тридцать семь уколов в районной поликлинике. Психологию пса я уже изучал исключительно теоретически. Придумал ему биографию. Долго мучился над именем и, наконец, нашел наиболее созвучное с моим настроением и довольно симпатичное: Судьба. Разумеется, мой пес был чистых кровей, с хорошей родословной. Предлагаемые обстоятельства следующие: конура, я на цепи, в зубах кость. И, наконец, сверхзадача: я не должен был забывать, что я — друг человека.

Я стал понемногу вживаться в образ. Кот Боба до премьеры сбежал на чердак, хотя возраст у него был уже далеко не тот, чтобы проводить время в столь легкомысленных местах. Соседи по подъезду, решив, что мы приобрели собаку, стали складывать к нам под дверь кости.

За неделю до премьеры режиссер посмотрел мою работу. Одобрил. Сказал, что внешняя форма найдена. Теперь осталось доработать образ внутрен-

не, то есть насытить лай «внутренним состоянием мышления» — и все будет в порядке.

...Наступил день премьеры. Волнуюсь. Вхожу в образ. Для начала попробовал покусать рабочих сцены.

И вот мой выход. Я выскочил на сцену.

Впечатление было совершенно неожиданное. Сначала зал замер. Пауза длилась, как мне показалось, вечность. И вдруг в тишине раздался звонкий детский голос:

— Мама, как этот зверь называется? Я его боюсь!

«Эх, грим подвел!» — подумал я и тут же решил компенсировать просчеты в гриме глубиной раскрытия образа.

Я входил в роль. Играл, не щадя задних лап. Лаял, скулил, обнюхивал все объекты внимания, слизывал гуталин с ботинок героя пьесы.

— Virtuoz,—шептал из-за кулис режиссер.— Это же титан! Так разделить роли!

Я посмотрел на режиссера преданными собачьими глазами, под занавес, как бы завершая свою сцену, рванул зубами штанину героя и победоносно, на задних лапах, унес ее за кулисы.

Спектакль окончился. Все разошлись. Мне почему-то не хотелось принимать поздравления с премьерой. Я еще долго не мог выйти из образа и, забившись под стол, тихо скулил...

Василий Смирнов

Роман и государственный карман

Протеста не было со стороны Романа,
Что к брюкам не пришел портной
карманов,
Ведь за деньгами лез всегда Роман
Не в свой,
а в государственный карман.



Рисунки В. Гавриша



Из молодых да ранний



Своя своих не познаша...

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН, Корректоры Н. А. АКимова, В. А. СТРАХОВА

Подписано к печати 20/VII 1963 г. А09194. Тираж 160 000 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₃₂.
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,386 + 4 вкл. = 23,426 уч.-изд. л. Заказ № 1390. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР,
Москва, Краснопролетарская, 16.

ТРУС

...«Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»



Долгоруков-83

РАЗЯЩЕЕ СЛОВО ПОЭТА

СТИХИ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО
В РИСУНКАХ Н. ДОЛГОРУКОВА



СЛУЖАКА

Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.

Долгоруков-83

ПОМПАДУР

И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».





Долгоруков -63

СЛУЖАКА

Честен он,
как честен вол...
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ

24—29 июня в Москве происходил Всемирный конгресс женщин. Это был самый представительный женский форум. В Кремлевском Дворце съездов собрались делегаты ста девятнадцати стран. Среди них были убежденные седиными борцы за свободу, справедливость и женское равноправие, пережившие гонения, сидевшие в тюрьмах, работавшие в подполье. И совсем молодые женщины, впервые вступившие на высокую трибуну, но уже твердо заявившие о своем желании посвятить жизнь священной борьбе...

Земной шар раскрылся перед участниками конгресса и многочисленными гостями во всех ракурсах. Шар — сияющий, голубой, совершающий бег в бесконечных пространствах космоса, каким показала его Валентина Терешкова. И земная жизнь — великолепный концерт, данный для участниц конгресса московскими детьми, концерт, который вызвал долго не смолкаемую овацию в зале... Это было реальное выражение успехов в гармоническом воспитании человека нового мира...

О борьбе с колониальным гнетом и его последствиями говорили делегаты стран Африки; об изверствах фашизма, о страданиях, голоде, нищете — представительницы Южного Вьетнама, Ирака.



Долорес Ибаррури

Роза Исмагилова (СССР) с делегатками Нигерии Огунлези и Эсан





Каждое выступление было как бы живой краской в палитре мира. Пожалуй, ни один социолог, ни один политик, ни один экономист не смог бы так точно, объемно, с такой эмоциональной силой изобразить мир наших дней.

Мир! Как он нужен людям! Жизнь без войн и ссор, без вражды, в дружбе, любви, согласии, доброжелательности. Человечество вошло в ту фазу развития, когда идея мира, завладев умами миллионов, родила великую идею единения.

Всемирный конгресс женщин показал, как выросли и окрепли силы гуманизма. Он показал зрелость мысли, решимость действовать, оберегая достоинство человека, к какому бы полу он ни принадлежал, оберегая очаг великой семьи народов земли.

Вернувшись в свои страны, участники конгресса принесли с собой богатство мирового опыта борьбы за мир, за женское равноправие, за здоровье и счастье детей.

Московские Фотоэтюды
А. Узлян и Л. Бородулина





Внучка

Золотая пора

←



В центре столицы

50 коп.